

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 14

Общественный фонд культурных связей
«Израиль – Россия»

Тель-Авив

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Дина Рубина. Одинокий пишущий человек.....	3
Давид Маркиш. Лица в толпе дней.....	32
Татьяна Булатова. Жизнь, она такая.....	48
Дмитрий Бирман. Коронавирус любви.....	51
Анна Файн. Горячее пиво Кракова.....	66
Михаил Юдсон. Остатки.....	108
Яков Шехтер. Любовь демона.....	115

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Эдна Шабтай. Словно клещами вдруг.....	189
---	-----

ПОЭЗИЯ

Алексей Цветков. Эдип в Коломне.....	200
Зинаида Палванова. Простой секрет.....	208
Алина Рейнгард. Улица имени Петлюры.....	211
Кот Аллерген. Есть у кота период остракизма.....	217
Николай Архангельский. Окрест Россия лубяная.....	221
Емельян Марков. Вода или марево	225
Феликс Гойхман. Smoke on the water.....	228
Эдгар По. Ворон (перевод Виктора Голкова).....	235
Михаил Сипер. Как бы я с вами выпил.....	239
Игорь Губерман. Иерусалимский дневник (<i>гарики</i>).....	244

ИНТЕРВЬЮ

«Флобериум». Наша цель – литературное открытие.....	247
Борис Камянов. От и до.....	254

НОН-ФИКШН

Алексей Лоренцсон. Как это делалось в Москве.....	265
Давид Шехтер. О, если бы молодость знала!.....	282
Даниэль Клугер. «И сказал я себе: это вкус смерти».....	287

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Михаил Копелиович. Зинаида Палванова, год 2019-й.....	296
Илья Корман. Уроки французского.....	307

СТИХИ И СТРУНЫ

Тонкий шрам на любимой попе.....	314
---	------------

Дина Рубина

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК, СОЧИНЯЮЩИЙ ИСТОРИИ

Глава третья из книги «Одинокий пишущий человек»

«Я стал литератором потому, что автор редко встречается со своими клиентами и не должен прилично одеваться»
Бернард Шоу

- В одном из своих интервью вы признались, что «прозаик Дина Рубина» – некий персонаж, созданный вами же. Эта маска вам необходима? Что вы скрываете за ней - личную жизнь, писательскую кухню, привязанности, фобии?

- Маска нужна любому человеку, без нее мы беззащитны и обнажены, как в бане. Видите ли, писатель, даже известный, это не рок-певец или шоу-вумен; наша профессия тихая, закрытая. И все равно, досужий до пустяков и сплетен мир валится на тебя ежедневно. Приходится защищаться...

Если сколько-нибудь известный писатель к определенному возрасту не создал свою защитную «публичную личину», а щеголяет перед читателями, грубо говоря, в затрапезной пижаме или семейных трусах, то он либо открытый всем ветрам алкоголик, либо идиот. Разумеется, встречаются в нашем деле

особо отважные и, что называется, «искренние люди», но мне всегда казалось, что это не от большого ума. Ум, все-таки, предполагает стремление к защищенности в частной жизни.

Например, в домашней обиходе я – молчаливый и довольно угрюмый персонаж, как ни трудно в это поверить. Могу целыми днями не произнести ни слова. Одинокий пишущий человек изначально странен и, как бы это помягче выразиться... диковат: его распирает постоянная внутренняя работа, ведь писатель – такая мощная перерабатывающая установка, которая из вторсырья производит ценные изделия. Его внутренний мир населен и перенаселен разными лицами, ситуациями, судьбами. Глубинные проблемы его личности разрешаются только на листе бумаги или на экране компа. Пребывая под вечным напряжением, писатель – в меру сил и нервов - отвлекается на собственно жизнь. Он, конечно, может быть душевным, добрым, интеллигентным... но крайне редко. У Набокова где-то есть меткая фраза о человеке «с глазами слишком добрыми для хорошего писателя».

Все это не обязательно знать посторонним, или, как я мысленно их называю, «внешним людям». И потому, когда приходит время выйти на публику, я выхожу, улыбаюсь, шучу, оживленно отвечаю на вопросы читателей и журналистов. Это часть моей работы, и я ее выполняю - под изрядным, повторяю, напряжением. Работаю – как вы сказали? – да: «прозаиком Диной Рубиной».

Как пишутся эти проклятые книги

Однажды я где-то вычитала признание известного артиста: чудовищность актерской профессии, писал он, в том, что переживая сильный драматический момент, например, похороны близкого друга, актер непременно

думает о том, как бы это состояние запомнить, и затем достоверно сыграть.

Очень точное наблюдение. У актеров – запомнить, чтобы сыграть, у писателя – запомнить, чтобы запечатлеть. Польский писатель Марек Хласко заметил как-то: для того, чтобы писать книги, надо полностью потерять стыд; писательство, говорил он, – штука более интимная, чем постель.

Увы, это так. Мозг писателя, все органы его чувств – это такая независимая от носителя нравственных принципов рентгеновская установка, которая просвечивает все, что попадает в поле ее излучения. Писатель, прежде всего, – рыщущий сюжетов волк.

Вот типичная ситуация:

Вы встретились в кафе с другом-писателем, чтобы выговориться перед ним. Вы переживаете тяжелый период в жизни - разводитесь с женой, делите имущество и детей, встречаетесь с адвокатами...В общем, свет вам не мил, и только совет друга - писателя, *инженера человеческих душ* (!) - призван как-то облегчить душевную боль.

Инженер человеческих душ сидит напротив вас с искренним лицом, участливо качает головой, хмурит брови, цокает языком. Впечатление, что он полностью погружен в ваши проблемы, глубоко сочувствует и напряженно ищет, чем бы вам помочь.

Боек вас огорчить: мозг его в те же минуты с безжалостной точностью фиксирует не только все детали вашей «вкусной» истории, не только все слова-обиды вашей супруги, но и выражение вашего расстроенного лица, и то, что утром вы посадили на рукав рубашки две капли кофе, а левую щеку выбрили не так тщательно, как правую. Краем глаза он видит, как за соседним столиком бодро щелкает по клавишам лэптопа молодой человек, похмыкивая и припрыгивая то на одной, то на другой ягодице. Замечает, с какой нежностью клюнул того в щеку другой молодой человек, проходящий мимо... Он запоминает, что задница молодой официантки похожа на

ступеньку, а брови она выщипала так тонко, что поверху пришлось рисовать карандашом вторую пару бровей.

Но, главным образом, в эти вот минуты вашей душераздирающей исповеди он обдумывает диалог двух героев из своей повести, которых минуту назад решил посадить в такое же кафе: *хорошая нейтральная обстановка для трагической новости.*

«Тогда я ей говорю...- бубните вы с несчастным лицом. – Хорошо, ты не желаешь разводиться, как цивилизованные люди, будем разводиться со скандалом, и все это отразится на детях».

«Это ужасно! Просто ужасно! – пылко и сочувственно произносит ваш друг-писатель. - Извини, покину тебя на минутку» - и ушмыгивает в туалет, где достает блокнотик, ручку и, притулившись к раковине и игнорируя людей, моющих руки чуть ли не перед его носом, записывает:«двойные брови... жопа-ступенькой... два нежных гомика... развод с несчастным полубритым лицом».

Через две минуты писатель выходит из туалета, пытаясь скрыть свое прекрасное настроение, ибо тот диалог двух героев, который утром был совершенно провален, сейчас сложился от начала до конца, как и вся сюжетная линия. «Да: шикарно небритая щека! – думает он, мысленно ликуя. - Шикарно!». А если что и заботит его, так только одно: в туалете он забыл отлить, и теперь нужно как-то объяснить свою вторую отлучку минут через пять... внезапным, скажем... циститом.

Вот, как-то так, примерно. Прошу прощения.

Вообще, в качестве друга писатель пребывает ниже всякой критики. Хотя бы потому, что не может по первому зову «бросить все и мчаться ради друга»... куда-то там, неважно куда. Он еще не закончил главу, куда ему мчаться?! Но он с удовольствием поболтает с вами по телефону вечером, особенно, если вы можете разъяснить кое-что по вашей профессии, что как раз понадобилось ему для новой книги. А уж если вы вернулись с Малых Антильских островов или с побережья Белого моря,

переполненный впечатлениями и разными забавными случаями, то, будьте уверены, он нанесет вам визит непременно, сегодня же! И, слушая ваши рассказы, ревниво предупредит, чтобы вы держали язык за зубами до среды, когда он снова приедет, уже с диктофоном, и все запишет. «Не растрачивай рассказчицкого пыла перед всякими болванами! - говорит писатель. – Ты в среду должен все повторить свежаком, как в первый раз».

«Конечно, люди живут не для того, чтобы о них писали книги. Но все же у меня отношение к людям производственное, я хочу, чтобы они что-то делали».
(Виктор Шкловский).

Легких людей среди талантливых художников я пока не встречала. А большой талант - это вообще аномалия: он занимает в пространстве личности так много места и веса, что явный крен виден любому издалека. Человечество, как объект любви, мало заботит писателя. Да и невозможно любить человечество, похлопывая того по плечу. Писатель - не миссионер в джунглях. Занимаясь всю жизнь описанием пороков и добродетелей, что в принципе, одно и то же (как ткань с лицевой и оборотной стороны), - невозможно испытывать абстрактную «любовь к людям», не будучи абсолютно святым человеком, то есть, полным идиотом.

Нет, поймите меня правильно: писатель может участвовать в благотворительном вечере по сбору средств для больных какой-нибудь тяжелой болезнью, но было бы крайне глупо ждать от него, что он станет дежурить по ночам у постели одного из таких больных. И не звоните вы ему каждый понедельник, приглашая на бесконечную вереницу подобных благотворительных подвигов. Не садитесь ему на голову! Эта голова предназначена для седалища его музыки, в трепетном ожидании которой он пребывает ежеминутно.

Но это не значит, что писателя надо обходить за версту или проклясть его со всеми его творческими потрохами. Просто, общаясь с этой редкой птицей, надо помнить, что писатель - прежде всего инструмент, предназначенный для

создания текстов. Он всего лишь инструмент: тонкий, капризный, требующий постоянного заботливого ухода. И потому, все мы - люди тяжелые и эгоистичные, душевно одинокие люди, угнетающие тех, с кем живем; погруженные в себя и в свою работу.

Но мы и самые счастливые из живущих существ: ведь только в наших силах воссоздать своё время, *остановить мгновение*, творить миры, вдыхая жизнь и вливая кровь в призрачных гомункулов. И в работе своей – любить, ненавидеть, сострадать, переживать бурю страстей, не выходя за порог своего кабинета. Иными словами, нам дано проживать десятки, а то и сотни жизней.

Такая вот профессия.

В защиту белой акулы

Творчество любого писателя – это, в сущности, набор нескольких тем, которые волнуют его в жизни. Ведь настоящий писатель пишет только о том, что его серьезно волнует. У него просто ни черта не выйдет, если он влезет не в свою конюшню или напялит шапку не по Сеньке. Ни одной приличной фразы не выползет из-под его заблудшего пера.

Моя подруга Марина Москвина недавно выпустила книгу о своем путешествии в Арктику. Ее поездка была продиктована беспокойством о том, что стремительно тают ледники. Это благородное беспокойство искренне сдает Марину. Потому и книга получилась отменной.

Я бы никогда не взялась за эту тему, то есть, просто не приблизилась бы к ней. Хотя, конечно, в целом сочувствую всем этим заботам о природе и цельности нашего мира – и на прогулках с мужем всегда ругаюсь на городских рабочих-озеленителей, которые небрежно подрезают ветки туй и араукарий. Но все это меня совершенно не волнует *творчески*. («Меня это не прёт», - коротко отвечает мой сын, в принципе, на любое моё предложение. И как я его понимаю!).

Однажды некая молодая дама, представитель Фонда защиты вымирающих видов земной и морской фауны, рьяно пыталась вытащить меня из моей подлой эгоистичной шкуры и заставить выступить на благотворительном вечере в поддержку то ли белой акулы, то ли гиеноподобной африканской собаки, то ли калифорнийского кондора. Она не знала, с каким виртуозом ускользания имеет дело, и первые минут пятнадцать забрасывала меня зловещими фактами, полагая, что те произведут на меня, как на любого нормального человека, нужное, то есть, ужасное впечатление, и я содрогнусь и нырну напрямик в ее благотворительные силки. После третьего раунда борьбы, разочарованная, она плюнула на меня – в переносном, конечно, смысле. Но было заметно, что с удовольствием проделала бы это и в буквальном.

Напоследок спросила, уже не скрывая презрительной усмешки: «А вы вообще любите животных?». «Конечно! - воскликнула я. – У меня керн-терьер Шерлок, гений чистой красоты! Меня, знаете, что занимает: почему он, как дурак, носится за мухой, а ящерицы ему по фигу?» Напоролась на ненавидящий взгляд и заткнулась. А жаль: о своем псе я могу говорить бесконечно долго, и уже написала о нем целую новеллу. Но он нисколько не интересовал спасительницу белой акулы, ибо ему не грозило вымирание; по крайней мере, не больше, чем всем нам.

Так что вопросы и темы, которые писатель неустанно ворочает в своей болезной голове, с завидным постоянством возникают на страницах его книг, в речах его героев, в их мыслях и соображениях; диктуют их поступки и заставляют совершать немислимые вещи. Эти бедные герои! У каждого писателя они так похожи на него самого, каким бы он, дай ему волю, стал в собственном воображении. Он и сам по себе – та белая акула, что носится по океану жизни с обломком гарпуна в собственном теле.

Писатель и его мясорубка...

Взять хотя бы меня. С одной стороны, я человек закрытый, и даже «при галстук», то есть, мало кто из журналистов способен раскрутить меня на спонтанную словесную реакцию (не говоря уже о драке). А самые сильные приступы нежности я испытываю наедине со своими книгами.

С другой стороны, вопросы, которые разрывают меня денно и ночью, рвутся наружу и жаждут воплотиться в живые образы. И потому многие мои вещи написаны от первого лица. И вот там-то я даю себе волю выражать то, что никогда бы не выразила при личном общении даже с близким человеком. Ибо то самое «первое лицо» на страницах книг, на деле - мое триста восемьдесят восьмое лицо, и «работает» в конкретной сцене на определенную узкую задачу. Ту или иную шокирующую мысль выражает некий персонаж под моим именем. Когда же мне становится неловко провозглашать какие-то, совсем уже бесстыдные вещи, я выпускаю перед собой кого угодно, хотя бы и собственную семью: мужа, детей, собаку... Но это, опять же, не реальные муж-дети-собаки, а *литературные персонажи*. Мне просто легче всего изобразить именно их - я знаю их, как облупленных. И говорят они ровно то, что я посчитаю нужным вложить в их уста.

Это не подлость, не провокация, не предательство и не шантаж, – хотя настоящий писатель вполне способен на все эти проходные мерзости; нет, это гораздо хуже: это творчество.

Любой яркий талант - и дар судьбы, и наказание. Ведь со всем этим хозяйством надо как-то жить. А это мука неизбывная. Любой настоящий писатель ненавидит все, что связано с его профессией. Разумеется, отнюдь не все писатели полные безумцы, как Гоголь, или мизантропы, как граф Толстой, или отвратительные ксенофобы, как Достоевский; отнюдь не все алкоголики, как Куприн, и не все курят гашиш, без которого не могут нацарапать ни строчки, как... неважно кто!

Берем наиболее благополучный и даже скучный случай, иными словами, берем меня, - для удобства, ибо я у меня всегда под рукой. Ни курева, ни наркотиков в моей судьбе, ни восьми браков, ни лагерного прошлого, ни хотя бы алкоголизма. Приличное здоровье, благопристойный муж, терпимые дети... Ну, чем не дар судьбы? Строчи свои книжки, получай гонорары, и письма от благодарных читателей.

Нет! Нет покоя. Покоя нет, смирения, да простого удовольствия от простого бифштекса в моей жизни не дождешься! Живу с ежеминутным гвоздем в макушке. Любое событие, любой взгляд по сторонам, трогательная встреча, забавный собеседник... старый каменный колодец в центре двора, бархатная жара и ледяная луна, - ничто не воспринимается как «просто жизнь». Это всегда возможный материал для будущей книги.

Отдыхали мы летом с друзьями в Италии. Казалось бы: радость, красота, расслабуха в каждой жилочке тела... Доломитовые скалы вгрызаются в кобальтовую синеву неба, треньканье коровьих колокольчиков на зеленых косогорах погружает в наркотический транс, ветерок обдувает открытые филейные части известного прозаика, а ночами звенят и пульсируют иллюминированные цикадами кусты. Сиди себе вечером на лужайке перед домом, пей чай или чего покрепче, любуйся маленьким альпийским озером и не думай ни о чем... Или думай, черт тебя дери, о чем-нибудь приятном!

Нет! Сидит в мозжечке этот проклятуший словесный озноб и мучает тебя, и потряхивает: как лучше сказать - «невесомое альпийское озеро»?.. «зеленая гладь альпийского озера»?.. или еще двадцать пять вариантов написания фразы?

Одинокий пишущий человек постоянно живет внутри текста, он там прописан, не особо разделяя обыденную жизнь и литературный образ. Увидев мужчину в слишком тесном костюме, он, походя, заметит, что человек этот втиснут в костюм с помощью обувной ложки. Это

органика речи писателя, органика его мышления. А когда хорошо идет работа, когда катит сюжет и герои уже во всем сложившиеся люди, большую часть суток и большую часть своих мыслей писатель проживает в романе. И называется: Автор, нечто вроде греческого Хора.

Жить с ним невыносимо...

Помните советскую мясорубку, в которой сломаться мог только стол, к которому она привинчивалась? В процессе работы мы яростно крутим ручку подобной мясорубки: формулируем самих себя и мир, что нас окружает. Собственные художественные ценности, опоры собственной личности - вот поле битвы художника. Кстати, они могут совпасть с ценностями «общечеловеческими», так сказать, цивилизационными. А могут и не совпасть, не беда. В творчестве важно поладить с самим собой. Ибо то, чего не выносит душа, чрезвычайно вредно для писателя. Когда Зощенко писал: «Страх писателя грозит потерей квалификации», он имел в виду именно провал профессиональный. Компромисс чреват именно художественными потерями. В этом смысле писателю вредны не только политические связи, интересы и влияния, но и религиозные - тоже. Религиозные – особенно. Как только он упирается макушкой в запреты и заповеди, пусть и божественные, он перестает расти как Художник.

Какова цель творчества? Странный вопрос. Какова цель извержения вулкана... Видимо, я не знаю ответа, а может, и знать не хочу.

Писатель, повторяю, должен быть кристально отточенным инструментом. Лазерным. Что касается биографии его души, она (биография, да и сама душа), - может быть любого качества, и это тоже материал для творчества. Известное выражение «все на продажу» в нашем случае можно переосмыслить: все на творчество.

Вот самый обычный сюжет. Ты встречаешь мужчину, влюбляешься, выходишь замуж, рожашь на свет божий

ребенка... А потом любовь уходит, - такое случается. Наступает расставание.

Душа, заложница творчества, в это сложное время проходит разные этапы. В момент расставания она взбудоражена и обессилена, она - в обиде, ненависти, в разрыве и раздрае. Ты даже не можешь работать. Ты просто истекаешь горем и ядом, и жалостью к себе...

Но все это, в конце концов, заканчивается, успокаивается, боль утихает. Затем проходит какое-то время: год или три, или десять лет, и... пережитые события возвращаются, тревожа тебя уже иначе, ты иначе их обдумываешь – в контексте литературного сюжета. Наконец, начинается работа: преобразование прошлых событий, переплавка их в ряд строчек, абзацев, страниц.

И вновь ты в раздрыгге-раздрае, ты вновь истекаешь горем... но уже совсем иначе, в совсем ином качестве. Это второй этап преображения души, куда более высокий, - без мелочей, без барахла, вроде жалости к себе, приправленный изрядной дозой горькой иронии. Твоя орлиная, ограниченная инструментарием творчества душа выходит из написанной повести очищенной, ясной, спокойной. И возмужавшей. И вот тогда ты закрываешь дверь в отработанное твоей душой прошлое, которое уже ни в малейшей степени тебя не интересует, вернее, интересует лишь в беге строчек, в звучании фраз, которые только кажутся спонтанными...

«Он говорит, что в голову пришло.

Ах, милый Августин, всё было, всё прошло...»

(Семен Гринберг)

И потому, когда кто-то из интервьюеров просит меня рассказать о каком-либо этапе моей жизни, я отвечаю: «Не интересно, я уже все описала.

Я описала это лучше, чем прожила».

Гений, он же злодейство

Но если творчество – процесс очищения души, то почему отнюдь не все писатели – просветленные люди? Почему творчество не влияет на личность творца напрямую?

Николай Васильевич Гоголь, один из величайших стилистов, величайших художников русской прозы, после паломничества на Святую Землю, куда стремился всей своей измученной душой, писал в одном из частных писем: «Был у Гроба Господня, а лучше не стал». А ведь надеялся...

Творчество – это чистилище, а порою и настоящий ад, где ты ежедневно, схватив за вздыбленный клочок волос на макушке, окунаешь и окунаешь себя в расплавленную геенну огненную; где с тебя клочьями слезает шкура, отшелушиваются язвы и струпья, и откуда ты выползаешь чуть живой, но как тебе мнится, очищенный и иной, чем прежде. Однако проходит ночь... и ты понимаешь: «лучше не стал!».

Человек не волен выскочить из своей оболочки. Эту банальную истину замечательно выразил Окуджава в своем: «каждый пишет, как он дышит», и точнее не скажешь.

Мой излюбленный прием: герой долго-долго готовится к судьбоносной встрече, долго выстраивает план разговора, точно знает, что он скажет, что сделает, подготавливает мысли, нервы, все свое существо...И затем, без видимой причины совершает абсолютно противоположное по смыслу, по намерениям, по эмоциям и, соответственно, по результату действие.

Мой сын – человек трудный, с неудобным и парадоксальным характером. В общем, мы с ним похожи. Я бы сказала, что дело даже не в характере, а в непредсказуемых импульсах этого молодого человека. У нас с ним непростые отношения. Сейчас-то это серьезный господин, глава двух отделов в крупной торговой фирме. А в юности покуролесил полной мерой, большими долгами, большими грехами, большими скандалами и даже

адвокатами... - в общем, погулял на славу. В минуты ярости я представляю собой фурию с одесского двора; лексикон мой далек от младших классов советской школы. Весьма он далек и от лучших страниц моей прозы. Домашние это знают, видали-слыхали, побаиваются таких всплесков и стараются под руку не попадаться. Ну, а я, конечно, тоже стараюсь, как могу. И сын, куда деться, старается тоже – родные люди, надо стараться.

И вот, перед очередной встречей, по намекам, по обрывкам фраз в телефонной разведке боем понимая, что меня ждет нечто очередное-катастрофическое, начинаю себя подготавливать, успокаивать и уговаривать. Это будет беседа в английских традициях, говорю я себе. Ша, уймись! Это будет задушевный разговор мамы с любимым сыном. Ты же любишь своего сына, старая кошелка, интересуюсь я у себя, и себе же отвечаю: конечно, я люблю этого гада. Ну, и прекрасно! Я ни в коем случае не повышу тона, все выслушаю молча, не морщась, не показывая своего огорчения и своего бесконечного бездонного отчаяния...

«Ну, ты как?» - осторожно спрашивает меня муж. «Я в полном порядке! – отвечаю бодро. – Холодна, как айсберг в океане».

Звонок в дверь, я иду открывать...Я – обратите внимание! – во всеоружии мудрости и сдержанности. Я распахнута для задушевной беседы. Открывается дверь, возникает эта физиономия...Эта бесстыжая физиономия!!!

«Ну что, говнюк, снова доигрался?!» - кричу я.

Прием, повторяю, излюбленный, потому что его и приемом не назовешь: это - скитца, огненное тавро, проклятое клеймо моей собственной чертовой природы. Так я избываю свои боли, свою тоску, обыгрываю их в десятках сюжетных поворотов, в попытке избавиться от этой черты характера.

И ни от чего избавиться не в состоянии.

Прищепки для воображения

Люблю намеки, пометки судьбы, - любые знаки, едва заметные такие стрелочки-указатели: «по теме романа такого-то – налево за углом». Их не всегда увидишь, но когда видишь, и понимаешь – что это, счастливо замираешь, и даже едва заметно себе подмигиваешь: ага, я чувствовала, что сегодня это случится! Это все то же платье для голого короля, вернее, прищепки, на которых это платье сушится. По сути дела, вся жизнь человека – цепочка таких вот знаков судьбы. Просто одни внимательны к подобным знакам, другие твердят о «совпадениях». Впрочем, каждый сам выбирает себе убеждения и даже ощущения.

Ты случайно встречаешь на улице давнюю мамину сослуживицу. Ты торопишься, а досадная никчемная встреча тормозит тебя на пути к действительно важному делу. Но – чертово восточное воспитание! – ты останавливаешься, и минут пять выслушиваешь протухший старческий том воспоминаний... «А Машу помнишь? – говорит мамина подруга. – Машу, вашу соседку по коммуналке, у нее так странно глаза бегали? Так вот, ее задушили, прямо в ее комнате в коммуналке...». Я ахаю, вытаращиваю глаза, качаю головой – конечно, как я могла забыть Машу – очень противная тетка была. Подворовывала у нас крупу, я сама видела, как она отсыпала по горсточке. Выходит, ее задушили, вон оно как...

Настроение у меня почему-то подскакивает, хотя новость не так чтобы из приятных, верно? - неважно, кого там задушили...

Но тем же вечером ты аккуратно записываешь пару слов по этому поводу, на всякий случай. А спустя лет двадцать, работая над романом «На солнечной стороне улицы», лениво листаешь старые записные книжки и застываешь над тремя фразами, небрежно отчеркнутыми в уголку страницы. Этот момент, когда новая идея, новый поворот, выход из тупика брезжит перед тобой, – похож на резкий

перепад сумрака и света. И, внутренне ликуя, ты выбегаешь на свет, чтобы задушить давно забытую, но вдруг воскресшую Машу (а воскресла она лишь для того, чтобы ее задушили!) и душишь её, душишь в той самой коммуналке – в романе, разумеется; только в романе «На солнечной стороне улицы»...

«Буря чувств», обнажение души и кружок самодеятельности

Время от времени ко мне обращаются какие-то юные лингвисты и литературоведы, которые пишут по моим текстам курсовые, дипломы и даже диссертации. Они присылают мне вопросы «по творчеству», на которые я аккуратнейшим образом отвечаю, почему-то страшно жалея этих страдальцев – охота же копать в нашем грязном производственном процессе. Чаще всего их вопросы уныло однообразны: «Насколько личны описываемые вами переживания?».

«Личны вполне, - вздыхая, щелкаю я по клавиатуре, - ведь описывая вымышленных героев, их мысли и чувства, я обязана прожить вместе с ними всю их жизнь. А это – очень личное, очень душевно затратное соучастие. Недаром Флобер писал: «Госпожа Бовари – это я», - имея в виду, разумеется, не буквальные факты жизни героини, а ту жизнь чувств, которую автор с героиней прожил и разделил. Если у писателя нет болезненно «личного» в каждом слове и в каждом повороте сюжета, то это провальная вещь. Я имею в виду не факты, а степень художественного проживания и убедительность образа. Когда писала повесть «Высокая вода венецианцев», я чувствовала, что умираю, и если поскорее не закончу эту работу, меня просто пожрет рак моей героини».

«А вам не запахло обнажать душу перед столь огромной аудиторией?» - спросил меня как-то по-свойски некий юный наглец.

«С чего вы взяли, что в своих книгах я «обнажаю душу»? – рассердилась я.

Но и задумалась...

Когда замечательный тенор поет арию Каварадосси, так что слезы текут по лицам слушателей в зале, когда рыдающий актер в роли Отелло выходит на сцену с задушенной им Дездемоной на руках, когда вы любуетесь пейзажем родной деревни на картине известного художника... - вы полагаете, что душа артиста и художника обнажена перед вами настолько, что можно читать по ней, рассуждать о ней и препарировать ее?! Отнюдь! Перед вами, прежде всего, - продукт дарования, мастерства и стиля, - иными словами, произведение искусства, которое, отрываясь от творца, начинает существовать совершенно самостоятельно, к душе его имея весьма опосредованное отношение.

Настоящий профессионал – всегда вещь в себе. Он может достигать в профессии изрядных высот, но его частная жизнь и, главное, жизнь его души редко становятся достоянием общественности.

Я вспоминаю интервью с замечательной актрисой Светланой Крючковой, которое услышала случайно, включив в машине радио. Крючкова в это время находилась на гастролях в Израиле. Журналистка спрашивала ее как раз о *личных переживаниях* в те минуты, когда она играет «бурю чувств» своей героини – ведь душевные затраты артиста... что-то в этом роде. Крючкова, помнится, ответила: «Ну, что вы! «Буря чувств» – это для любителей. Для кружка самодеятельности швейной фабрики. Я же – профессионал. И если в спектакле в 7.30 моя героиня должна заплакать, то она заплачет горячими слезами, даже если за пять минут до выхода за кулисами я рассказывала партнеру анекдот».

Отважная женщина, отважная актриса... Не каждый рискнет рассказать такое зрителям. Не все это примут, многие будут шокированы. А ведь все это укладывается в одно только слово: профессия.

«Берётся Мэри...», или Как приготовить пикантный соус из своей постной биографии

Забавно, когда журналист с разбегу накидывает тебе вопросы, типа: где вы находите сюжеты для своих книг? как понимаете, о чем писать, и как это делаете? – ответом на которые, по-хорошему, должен быть курс лекций о физиологии и психологии писательского сознания. Но я – добросовестный человек! – всегда пытаюсь честно и доброжелательно ответить.

Между тем, «о чем писать» и «как это делать» - вещи такие же разные, как «купить машину» и «ездить на ней». О чем писать, знают многие люди. Самая распространенная фраза, которую слышу я в разговоре с любым собеседником почтенного возраста: «Эх, вам бы о моей жизни роман написать! Загребли бы миллионы левой ногой». Любой престарелый бухгалтер станкостроительного завода в Чебоксарах (если таковой завод существует), хотел бы запечатлеть для потомков великие деяния его единственной жизни.

Вот «как это делать?»...Тут правильнее всего ответить анекдотом: «Как приготовить коктейль «Кровавая Мэри»? - «Берётся Мэри...».

Если серьезно, вопрос о том, как перемалывается реальность в художественное произведение, - он чрезвычайно интересен.

Это похоже на принцип строительства мозгом наших сновидений: вы идете по какой-то разбитой дороге с тяжелым чемоданом без ручки, который не можете бросить, и знаете, что должны успеть на самолет, что вылетает в Курск ночным рейсом. Как только возникает «ночной рейс», в сновидении кто-то щелкает выключателем, и тусклый фонарь под железным колпаком времен вашего детства освещает придорожные кусты и скамейки в парке Горького. Во сне появляется соблазн бежать в другую сторону, по другой тропинке, которая ведет к бабушкиному дому возле Алайского рынка... Но вдруг вы уже в аэропорту, и все

хорошо, если не считать, что на вас разные туфли. И тут вы замечаете свою однокурсницу Галю Фокину, с которой учились в музыкальной школе в Ташкенте, а потом она переместилась в кибуц в Верхней Галилее. «Галя! – кричите вы, радуясь встрече, – одолжи мне свой правый туфель, смотри, он совершенно идентичен моему левому...»

И так далее... Извлечение из густого беспокойного клубка памяти «клеток» для строительства прозы похоже на сотворение нашим сознанием снов: реально существуют Курск, аэропорт, две пары (и даже гораздо больше!) туфель, существует одноклассница Галя... но вся ирреальная действительность рождена вашим воображением, а туфли, несмотря на свою вещественность – хоть руками потрогай, настоящие! – не дают еще основание Гале посягать на плод вашего сна - то бишь вашего воображения, вашего пера, – словом, на то, что называется *иной реальностью*.

Есть еще интуитивный способ сотворения текста. Был такой философ школы сократиков – Алексин (не анатолийский!), который учил, что «мир поэтичен и соответствует грамматике» - очень точное умозаключение. Помните, как подманивал вдохновение Иван Алексеевич Бунин? Он садился и писал на листе бумаги: «Иван Бунин... Иван Бунин... Иван Бунин... ». И постепенно возникала фраза, вела за собой другую, сцеплялась с третьей. Промежутки между словами рождали некий рисунок...

Тут уместно привести слова Теофиля Готье:

«Я писатель. Я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага: я словно клоун на трамплине. А потом, я очень хорошо знаю синтаксис. Я бросаю фразы в воздух, словно кошек, я уверен, что они встанут на свои лапки. Это очень просто, нужно только знать синтаксис... который не в содержании слов, а в интонационном рисунке, в артикуляции, расстановке, в чередовании пауз между словами. Синтаксические фигуры суть именно фигуры, как бы под шапкой-невидимкой спрятанные в интервалах между образами вещей, фигур и действий, обозначаемых

словами. И они, эти невидимые фигуры, тоже действительны, обладают смыслопорождающей энергией. Ее мощь бесконечно возрастает при перемещении из бытовой сферы в сферу художественную: здесь конструктивная роль этих «фигур» из незаметной делается заметной».

Потому-то все писатели ненавидят корректоров с их общеупотребительными правилами правописания, с их проклятой запятой, которая по воле замшелых академических законов должна зачем-то перерубить гладкую ленту дивной фразы, распластанной на странице волшебным удавом; а в другом месте почему-то убраны совершенно необходимые точка с запятой, которые самым естественным образом поднимают фразу на гребень вдоха.

«У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика... Мне нет никакого дела до чужих правил! Я ставлю запятую перед «что», где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо перед «что» ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне её ставили!» (Ф.М.Достоевский).

Ну, что скажешь: гений был, хоть и понаставил всюду ненужных запятых и много чего лишнего понаписал о разных представителях нерусского племени.

Кто мы - когда строим на бумаге или выкладываем на экране компьютера нечто из кирпичиков кириллицы? Антенны, которым музыка прозы диктуется свыше, или вольные каменщики?

Думаю, это процесс биологический, похожий на созревание и рождение человеческого плода. В основание его положены «кирпичики» генов, но ведь душу вдыхает Бог.

Впрочем, в начале ты - поистине каменщик (только не вольный; художник всегда повязан тяжкими, хотя и невидимыми цепями собственной личности). День и ночь ты занят грубой тяжелой работой: закладыванием фундамента, вбиванием свай основного сюжета, возведением лесов параллельных и перекрестных тем. Ну а уж потом, позже, - под возведение крыши, – в звенящей и

гудящей голове возникают звуки, перекликаются голоса. И происходят – да, порою неожиданные вещи. Вдруг длинный диалог тебе приснится днем, когда на минутку приляжешь после семи часов работы... Проснешься одурелая, и вдруг понимаешь, что в этом ясном, как бы услышанном извне диалоге – решение важного сюжетного узла.

Или на остановке твоего автобуса в объявлении, наклеенном на стенку, прочитаешь фразу, которая нарочно для тебя вписана, и ты, повизгивая от холодящего восторга, включаешь ее эпиграфом к третьей части романа...

И так далее. Можно представить, насколько безумным кажется нормальным людям любой творческий человек.

Оскар Уайльд где-то заметил, что у истинного писателя биография крайне скудна, что все у него уходит в литературу (ой, кто бы говорил, Оскар, дорогуша!). Но верно и то, что несоответствие биографии писателя с сюжетной плотностью и фактографией написанных им книг (от первого лица!), может действительно обескуражить будущего биографа.

А как бы желалось писателю заполучить матерую судьбину! Как он, мятежный, просит бури!

Для начала: хорошо бы родиться сиротой на лагерной зоне (на одном этом можно выстроить высокую литературную судьбу!); отслужить в советской армии где-нибудь на задворках Хабаровского края, а возвращаясь в поезде домой, угодить в драку и случайно (благородно!) кого-то убить. Отсидеть годков восемь (восьми достаточно!), желательно, чтобы пару раз тебя по недоразумению вели на расстрел. Бежать из лагеря, украсть лодку и плыть на ней через – придумайте сами какой – океан. Доплыть (куда-нибудь в живописное место)... принять буддизм, отсидеть года три в тибетском монастыре. Вернуться в Россию, открыть в себе талант живописца и скульптора, писать картины и ваять двухметровых гомункулов. Стать алкоголиком и наркоманом (тут богатейшие возможности сюжетов), выносить и родить ребенка для богатых американцев

японского происхождения (полезный материал для голливудского сценария)...

Так. Что бы еще забабахать умопомрачительного? Да, ну и мужей (для достоверного изображения рефлексии) – штук девять, мы не бедные. Вообще, сексуальных партнеров побольше бы, для описания изощренных эротических сновидений в будущих книгах...

Что я пропустила? Боюсь, что всё. Всё я упустила и обречена на ежедневное просиживание за собственным письменным столом, иначе ведь и не напишешь ни черта, несмотря на богатейший (см.выше) биографический материал. Вот и жуешь, вот и перевариваешь вновь и вновь свою постную жизнь, прихватывая на сторонке чужое, как и положено опытному карманнику.

Слепящее зеркало литературы

Одно из самых распространенных журналистских и читательских заблуждений – поиск «настоящести» в литературных героях. Еще Набоков с усмешкой говорил, что читатель, выискивающий «жизненные» истоки литературных героев, похож на ребенка, который спрашивает мать, рассказавшую ему на ночь сказку: «А это правда было?». Герои моих романов: художница Вера Щеглова, артистка цирка Анна Нестеренко, гениальный фальсификатор картин Захар Кордовин, контратенор и шпион Леон Этингер, кукольник Петя Уксусов – абсолютно вымышленные персонажи. То есть, они, надеюсь, совершенно живые люди – в том своем мире, где отныне живут и действуют. Но всё равно, живут они в границах литературного текста. А жизнь не равна литературе. Даже если писатель извлекает – из воздуха, из характеров знакомых людей, из обстановки момента или отрезка жизни... - что-то потребное его работе, он все перерабатывает самым кардинальным образом. Переплавляет жизнь в литературу. Конечный продукт всегда имеет очень отдаленное отношение к «настоящей жизни».

В моей практике бывали случаи, когда прототипы узнавали в литературных героях какие-то свои черты. Это всегда было связано со скандалом, раза два – с судебным иском. Оба раза меня оправдали; может, и напрасно.

Человек беззащитен и раним. Он не может смотреть на себя в слепящее зеркало литературы, ибо это всегда – восхитительно кривое зеркало. И жаловаться-то некому, и в профсоюз писателей подметного письма не напишешь.

Кстати, о профсоюзах...

Великий писатель в единственном числе

Практически в любом интервью меня непременно спрашивают – мол, а кто вам близок, Д.И., из современных русских прозаиков, в каких совместных проектах вы участвуете, как вообще относитесь к писательскому *комьюнити*. Тут надо быть чрезвычайно осторожной в ответах (все вокруг заминировано!), немедленно становиться на пуанты и, трепеща балетной пачкой и вращаясь вокруг собственной оси, выплывать в танце маленьких лебедей, кивая во все стороны и называя пару сотен имен ныне здравствующих коллег, иначе вас заподозрят в том... в чем вы и так который год охотно признаетесь: что никакого писательского *комьюнити* (то есть, *сообщества*, скажем же, наконец, по-русски!) на деле не существует. Что писатель всегда и всюду пребывает в единственном числе – если взглянуть на это дело глазами самого писателя. Что автор, тот, кто создает литературные тексты – это центр вселенной, вокруг которого отдельными планетами вращаются созданные им миры.

Само наше занятие - сочинительство, противоположно, и по сути даже враждебно любому сборищу. Любому хору, комитету, демонстрации, президиуму. Любой коллективизм – это форма руководства людьми, повод к манипуляциям и принуждению. Всю жизнь шарахаюсь, как черт от ладана, от любых «мероприятий», будь то

комсомольское собрание или премиальные заседания. Не говорю уже о любых политических акциях.

И потому, когда я слышу, что какой-нибудь писатель что-то там возглавил или основал на общественно-политическом поприще, я ставлю мысленную галочку: этот перестал/перестанет писать книги.

О политике я вообще предпочитаю не высказываться. В конце концов, любое государство – это миллионы групп, группировок, сообществ самых разных личностей, среди которых невероятное количество говнюков. В политике их на три порядка больше, чем в любой другой сфере жизни. Время от времени, на гребень мутной политической волны выносит какого-нибудь типа, который поначалу всем кажется другим, не таким, как все эти; его пылкие воззвания к народу ловко составлены молодым и борзым спичрайтером, а смысл благой вести в основном все тот же: если я заполучу вожжи и погоню упряжку жизни, наша страна процветет, запоет и запляшет, перестанет пить, болеть и воровать. Вы увидите небо в алмазах!

Предположим, он получает те самые вожжи, становится во главе самого высокого сообщества главных говнюков. И очень скоро оказывается, что вот он-то - худший говнюк, чем все предыдущие.

И потому я никогда не встречаюсь с политиками, не участвую в их завтраках с творческой интеллигенцией, не подписываю никаких воззваний, даже если они - в защиту белой акулы.

Нет, конечно, существуют литературные объединения, творческие союзы, пэн-клубы, просто клубы, вроде старого советского ЦДЛ, где писатели торчали в буфете или, если гонорар позволял или удавалось стрелкнуть червонец у приятеля, – в ресторане дубового зала, и после второй рюмки говорили друг другу: «Старик, ты гений!», а после пятой рюмки именовали коллегу «полным говном». После

пятой-то рюмки искренность хлещет из творческого человека, как из брандспойта.

В белом шуме под названием «жизнь» каждый творец пытается услышать и вычленить собственную мелодию, собственный шорох, шелест и гром... Чужие спецэффекты, - особенно, когда они заключены в слова и фразы, – ему страшно мешают.

В связи с этим, спрашивать у писателя мнения о творчестве другого писателя не только бесполезно, но даже бестактно. Недавно обнаружила воспоминания Иосифа Бродского о Владимире Высоцком. Была поражена высокой его оценкой творчества знаменитого барда – (всеми известны желчные отзывы Бродского о прочих современных ему литераторах). «Я думаю, это был невероятно талантливый человек, совершенно замечательный стихотворец. Рифмы его феноменальны...В нем было абсолютно подлинное чутье языковое».

Буквально за неделю до того я читала интервью Дмитрия Сухарева, где тот доказывает, что Высоцкий был весьма средним стихотворцем. Кажется, и Дмитрий Быков так считает. Все мы по-разному чувствуем, и по-разному оцениваем литературные тексты, органику другого литератора...Толстой, как известно, терпеть не мог Шекспира, известны и его пренебрежительные высказывания о современных ему писателях. *«Ну что – Христос? Что – Нагорная проповедь? Лишнего много. Тяжело читать. Написано хуже, чем у Достоевского».* А Достоевский презирал Тургенева, и весьма нелицеприятно изобразил того в «Бесах» в образе писателя Кармазинова... Тургенев же называл Флобера «наивным»... И так далее. Список длинный и шокирующий учеников средней школы. Что поделать: мы народ штучный, с острыми шипами, каждый монументален, каждый начинен изрядной порцией взрывчатки.

А роль свою в литературе никто не выбирает, как и свой стиль – повадку, походку, манеру говорить. Художник рождается со своей ролью, вследствие чего любая фраза, выведенная его рукой на бумаге, передает мимику его

лица, артикуляцию его губ, ритм чередования вдоха-выдоха. Стилль писателя это отнюдь не то, что выбирается или взращивается – это тембр голоса, склад мышления, цветовой спектр в глазу. Один писатель живет сорок два года и оставляет после себя 12-томное собрание сочинений. Другой писатель живет те же сорок два, и после него остается двухтомник замечательной прозы. Что это? Трудлюбие одного и ленность другого? Нет, ритмы организма. Температура таланта. Интенсивность процессов, протекающих в воображении. Судьба – давайте, произнесем, наконец, и это слово.

Дар, который в художнике произрастает, сам заботится о своем росте. И это не всегда благословение. Порой ты ощущаешь его в себе, как мощный сорняк, который заполняет всего тебя, а с течением жизни вообще становится смыслом твоего существования. Ты только и служишь этому дракону, которого выращиваешь внутри себя. Поначалу это неосознанно. Например: талантливый ребенок все время рисует, ему это интересно, и взрослые нахваливают. Ему говорят: «Ой, как красиво, Сашенька, как ты здорово елочку нарисовал. А теперь домик нарисуй...» Проходит время, и ему уже говорят: «Сашенька, ну иди же погуляй во двор, ты воздухом совсем не дышишь». И на него натягивают шапку, сапоги, пальто, вытаскивают на этот проклятый двор, а он хочет только одного: рисовать. И если это целеустремленная, поглощенная своей страстью натура, если он и дальше служит своему дару, то этот дар пожирает его без остатка. Обгладывает косточки. И в конце жизни мы видим человека, которому вообще ничего не нужно, кроме творчества. Его дар, выросший и поднявшийся до вершин Дара, заботится только о том, чтобы осталась эта глыба творчества... Подлинный художник, в сущности, ущербное существо.

Когда меня спрашивают, ощущаю ли я себя продолжателем какой-либо *линии русской словесности*, мне хочется обхлопать свои карманы – не стибрила ли я случайно у кого-то портсигар? Очень обязывающее слово – «продолжатель», есть в нем нотариальная строгость, незыблемость закона, буквы уложения, - можно сказать, необратимость. А я противник любой необратимости! Я в любой букве прежде всего вижу переменчивость игры, скользящую улыбку оборотня. Да и что такое «линии словесности», господи мой, боже!

Мне русская литература представляется могучим забегом лошадей, со своими фаворитами, со взятыми и сбитыми барьерами, блеском развевающихся грив, потом раздувающихся боков, с поверженными наездниками... Да и, положа руку на сердце, разве не любая жизнь в искусстве – скачки, где главное: суть игры, вдохновение чистого азарта, и выигрыши, и поражения.

Ни один писатель не возникает на ровном месте – это аксиома. Все в начале включаются в некий процесс, в огромный поток, представляющий собой кромешное множество пишущих сейчас, сегодня. С течением жизни, с укреплением «мышц мастерства» творец, так или иначе, нащупывает свою тропинку.

Когда я слышу что кто-то «разорвал с традиционностью», я пытаюсь понять – что сие означает? Литератор – в отличие от художника – гораздо более «привязан к традиционности»: материя, с которой мы имеем дело, - хочешь ты этого или нет, первоосновой имеет: буквы, слова и фразы... Те первоэлементы, от которых убежать трудно. Можно, конечно, попытаться, придумать что-нибудь этакое – как придумывают «акции» современные художники-концептуалисты в попытке убежать от красок и кистей, - но в нашем писчем деле за подобными кунштюками следует молчание – то есть, смерть писателя. А этого наш брат-писатель боится пуще холеры, хотя некоторые и декларируют свое полное равнодушие к толпе читателей. Все это вздор: страстное желание литератора, чтобы его творения прочитало как

можно большее число читателей – это и есть двигатель литературы, ее первопричина.

В сущности, какая разница что – событийно – происходит на страницах всех наших историй? Во все времена художник прежде всего выражал себя и только себя, а уж какой (по масштабу) кусок действительности он прихватит с собою вместе, тем самым воплотив его в Современность, это зависит от величины таланта, помноженной на величину личности.

На деле глубоко и откровенно писатель общается либо с самим собой, либо с классиками, которые по причине загробной удаленности ему не опасны: с ними попросту нечего делить – ни гонорары, ни премии, ни внимание критиков. Они пребывают в блаженном облаке вечной литературы, при этом оставаясь современными. (Вспомните Гоголя: «Дом стоял на ветру, как дурак» - какая постмодернистская живость образа!) Даже если их совсем перестанут читать – а судя по языку, обиходу и активному идиотизму соцсетей, такое вполне может вскорости произойти, - классик все равно обречен остаться в памяти и речи народной. Все равно какая-нибудь будущая мама в конце двадцать второго века скажет отпрыску-подростку: «А чашку кто за тобой вымоет – Пушкин?». Так что с классиками все в порядке. А вот живущие ныне творцы, с их жаждой прижизненной славы...

Сразу замечу: ничего общего с конкуренцией это не имеет. Это даже не ревность – ибо любой писатель со своего личного олимпа сочинения своих коллег видит кишашими огромным количеством недостатков. Это и не эгоцентризм, а абсолютный центризм той творческой вселенной, которую представляет данная творческая личность.

Нет-нет, писатель, понятно, - человек, у него есть семья, он живет в социуме, строит дачу, может быть пижоном и любить хорошую обувь. Он встречается с разными людьми, выступает перед читателями, прочитывает рукописи коллег, иногда пишет к ним

предисловия или послесловия. Но в тот заветный миг, когда остается один на один с самим собой в заповедном мире производства и плетения слов, он существует в единственном числе.

Работает он тоже по-разному. Если это не племенной бык, издающий по роману в год, то это может быть автор одной или двух книг. Например, польский писатель Марек Хласко написал роман «Красивые двадцатилетние», пару повестей, несколько рассказов. Спился до подкладки нервной системы, умер в тридцать шесть лет. А писатель замечательный...

Несмотря на то, что слово «творец» не имеет женского рода, писателем, и порой неплохим писателем, может быть и женщина. *Творица*. Или *творчиха*? Только никаких сидений для детей-инвалидов-беременных, пожалуйста! Искусству это противопоказанно. Места в литературе занимают не меньшинства, не группы, не гендерные сообщества, не представители той или иной национальности или пола, а исключительно персона Таланта. И вот уж талант может быть кем угодно: женщиной, мужчиной, представителем меньшинства, такой-то нации... Но обычно он, настоящий Талант, отрецивается от любого сообщества. Ибо всегда индивидуален, замкнут на себе, на своих идеях, своих переживаниях.

Раньше чуть ли не в каждом интервью меня спрашивали о моем отношении к «женской прозе». После нескольких моих, довольно грубых выпадов, стало ясно, что связываться со мной себе дороже. Вопросы стали формулироваться аккуратнее: «Когда речь идет о талантливой прозе, то она, безусловно, не может быть женской или мужской. Но существует ли такое явление, как особая манера чувствовать?»

Особая манера чувствовать, миролюбиво замечаю я, присуща каждому человеку, особенно творческому. Я бы сформулировала это качество иначе. В искусстве пианиста есть такое понятие – туше, манера прикосновения к инструменту, влияющая на силу и окрас звука. В этом

действительно есть различие между исполнителем мужчиной и женщиной. У мужчин другое туше. При высоком уровне понимания музыки, вы можете определить это на слух, даже если это сильная женская рука, как у Марии Юдиной или Марты Аргерих.

Это могут быть мощные женские лапы, ведь тут напряженно работают и плечи, и спина, и шея и, конечно же, руки...И наоборот: мужчина-исполнитель может быть хрупкого от природы сложения, но...манера прикосновения у него будет иной, мужской.

В литературе, в прозе особенно, то самое «чувствование изнутри пола» осуществляется не на уровне прикосновения. Тут работает знание психологии человека, мужчины и женщины, понимание – как строить фразу, манера разбивать текстовой блок на абзацы, держать паузу. Некий напор и звучание голоса. Тут, конечно, интонация и пластика фразы зависит от внутреннего голоса автора, и это может быть женский голос или мужской. Но ни в коем случае не архитектура вещи, не образы героев. Я – автор - должна сработать их очень точно, психологически точно, как часовой механизм: малейший сбой в интонации... и мгновенно возникает то самое «не верю» Станиславского. Это касается и такой важной вещи, как строительство диалога. Если фразу произносит мужчина, он скажет ее иначе, чем женщина. И дело совсем не в лексике. Тут длина дыхания, объем грудной клетки диктует манеру говорить. Он точку поставит в другом месте! Все имеет колоссальное значение, - если я намерена сделать героя живым и абсолютно убедительным. Если я хочу, чтобы читатель вошел в книгу, как в мир.

(продолжение следует)

ЛИЦА В ТОЛПЕ ДНЕЙ

Прошлое состоит из лиц, как крона дерева из зелёных листьев. Позднее солнце подсвечивает их с приходом осени, окрашивает золотом, бронзой или ржавчиной. И опадают разноцветные листья, ложатся наземь, а потом уходят в землю.

В круговерти лиц в Литературном институте, на Цветном бульваре, светятся особняком два: чуваш Геннадий Айги и аварец Магомед Алиев по прозвищу «Хелеко» («Петушок»). Оба они умерли, второй лет десять назад, а первый совсем недавно. Иногда бывает очень трудно, а то и вовсе невозможно провести черту между существованием и небытием, когда это относится к близким людям или родным.

Я никогда не хранил писем - ни от товарищей, ни от приятных девушек. Не то, чтобы я, прочитав, сразу их выбрасывал, нет. Они валялись, где попало, и потом, по прошествии времени, куда-то исчезали как бы сами по себе. И фотографий «на память» не собирал и не сортировал в альбоме. Да и фотоаппаратов полвека назад у моих товарищей было раз-два и обчёлся – никому в голову не приходило фотографироваться. Наручные часы – и те были далеко не у каждого. Какие уж тут фотоаппараты, какие «карточки»! А о документах и справках и говорить нечего: кого они интересовали?! «Не надо заводить архивы» - учил Пастернак и сам, кажется, не заводил... У меня от тех времён сохранилась тройка фотографий и охотничья лицензия на отстрел барса и двух волков в Памирских горах. И ещё – для приятных воспоминаний – договор с душанбинской студией, куда я нанялся в качестве трюкача-каскадёра на съёмки кинофильма из жизни

басмачей: «За травмы и увечья, полученные трюкачом, киностудия ответственности не несёт»... Бумажки я не собирал, зато молодая память – эта капризная госпожа и лукавая - ловила всё, что ей приходилось по вкусу, а ненужное отторгала и выбрасывала. Может, так оно и лучше.

Итак, «документальные свидетельства» молодости разлетелись и рассеялись; скатертью им дорога, полотенцем путь. А книжки, подаренные товарищами – те остались. Да вот незадача: 6 ноября 1972, в день моего отъезда в Израиль «на ПМЖ», таможенники в штатском, в офицерских сапогах, аккуратнейшим образом выдрали книжные странички с дарственными словами авторов. Советская власть почему-то решила, что вот это – нельзя. И выдрала. Гена Айги подарил мне свои книжки тридцать лет спустя, когда большевики уже не распоряжались в России, а авторские дарственные надписи никого не интересовали – разве что библиофилов: «Давиду – брату моему – с любовью – (всегда!) от Гены. 11.10.2000». «Мой родной Давид! – люблю – как вчера!.. – (всегда). Твой Гена. 13.10.2000». Это я теперь берегу.

А тогда, в 1956, только начинался долгий путь к перевалу. В институтских аудиториях и коридорах, в дачном переделкинском общежитии мы все приглядывались, принимались друг к другу. Гена Лисин, будущий Айги, подвижный, щуплый, с тёмными вздыбленными волосами, с неровными ногтями на нервных пальцах, был похож на лесного духа, выдравшегося зачем-то из своей зелёной чащобы. Он притягивал к себе людей, вокруг него всегда кто-нибудь вращался, как планеты и планетки вокруг косматой звезды, и из центра этого вращения выплёскивались обрывки картавой и раскатистой, негромкой лисинской речи: «Рильке! Веркор! Делакура! Корбюзье!» Западная культура, прежде всего французы, не давали покоя этой чувашской лесной душе, он назначил себе выучить французский язык – и выучил, в конце концов.

Меня, как многих других, тянуло к Лисину. Мы сдружились. Думаю, определённую роль в этом сыграло моё еврейство: Лисина интересовало всё на свете, и никогда не остывающий «еврейский вопрос» не в последнюю очередь. В глазах Лисина «малым народом» были не только евреи, но и чувашаи. Библейские древние корни и феноменальная еврейская выживаемость, культурная и этническая, усиливали этот интерес. Я встречал немало людей из небольших этносовсоветской империи, видевших в евреях своих естественных союзников.

Литературная профессиональная среда, преддверием которой был Литинститут, обладала целым набором специфических особенностей. Повсюду люди женятся, обзаводятся детьми, разводятся, умирают. Я думаю, что писатели в СССР занимали первое место по количеству разводов среди всех прочих профессиональных «цехов». Жаль, статистики на этот счёт, вроде бы, не существует... Так или иначе, но развод и логически, и хронологически следует за свадьбой. Скучный обряд бракосочетания проводился в районном ЗАГСе, куда жених и невеста врывались, естественно, через парадный подъезд. А чёрный ход того же ЗАГСа, со двора, гостеприимно принимал разводящихся.

Гена Лисин решил жениться вскоре после поступления в институт. Свадьбу устроили в Переделкино, в «общаге». Под святое дело отвели комнату побольше в одной из деревянных избушек – временно выдворили оттуда жильцов, соорудили стол из снятых с петель дверей, положенных на козлы, тут же стояла и придвинутая к стене скорее солдатская койка, чем супружеская кровать – предмет, всё же, первой необходимости при таких обстоятельствах. Как говорили в лагерях: «Браки заключаются на нарах, а не в небесах».

Человек пятнадцать гостей – все студенты – набились в комнату, как говорится, «под самую завязку». Бутылок было немало – изба звенела. А разносолами здесь никто никого

не собирался поражать. Генка женится, это главное. Женится первым из нас в институте. И это – праздник.

Невеста была русская, большая, белая – подспудная мечта всякого «нацмена», будь он чуваш, еврей или хоть нивх с острова Сахалин. Папа невесты, сельскохозяйственный человек, занимал на далёком Алтае какой-то высокий пост: по сведениям жениха, он там заведовал Совнархозом и командовал посевной и уборочной на территории, по площади равной всему Бенилюксу. Государственные заботы не позволили правителю алтайского Бенилюкса прибыть в Переделкино, в избу, - но это ничуть не расстроило Гену Лисина. У меня сложилось впечатление, что этот знатный папа то ли не одобрял матримониальные намерения дочери, то ли вообще был не в курсе дела. Такое случается.

А мы с Магомедом-Хелеко сели в электричку на Киевском вокзале и поехали в Переделкино. От станции к писательскому посёлку вела вдоль лесной опушки пешая дорога. Собирался дождь, темнело. Справа посверкивали огоньки патриаршего подворья, и мокрое поле приливало к подножью кладбищенского холма, с которым суждено будет поделиться своей посмертной славой хорошим писателям.

Избы общежития стояли на отшибе посёлка, в леске. На ближайшей к этим неважнецким избам писательской даче проживал здоровенный индюк, похожий на мешок, украшенный индейскими боевыми перьями. Индюк обладал скверным характером: без всякой причины кидался он на прохожих, шипел и тряс головой с противными красными висюльками. Подпустив индюка поближе, мы с Хелеко накрыли его моим плащом и придавили получше – не являться же на свадьбу с пустыми руками.

Застолье шло своим накатанным путём, оно гудело и громыхало, каждый говорил, что ему вздумается, и никто не обязан был слушать говорившего. Часам к четырём утра всё было выпито и съедено, включая соседского индюка. Кое-кто клевал уже носом, невеста проявляла сдержанное чувство нетерпения: ей надоело слушать наши бессвязные разговоры, она хотела целительной тишины и

относительного покоя. Мы поднялись из-за стола, навесили дверь и пошли бродить по лесу. Три часа спустя мы решили, что пришло время возвращаться в общежитие, к молодожёнам.

Они лежали неподвижно, высунув головы из-под толстого ватного одеяла, и не разделяли с нами радости нашего возвращения. Над кроватью, на тёмной деревянной стене, белел прищипленный кнопками большой лист ватмана. На нём цветными карандашами – красным и синим – был размашисто вычерчен какой-то странный и вполне неуместный здесь график, отдалённо напоминавший произведение абстрактного искусства. Топчась в дверях, мы пялились на график в большом изумлении.

- Это мы решили графически изобразить взлёты нашей страсти, - объяснил Гена появление картины на стене. – Она синим карандашом, а я – красным.

Самое время было отправляться на поиски пива.

Этот союз большой, белой красавицы и лесного духа оказался случайным: малое время спустя Гена снова был свободен, как ветер. И мы с ним надумали отправиться к нему на родину - в деревню, утонувшую с крышами в лесном чувашском море. Собственно говоря, это я рвался в деревню - любопытство меня нахлёстывало и подгоняло, - а Гена убеждал ни в какую деревню не ехать, а ограничиться посещением столичных Чебоксаров: в родную глухомань, мол, даже автобус не идёт, добираться туда попутными грузовиками жуткая морока, а делать там решительно нечего... Так или иначе, мы втиснулись в общий вагон пассажирского поезда и, среди народа с его мешками и узлами, безмятежно тронулись в путь. Прошла ночь, утро застало нас в Чебоксарах.

Мы поселились в тесном номерке на двоих, в трёхэтажной гостинице. Окно комнаты выходило на главную улицу города. Первый этаж здания занимал ресторан. Несмотря на утренний час, около десятка не вполне трезвых граждан толпились на тротуаре у входа в заведение, ожидая своей очереди. Можно было

предположить, что страсть к употреблению горячительных напитков довольно-таки сильна в этих заповедных краях.

Вскоре к нам пришли гости - пятеро робких молодых студентов, поэтов из местного Педагогического института. В Москве я и представить себе не мог, какое место занимает Гена Лисин в ряду своих литературных соотечественников. Поэты глядели на Гену как на признанного живого классика, слушали его, как спустившегося с горы пророка Моисея, если б он говорил на общедоступном с ними языке и не страдал дефектом речи. Выложив на стол дары – водку, хлеб и варёную колбасу – молодые люди уселись тесным рядом на кровать и попросили Гену:

- Расскажите нам про Достоевского!

И Гена прочитал часовую блистательную лекцию о Достоевском, делая особый упор на «Бесов», находившихся в те времена, по существу, под запретом.

Первую группу студентов сменила вторая, во главе с поэтессой Волковой, строгой и чувственной, как будто сошедшей с византийской иконы. В этой Волковой пылал жёлтый огонь, разве что гул пламени трудно было слышать.

- Расскажите нам про Гоголя!

И Гена рассказывал, в совершенной благоговейной тишине.

Вести о приезде Лисина разлетелись по городу. К вечеру к нам заглянул народный поэт Ухсай. Автор знаменитой поэмы «Дед Кельбук» вёл себя товарищески, с Геной держался почти на равных. Речь зашла о чувашском фольклоре, Ухсай пел народные песни, грустно звучащие для чужого уха. Гена слушал внимательно, даже торжественно. В этой комнатёнке, над орущим внизу кабаком, тончайший импрессионист Лисин и конъюнктурный соцреалист Ухсай были как бы одно целое, древний напев связывал их и сковывал одной серебряной цепью, как связана высокая звезда с лесным озером, в зеркале которого мерцает и дрожит её отражение.

В лисинскую деревню Шаймурзино мы добрались назавтра, перед закатом. С полсотни изб расселись

посреди леса, частоколом окружавшего поселенье. Над печными трубами висели дымки. Робкие голоса жизни – мычанье коровы, вхоханье кур и собачий лай – стлались над землёй и не мешали огромной тишине мира.

Родной дом Гены Лисина был похож на деревянную игрушку в сувенирном магазине. Его дощатый белый пол пересекали рукодельные тряпичные дорожки, он был идеально чист и сух, как скрипичная дека. Щёлкни, казалось, ногтем по его бревенчатой стене – и он весь зазвенит и запоёт. Курить в доме было нельзя, одна искра, наверно, могла такое тут наделать...

Мать Гены, аккуратная маленькая старушка в длинном платье и незатейливом переднике поверх него, встретила сына с потаённой радостью. Они заговорили по-чувашски – женщина, как видно, не владела русским языком. Да и во всей деревеньке мало кто изъяснялся по-русски.

- Вечером гости придут, - сказал Гена, когда мы вышли на волю покурить. - Переночуем - и завтра утречком в Чебоксары.

Гости степенно сидели за столом, пили, не спеша, самогон и жевали народные пирожки из ржаной муки, начинённые морковью с зелёным луком. Время, переваливаясь с бока на бок, медленно тянулось. Меня не оставляло ощущение, что Гена Лисин отчаянно скован и тоскует в родном лесном гнезде. Вот так, наверно, чувствовал бы себя Есенин, окажись он вдруг, с бухты-баряхты, в родном Константинове: куда приятней, сидя в Петербурге, вспоминать о милой родине, о материнском ветхом шушуне и старом отце, которому надо бы обязательно купить «штуки эти», - чем обсуждать с сельчанами обстоятельства вялотекущей жизни.

Наутро мы отправились обратно в Чебоксары. Попутная полуторка, раздолбанный автобус, рабочий поезд... Чем дальше отъезжали мы от заповедного леса, тем бодрей и оживлённей становился Гена Лисин. Теперь он снова напоминал загадочного лесного духа, излучающего изумрудное сияние. Так, во всяком случае, мне казалось.

Он умер совсем недавно, в конце февраля. Его поэзия, признанная и любимая культурным миром, есть ток свободной, ничем не ограниченной мысли. Геннадий Айги был одним из немногих поэтов, сумевших сблечь совершенную свободу в условиях совершенной несвободы. Может быть, и единственный.

Магомеда-«Хелеко» Алиева советская власть не жаловала и не баловала, но и не травила. Как всякий молодой советский человек, он был в то же время человеком антисоветским: в коммунизм он не верил ни на грош, идея догнать и перегнать злокозненную Америку по надою молока его ничуть не увлекала. Провести и объегорить партийное начальство (а другого, собственно, и не было) с пользой для себя- вот это было обычным делом, каждодневной заботой и проверенным приёмом в борьбе за существование. По этой причине Хелеко написал поэму «Ленин в горах», Евтушенко её перевёл с аварского языка на русский, а журнал «Дружба народов» немедленно напечатал. «Ленин в горах», разумеется, был отмечен в прессе положительными рецензиями, и Хелеко задумал изготовить целый цикл поэм: «Калинин в горах», «Дзержинский в горах», «Коллонтай в горах». И никого не тревожил тот факт, что ни Ленин, ни жизнелюбивая Коллонтай с дедушкой Калининим и «железным Феликсом» впридачу никогда в жизни не были в кавказских горах – историческая правда и в сравнение не шла с политической мотивированностью задуманных поэм. Какая разница – были они там или не были? Не в этом счастье...

Да и кому же писать об отважных коммунистических вождях на кавказских кручах, как не уроженцу этих мест Хелеко - самому что ни на есть высокогорному «национальному кадру» из глухого аула Хиндах! К «лицам кавказской национальности» полвека назад не относились в Москве с такой неприязнью, как нынче, к тому же генеалогическое древо Хелеко сверкало безупречным хрустальным блеском: отдалённые его предки были бандитами с большой дороги, а близкиеродственники -

трудолюбивыми колхозниками. Юный стихотворец спустился с гор и приехал в Москву, в Литературный институт, чтобы стать знаменитым поэтом всесоюзного значения, таким, примерно, как Расул Гамзатов. Сидя в диком Хиндахе, среди орлов, баранов и козлов, Хелеко эту затею осуществить не мог – вот он и спустился. «В горах моё сердце, а сам я внизу» - так он объяснял своё затянувшееся до самой смерти проживание в столице империи.

Москва пришлась горцу по нраву, он полюбил этот по-своему великий город сильнее, чем многие коренные москвичи – его дворцы и бараки, широкие площади и сомнительные подворотни, его кабаки и бесподобных девочек. Не «Ленин в горах» был предметом его гордости, а «Рыжие суки». Он принёс мне их, попросил перевести – я и перевёл. А потом они пошли по рукам, и немного погодя появились неведомо как в эмигрантском журнале «Мосты», в Германии.

РЫЖИЕ СУКИ

Смотри, ты видишь – впереди гора.
Достигну я её вершины голой.
Я с вечера иду к ней до утра,
Тропинкой прошивая эту гору.

Всегда в дороге я, но не устал.
Смотри, смотри! Вершина недалече...
Всегда в дороге я. Но где ж привал?
Мне суки рыжие идут навстречу.

Они идут. Их много – рыжих сук.
«Хозяин!» - лают мне и лижут руки.
Но не могу я, суки, не могу!
Меня ждёт лань в горах. Уйдите, суки!

Уйдите, рыжие, я вас молю.
Уйдите, не толпитесь на дороге!

Да, я люблю вас, суки, я люблю.
Теперь уходите. Рыжая, не трогай!
Прошу, не трогай!

Это стихотворение стало как бы визитной карточкой Хелеко, и он демонстрировал её при всякой возможности. После чтения стихов, производивших хорошее впечатление, смешанное, всё же, с лёгкой опаской, Хелеко произносил по моей просьбе одну-единственную короткую фразу. «Семьсот тысяч семьсот семьдесят семь» - выпаливал Хелеко на родном аварском языке, практически без единой гласной, и эта пулемётная очередь была слушателей наповал. Слушатели застывали, они просто не верили своим ушам – никто из них не мог сообразить, как человеческое существо, будь оно даже высокогорным поэтом Хелеко, может без запинки выговорить такую абракадабру, и к тому же с такой страстью. Горный орёл мог бы, пожалуй, это проклекотать – орёл, поражённый калёной стрелой любви в самое сердце.

Ехать в орлиный край – дагестанский аул Хиндах - мы с Хелеко решили бесповоротно. Поездке, однако, препятствовали непредвиденные обстоятельства: то я уезжал по заданию редакций газет или журналов в какую-нибудь командировку, то денег не было ни гроша, - и мы откладывали отъезд. Одна из таких задержек хорошо запомнилась и нам с Хелеко, и нашим друзьям-студентам, и даже ректору Серёгину.

По заданию журнала «Огонёк» я в очередной раз отправился на Памир, на ледник Федченко – писать очерк о гляциологах, кукующих целый год на труднодоступной гидрометеостанции, на высоте 5200 метров над уровнем моря. «Труднодоступной» - это ещё мягко сказано. До станции можно было добраться лишь верхом, проведя в седле три полных дня – это в короткие летние месяцы. В суровое же время года лошадей с коноводом приходилось отпускать с последней перед станцией ночёвки в каменной будке под названием Чёртов Гроб, а дальше подниматься по леднику на лыжах километров тридцать пять. По пути,

справа, в ледник Федченко впадал ледничок Бивачный, и тут, почти впритык к устью, начинался подъём на высочайшую в Союзе гору - пик Сталина (7495м), переименованный затем в пик Коммунизма, а нынче носящую имя "пик Сомони". Всё меняется в нашем мире, даже пики гор. Это ведь как ещё повезло самому протяжённому на свете 94-километровому леднику Федченко – большевики почему-то замешкались и не успели переименовать его в ледник, к примеру, имени Крупской, чтобы раскрепощённые женщины Востока чувствовали себя полноправными членами социалистического сообщества по половому признаку. Замешкались – и вот теперь нет нужды ломать голову, подыскивая новое справедливое название.

Одним словом, на Федченко можно было без хлопот распрощаться с жизнью: провалиться в трещину, сорваться со скалы или, восхищённо разглядывая наш мир с крыши, не выдержать приступа счастья.

Мне повезло: я уцелел. Спустившись с ледника в райский кишлачок с идиллическим названием «Золотая Могила» («Алтын-Мазар»), описанный Георгием Тушканом в его романе «Джура», я сел на лошадь, доехал за день до центра Алайской долины, оттуда долетел на «кукурузнике» до Душанбе и поспел на московский рейс. Тем же вечером мне позвонил Хелеко и пригласил отметить моё благополучное возвращение в шашлычной «Эльбрус».

– Денег нет, - сказал я в ответ на приглашение.

– Деньги-меньги... - брезгливо заметил Хелеко. – Деньги – тоже человек, что ли? Сам же говоришь: ты жарь, жарь – а рыба будет!

Крыть было нечем, мы отправились в шашлычную. В тот вечер Хелеко так и не объяснил мне, откуда у него появились деньги, да я и не допытывался; может, «Дружба народов» решила заплатить аванс за вторую часть поэмы «Ленин в горах».

Наутро мы встретились в институте. Не говоря ни слова, Хелеко повёл меня на второй этаж, к доске объявлений около кабинета ректора. По пути к доске я с

некоторым смущением ловил на себе изумлённые, а то и вовсе безумные взгляды встречных студентов.

На доске висело скромное объявление, выполненное плакатным пером: «Во время выполнения редакционного задания на Центральном Памире разбился наш студент Давид Маркиш. Сбор денег на венок производит Магомед Алиев». Пока я пялился на это потрясающее сообщение, мимо нас проследовал в свой кабинет ректор Иван Серёгин. Проходя, он смерил нас с Хелеко недружелюбным взглядом.

- Зайдите ко мне, - бросил Серёгин, задержавшись в дверях. – Оба.

Делать было нечего. Войдя, мы угрюмо стояли на ковре перед столом ректора.

- Это как же так? – жестяным голосом справился Серёгин. – Жив ваш приятель или нет?

- Чудо вышло, - пробормотал Хелеко и хлюпнул горбатым орлиным носом. – Случайно выжил...

- А плакат кто писал? – наливая дурной кровью, закричал Серёгин. – Я спрашиваю – кто?

- Не знаю, - сказал Хелеко. – Другой кто-то написал.

- Значит, другой, - вымолвил Серёгин. – И вы, конечно, не знаете, кто... - Он сделал паузу. – Вас, Алиев, следовало бы немедленно отчислить. Немедленно! Но это сделает посмешищем весь наш институт, вы хоть это понимаете? И опозорит всю вашу республику, весь Кавказ.

Хелеко молчал.

- Снимите плакат и убирайтесь, - сказал Серёгин. – Денег-то много собрали с дураков? На венок?

- Денег мало, - взбодрился Хелеко, чуя, что буря проходит мимо. – Зато Иерусалимский казак жив остался.

- Что «Иерусалимский» - это понятно, - задумчиво на меня глядя, сказал Серёгин. – А «казак» - это ещё почему?

Он был почти уверен, что тут аварско-еврейский заговор, что два нацмена действовали сообща.

Не мешкая, мы вышли из кабинета.

В ночь на 2 июля 1961 застрелился Хемингуэй. В тот день я получил телеграмму от Хелеко из города Иваново, - он там осел в цирковом общежитии, где проживала его новая любовь – бурятка, косившая под китайку. Эта бурятка гренадёрского роста, делая стойку на руках, производила выстрел из лука при помощи ног и неизменно попадала в цель, в самое «яблочко». Такая интересная стрельба подавалась как китайская народная забава и производила на цирковых зрителей большое впечатление.

«Хемингуэй застрелился тчк, - писал Хелеко в телеграмме, - хочу стать настоящим мужчиной тчк ухожу в армию». Как видно, любовь к стрельчихе из лука дала сильный крен, и Хелеко заскучал в городе Иваново. Дело последовало за словом, Хелеко очутился в группе советских войск в Германии. Оттуда он демобилизовался года через полтора, завоевав первую премию на конкурсе тамошних армейских поэтов. Вернулся с полным ртом стальных зубов, блестевших опасным блеском. Эту начинку он получил в результате производственной травмы: по ходу учебной тревоги ему надлежало тащить какой-то тяжеленный сейф, он допёр его до железнодорожного полотна и там уже рухнул, ударившись сахарными своими природными зубами о рельсу. Последствия удара были ужасны.

- Ничего, - утешал Хелеко сердобольных товарищей. – Зато теперь пиво удобней открывать.

За полгода до германской «проверки на мужественность», невольной причиной которой послужила смерть Хемингуэя, мы с Хелеко всё же успели съездить в аул Хиндах. Моё представление о Кавказе мало чем отличалось от общепринятого и вписывалось в общую советскую картину: тёплое море, дешёвое вино, милые отдыхающие девушки. Аборигены в больших кепках, мандарины и лавровый лист. Курорт, «всесоюзная здравница». Бархатный подлокотник империи. Где там гнездятся чечены, знакомые мне по ссылке и вовсе не склонные к выращиванию лаврового листа, я и понятия не имел. Да и Хелеко совсем не был похож на субтропического

кавказца, жарящего чебуреки в прибрежном буфете. Я хотел попасть в Дагестан – край вольнолюбивых потомков имама Шамиля, увидеть своими глазами аулы с названиями, звучащими, как лягг капкана: Сагратль, Гацатль.

Денег на дорогу у нас как раз не оказалось, мы ломали голову, где их достать. Хелеко предложил дерзкий план.

Против нашего института, на Цветном бульваре, рядом с магазином «Армения», располагалась огромная мастерская знаменитого скульптора Конёнкова. Вот его-то Хелеко и наметил в качестве мишени своей интеллектуальной атаки. Надо сказать, что Хелеко был не первым: немало неимущих студентов – и поэтов, и прозаиков – пытались проникнуть к мастеру резца и молотка и разжиться там десяткой-другой. Но мастер, по слухам, был неприступней скалы, он воспринимал близость Литинститута как стихийное бедствие. Хелеко, несмотря ни на что, был настроен решительно и сохранял оптимизм.

- Ты сиди на лавочке, - сказал Хелеко, указывая на бульварную скамейку. – Я скоро приду, и завтра мы поедем в Хиндах.

С моей лавочки мне было видно, как Хелеко названивал в дверной звонок. Мощная дверь, наконец, отворилась, в проёме возникла служанка в белом передничке, и Хелеко вежливо, но твёрдо отодвинув её с порога, исчез в мастерской.

Дальше непростое это дело поскакало рысью. Хелеко вошёл в комнату, где на кушетке отдыхал бородатый старик с книжкой в руке; это и был прославленный скульптор.

- Я аварский поэт, - представился Хелеко, - у меня есть одна мечта: прочитайте вам, великому человеку, мои стихи. И вы мне потом скажете своё мнение.

Конёнков заскучал, он, как видно, заподозрил в визите Хелеко какой-то подвох. Но незваный гость за денежной помощью покамест не обращался, и скульптор решил милицию не вызывать. Почитает парень стишок и пойдёт своей дорогой...

И Хелеко, не тратя времени попусту, приступил к чтению поэмы «Ленин в горах» на родном аварском языке. Покончив с «Лениным» минут через двадцать, он без паузы перешёл к циклу лирических стихов, затем – к историческим балладам. От дикого цоканья и клёкота горной речи старик Конёнков слабел на глазах, книга выпала у него из рук – но остановить Хелеко можно было только автоматной очередью. Наконец, поэт перевёл дух – и скульптор не упустил этого счастливого момента:

- Я, к сожалению, не понимаю вашего языка... Но чем вам можно помочь, молодой человек?

- Нравится? – требовательно спросил Хелеко. – Тогда я ещё немного почитаю...

- Помочь, хочу помочь! – твердил старик, поспешно запуская руку в карман.

- Мне домой надо, в горы, - Хелеко окончательно перешёл на русский язык. – А билеты дорогие... Но я ещё балладу не дочитал!

Спустя несколько минут он распрощался со служанкой в дверях мастерской и вышел на бульвар.

А назавтра, спасибо скульптору Конёнкову, мы уехали с Хелеко в Махачкалу, оттуда в Гуниб. От Гуниба до Хиндаха уже рукой подать...

В Советском Союзе покупать железнодорожные или авиационные билеты «в оба конца» было не принято, никому такое даже в голову не приходило. Действительно, надо человеку в тот же Гуниб – пусть постоит в очереди на вокзале, достанет билет и едет с Богом. Понадобится ему возвращаться – снова пусть постоит, достанет, едет. Долгосрочное планирование было не в ходу у рядовых граждан. Как тут планировать, если всякое может случиться: отменят поезд или самолёт, или попадёт человек в вырезатель, или подерётся он на улице с хулиганом и его посадят под замок «до выяснения» – а деньги за билет пропадут безвозвратно. Так что лучше уж действовать в соответствии с изменчивой обстановкой. Власть – и та рисовала свои планы лишь для красоты:

«воду пустим в деревню по трубе», «расселим людей из коммуналок в отдельные квартиры», «на той неделе построим бесплатный коммунизм», - так что ж тут говорить о частном человеке!

Не доезжая Гуниба, Хелеко указал мне на обочину дороги, за которой голубела пропасть.

- Здесь всё время камень ставят, - сказал Хелеко, - с надписью: «На этом месте генерал от инфантерии князь Барятинский пленил Шамиля». Сегодня, например, поставят – а завтра мы его в пропасть скидываем. Через месяц опять поставят – а мы опять скидываем.

- Так и скидываете? – спросил я.

- Ну да, - сказал Хелеко. – Это же позор! Шамиля никакой князь не пленил, он сам так решил и пришёл сдаваться. Знаешь, что было написано на ордене, который имам Шамиль давал своим мюридам?

- Ну, что? – спросил я.

- «Тот не храбрец, - с гордостью произнёс Хелеко, - кто задумывается над последствиями».

Да, приморскими чебуреками тут и не пахло...

ЖИЗНЬ, ОНА ТАКАЯ...

Фрагмент повести

Вечерами Костя старался вообще не думать о том, как жить дальше и стоит ли? Все равно аргументов «за» не было, зато «против» - хоть отбавляй. И главное – ничего не изменишь. Сумасшедшую Глафиру – окаянную тещу – ни за одним больничным забором не спрячешь. Голову поверни – и вот: лежит рядом и в потолок пялится. А что по паспорту она Мария, его жена, так это для других, кто не знает, кто не видел... А он видел. Видел этих двух, с одинаковыми лицами, мать и дочь.

Время от времени Рузавин молился. По-своему, как умел. Лишнего не просил, знал, все без толку. А раз так, то хотя бы уснуть по-человечески – крепко, по-настоящему, как в армии, и чтоб без снов...

«Без снов» не получилось ни разу, всегда что-то да перед глазами мелькало и чаще всех, удивлялся Костя, – школа, словно именно она была главным делом его жизни. Настоящей жизни, без них, без Соболевых!

Вот и сегодня хорошо знакомый сон спустился к Рузавину, отчего тот поначалу сделался счастлив, как в детстве. Снова – немка, снова – столица восточной Германии, Берлин, но вместо прежней мучительной немоты – стройная немецкая фраза, зазвучавшая в Костином мозгу: «Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin».

– Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin, – старательно выговаривает ее Рузавин и с гордостью смотрит на немку.

– Неправильно! – взвизгивает та и, выпучив на растерянного Костю глаза, багровеет.

– Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin, – старательно еще раз повторяет он и видит

вместо искаженного лица учительницы немецкого языка круглое Машенькино, с провалами глаз.

«Глаз нету!» – пугается Костя во сне и лихорадочно вглядывается в жуткие пустоши. «Да их и не было никогда», – слышит он чей-то голос и тут же догадывается: это голос Глафиры! «А-а-а!» – кричит Рузавин, и в руках у него оказывается непонятно откуда взявшаяся подушка. И тогда он бросается на ненавистную Глафиру Андреевну Соболеву и хочет заткнуть этот ненавистный рот, и давит, давит подушкой на ее ненавистное лицо, а подушка проваливается в огромные глазницы и тащит его за собой в пустоту.

– Ко-о-стя! – трясет его Маша. – Ко-о-остя!

– А! – просыпается Рузавин и долго не может унять беснующееся в груди сердце.

– Ты кричишь, – уже спокойнее говорит ему жена и гладит по лицу, отгоняя ночной морок.

– Кричу? – садится Костя в постели, и рука его тянется к проклятой подушке, вынырнувшей из жуткого сна.

– Кричишь, – тихо подтверждает Машенька и снова ложится на спину.

– Сейчас тихо будет, – обещает Рузавин и резким движением бросает на лицо жены влажный от пота горячий ватный ком.

И вот она дергается, вся-вся дергается, пытаюсь высвободиться из душного плена, но Костя сильнее. «Еще чуть-чуть», – успокаивает он сам себя и надавливает еще и еще... А потом пугается и в спешке стаскивает подушку с Машиного лица: «Жива!» – плачет Рузавин и целует ее, и дышит той в разинутый рот, чтобы расправилась ее маленькая узкая грудь и чтобы в нее ворвалась оживляющая струя воздуха.

– Дыши! – кричит Костя и трясет эту потную куклу. – Дыши!

И та дышит, захлебываясь то от хрипа, то от плача, то от ужаса.

– Не бойся, – пытается ее успокоить не менее напуганный своим поступком Рузавин и гладит влажное тело,

поправляя задравшуюся вверх ночную сорочку. – Не бойся, Маша, – уговаривает он жену и даже пытается что-то объяснить. – Это во сне. Это во сне.

Машенька боится мужа, жметя к стене, закрывается руками, отталкивает его: «Это не во сне!» – она точно знает, она сама его разбудила и сама с ним разговаривала.

– Нет, во сне, – настаивает на своем Костя и просит прощения.

– Мама, мамочка, – скулит жена и обнимает себя за плечи, закрывает себя от него, от смерти.

– Не плачь, Маня, – вдруг хорошо знакомым спокойным голосом говорит Рузавин и встает с дивана: – Спи. Ничего не бойся. Я тебя охранять буду, – обещает он жене, и она почему-то верит ему.

Костя бродит по квартире в поисках Абрикоса. Находит кота в кухне на подоконнике, бесцеремонно хватает, не обращая внимания на недовольное мяуканье. Несет его к Маше и кладет рядом, накрывая своей половиной одеяла:

– Спи, – глухо приказывает Рузавин и целует жену в прохладный лоб. Обессилившая от перенесенного ужаса и рыданий Машенька неожиданно успокаивается и, прижав к себе кота, зажмуривается. – Спи, – снова просит Рузавин и клянется: – Все будет хорошо.

Этой ночью Костя хотел повеситься – не нашел веревки. А потом догадался, что давно уже мертвый. Был бы живым, удавился бы. А он – ничего, сидит на жену смотрит и ждет утра.

КОРОНАВИРУС ЛЮБВИ

«...и, собственно, всё вышеперечисленное говорит о том, что коронавирус – это обычная вирусная пневмония, на которой очень скоро фармацевтические корпорации заработают кучу бабла!»

Олег, очень довольный собой, нажал на «опубликовать» и стал с интересом ждать реакцию «социума».

Последние два года Тимофеев, знакомясь с женским полом, именовал себя блогером. Действительно, каждый день он комментировал в фейсбуке новости, размещал в инстаграмм забавные фото своего любимого французского бульдога с соответствующими подписями, вёл видеоблог «Любовь после пятидесяти лет».

Его сместила истерия с коронавирусом. В свои пятьдесят пять он пережил эпидемии холеры, свиного и птичьего гриппа, смену денег, кризис неплатежей и обрушение доллара. Если учесть, что Олег тридцать лет занимался бизнесом, то его мало чем можно было удивить.

Он разместил в социальной сети номер один (которую, по слухам, плотно контролирует ЦРУ) пост, развенчивая, по его мнению, безумный фейк под названием "коронавирус" и ждал откликов.

Тимофеев никогда не спорил с оппонентами и не комментировал ответы на публикации. Он знал, что закон социальных сетей заключается в том, что даже если ты обладаешь исключительными знаниями и компетенциями, то все равно в итоге будешь дураком.

Олег, посмеиваясь, читал комментарии и удовлетворенно хмыкнул, когда количество «лайков» перевалило за тысячу. Потом, неторопливо листая список «лайкнувших» и рассматривая аватарки, вдруг замер. С

фотографии на него смотрела сквозь стекла модных очков строгая брюнетка с короткой стрижкой.

Евгения Ларсен – имя и фамилия были написаны латиницей.

Тимофеев быстро перешёл в ее профиль, кликнул «фото» и начал жадно рассматривать фотографии.

Годами пользуясь социальными сетями, мы складываем, зачастую бездумно и автоматически, историю нашей жизни. Внимательный человек по фото и постам, размещенным в профиле, может создать достоверную картину о том, как вы живёте (и с кем), каковы ваши пристрастия и привычки, чем вы не довольны.

Евгения Ларсен двадцать три года жила в Норвегии, вдовствовала, но была в «гражданском партнёрстве». Ее дочь с мужем и двумя сыновьями обосновались на берегу Женевского озера, где, видимо, любила бывать и госпожа Ларсен. Во всяком случае, многие фото со счастливо улыбающимися с ней в обнимку радостными внуками были сделаны на фоне женевских пейзажей.

«Вот, сука, чего они там всегда улыбаются и радуются?!» – Тимофеев поиграл желваками и посмотрел в окно, на стену соседнего дома.

Дом был серым, панельным, с потрескавшимися швами, расписанным юными дарованиями цоколем и металлическими входными дверями в подъезды. Двери были окрашены в чёрный цвет, а кодовые замки, как водится, не работали.

Когда-то в этом доме жила Женечка Тюлина, ныне вдовствующая в «гражданском партнёрстве» госпожа Ларсен.

Они лежали на ковре. Когда одежда была сброшена, она рассмеялась ему в ухо:

– Олежа, а знаешь, у нас будет настоящая половая жизнь!

– Да? – он растеряно оглянулся, увидел, что в комнате только ковёр на полу и старое кресло около окна.

– Да! – она потянула его вниз.

Они лежали на ковре. Он рассматривал пожелтевший потолок, а она говорила не переставая:

– Представляешь, Даша сказала воспитательнице: «Тамара Николаевна, вы глупая!», я ей сразу по губам дала! Кошмар какой-то! Не знаю, что с ней делать.

Олег резко, до хруста, повернул голову вправо и внимательно посмотрел Женечке в глаза.

Заболела жена, и ему пришлось вести Тёму в детский сад. Пока сын, побряхтывая, раздевался, Олег обратил внимание на молодую женщину, которая, присев на корточки, что-то говорила на ухо девочке с розовыми бантами.

Закончив говорить, женщина поцеловала дочь, чуть подтолкнула ее к двери в группу, поднялась и пошла к выходу.

Увидел тогда Тимофеев в её, казалось бы, обычном дежурном поцелуе, которым провожают детей родители, какой-то порыв, страсть не отданную и не растраченную, потребность в любви.

Он быстро поцеловал Тему в макушку и вышел следом. Они познакомились, а через неделю оказались на ковре.

– Всегда! Слышишь, всегда защищай свою дочь! Не давай в обиду никому и никогда! Даже если она неправа!

– Олежа, ты чего? – Женечка приподнялась, опираясь на локоть, и удивленно посмотрела на Тимофеева.

– Женечка, наши дети должны видеть в нас надежную защиту, главное, что мы можем им дать – это любовь! Никогда больше не поднимай руку на свою дочь! И не слушай кого-то, выслушай сначала своего ребёнка!

– А вот ты чего на меня кричишь! Значит, можно взрослым хамить?!

– Ты же не спросила, почему она так сказала?

– Потом спросила. Татьяна Николаевна назвала их с Темой «жених и невеста».

– Вот! Дура полная эта воспиталка! Права Даша!

Встречаться им было удобно, хотя и очень опасно. В любой момент жена Олега могла увидеть, как муж, который пошёл в магазин, завернул, зачем-то, в подъезд дома напротив. Ну, и соседи, конечно, в момент расскажут!

Однако, бог миловал. Да и Женечка вскоре съехала с мамой – они обменяли свои «однушки» на трехкомнатную квартиру рядом с престижной школой.

Встречи их стали редкими, тем более что у Женечки были частые командировки в Москву, да и отправить маму и Дашу погулять тоже получалось далеко не всегда.

В сентябре у Олега родилась дочь, и свободного времени совсем не стало.

7 марта он, с букетиком тюльпанов, заехал к Женечке, которая, зардевшись, провела его на кухню, к накрытому столу, и познакомила с Уле.

- Он живет в Бергене и приехал посмотреть наш город.
- И остановился у тебя?
- Да. – Женя смотрела ему в глаза.
- Хорошо! Приятного времяпровождения!

– Ты что там, картину Коровина увидел? Ужин остывает!

Олег посмотрел на жену, кивнул головой, еще раз бросил взгляд на размытый сумерками силуэт дома напротив и, вздохнув, пошёл на кухню.

«Привет! – написал он в мессенджере Евгении Ларсен, – спасибо за внимание к моей писанине!»

«Привет!» – ответила госпожа Ларсен.

Они закружились в переписке, становясь моложе на тридцать лет, собирая лоскутки прошлого, складывая их, словно мозаику, в причудливую картину радости, желаний, встреч, расставания и, наверное, любви, которая прошла, по-настоящему даже не начавшись.

Как-то она написала, что все эти годы помнила его и думала о нем. Он научил её всегда заступаться за дочь, она очень хочет увидеть его, чтобы поблагодарить лично.

Потом он получил смс, от которого сердце забилось часто-часто и подскочило давление: «Через неделю буду в Москве. Жду встречи.»

Олег узнал, в какой гостинице остановится Женечка, и, вздохнув от столичных цен, забронировал там номер. Скептически осмотрел свой гардероб и остановился на джинсах, светло-синей рубашке и летнем пиджаке, который подарили ему на пятидесятилетний юбилей. С обувью дела обстояли хуже.

– Борь, сможешь что-нибудь сделать? – спросил он своего одноклассника, который держал обувное ателье.

– Шо сказать! – Боря рассматривал заношенные, когда-то стильные «Балденини», - таки я попробую!

– Тебе обязательно ехать на эту презентацию? – жена подозрительно смотрела на Олега, который с улыбкой примерял ботинки, ставшие как новенькие.

– Милая, обязательно! – он поцеловал жену в неподвижный лоб (результат злоупотребления ботексом), – автор – блогер с миллионом подписчиков! Может, пообщаться получится!

– Если бы бизнес не просрал, то это он бы искал возможность с тобой пообщаться! А что так нарядился?

– Ревнуешь? – процедил Тимофеев, пытаясь изобразить улыбку.

– Отревновала уже! Хотя выглядишь ты..., – жена махнула рукой, ушла на кухню и начала там усиленно чем-то греметь.

Он действительно выглядел очень хорошо. Спортивный, подтянутый, с копной седеющих волос и пронзительным взглядом зелёных глаз, Олег продолжал нравиться женщинам, в том числе намного моложе его.

Москва встретила его чистотой, ухоженными газонами и туалетами в метро.

Гостиница была сетевой, сервис налаженным, а персонал радушным. Разместившись в номере, Олег

посмотрел на часы, до встречи в ресторане на первом этаже оставался час.

Он прилёг на широкую удобную кровать, думая о том, что через несколько часов они окажутся здесь, и Женечка будет ласкать его соскучившееся по ней тело.

Тимофеев внимательно осмотрел себя, снял несколько пылинок с пиджака, тщательно почистил зубы и принял таблетку виагры, предусмотрительно купленную в аптеке на вокзале. В инструкции было написано «принять за час до контакта», но он подумал, что уж лучше с запасом, мало ли...

В лифте ему стало душно, и вдруг разболелась голова. Олег вернулся в номер, принял таблетку от давления, посмотрелся в зеркало (а то «дороги не будет») и решил спуститься в ресторан по лестнице.

Она уже сидела за столом, спиной к окну. Он почувствовал, как дрожат колени, и вдруг понял, что пришёл без цветов.

Официант принёс странной паре меню и встал чуть поодаль, ожидая заказ.

Олег смотрел на Женечку, которую не видел тридцать лет, а если бы не фейсбук, то не увидел бы никогда. Он смотрел на морщины, которых не было на фотографиях («фотошоп» – пронеслось в голове), на руки с набрякшими венами, на шею с предусмотрительно повязанным платком, и вдруг закашлялся.

– Попей! – сказала Женечка с улыбкой.

Олег кашлял и видел стол в квартире, где она жила с мамой и дочкой, видел ту, молодую и страстную Женечку, видел безвременно ушедшего Уле, хотя, сколько ему тогда было лет...

– Попей, что ты! – она протянула Олегу бокал.

Продолжая кашлять, он взял бокал, потом, шумно дыша, выпил воду большими глотками, вытер губы салфеткой, встал, церемонно кивнул головой и сделал несколько шагов в сторону выхода.

– Олежа, ты куда? – растерянно проговорила ему в спину Женечка.

Тимофеев остановился, сделал разворот через левое плечо и отчеканил:

– Госпожа Ларсен, мне необходимо срочно сдать тест на коронавирус!

ЛЕТО

В мае выдалась аномальная жара. В День Победы термометр показывал плюс тридцать! Вовка сидел под кондиционером и вяло листал ленту новостей «Фейсбук», задерживаясь на предложениях круизов по Средиземноморью и прогулках на катере вдоль побережья Флориды.

«Может, в Монако? – лениво думал он, – или в Майями на месяцок махнуть?»

Кондиционер напрягался, шумел, выплевывая не охлаждённый воздух.

«Надо новую сплитсистему» – Вовка посмотрел на врезанный в кухонное окно кубик. Тридцать лет назад он притащил этот «кондиционер» из умирающего проектного института, в котором работал по распределению.

Вовка сам его установил, и друзья, которые тогда часто сживали у него на кухне за бутылкой «Столичной», искренне завидовали такой роскоши.

Потом он открыл первый в городе кооператив по производству мебели и стал Генеральным директором, Владимиром Сергеевичем, уважаемым человеком.

Кооператив вырос в большую мебельную фабрику, продукция которой продавалась по всей России.

Владимир Сергеевич зажил широко и красиво. «Мерседес» с личным водителем, дом в Испании, костюмы от кутюр, поездки по всему миру. Молодая жена и дочка, в которых он души не чаял.

Привык он к этой жизни, заматерел, знакомствами обзавёлся: любой вопрос – раз плюнуть. Казалось, что так будет всегда.

Душным августовским вечером загорелась его фабрика. В пожарных машинах, которые приехали быстро, не оказалось воды для тушения разгорающегося пламени. Пока доблестные начальники руководили, а добросовестные подчиненные выполняли приказы, остался только чёрный металлический каркас. И угли.

Как-то быстро Владимир Сергеевич оказался один. Жена ушла к любовнику, дочь-студентка уехала продолжать учебу в Америку, дом в Испании, квартиру в элитном доме и «мерседес» пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами.

Друзья перестали узнавать, а на работу мужчину, почти уже в «возрасте дожития», брать никто не хотел.

Владимир Сергеевич устроился водителем в «Uber», вернулся в свою однокомнатную «хрущевку» (благо не продал и не подарил никому).

Отчество его потерялось и стал он Вовкой, одиноким пожилым мужиком с землистым, от недосыпания, цветом лица.

А вот мысли, мысли остались прежними. Увидит новую модель «мерседеса», а в голове: «Может, взять?», везёт пассажирку симпатичную и вдруг: «Девушка, не хотите в Монте–Карло со мной, на яхте отдохнуть?»

Плюнул Вовка на «Фейсбук», сунул телефон в задний карман потертых джинсов и решил в магазин сходить, квас для окрошки купить.

Тут свистнуло сзади – сообщение пришло. Какой-то забытый, но не удаленный старинный приятель переслал ему письмо.

Надел Вовка очки и открыл послание. Казахский знахарь Арман Кабаев просил внимательно прочитать, что написано, и переслать это двадцати друзьям.

Узнал Вовка, что те, кто выполнили указание знахаря, быстро разбогатели, а те, кто не выполнили – пострадали ужасно: Конан–Дойлу отрубило руки, Тухачевского расстреляли в 1943 году.

Смешно Вовке эту ахинею неграмотную читать – за писателя обидно, а маршала ещё в 1937 не стало.

«Одна надежда, – думает Вовка, – может, у Армана Кабаева дочку зовут Алина?»

Посмеялся он, но письмо двадцати друзьям отправил. На всякий случай.

Выбрал наобум и разослал. Разослал и тут же забыл.

Окрошка получилась на славу. Он тщательно, мелко-мелко, нарезал огурец, вареную картошку, яйца, сваренные вкрутую, редиску, докторскую и копченую колбаску, зеленый лук и укроп, спинку воблы (обязательно!). Тщательно перемешав, Вовка добавил майонез, горчицу и залил пузырящимся квасом.

Когда он, прикрыв глаза, отправил в рот четвертую ложку, началось посвистывание. Не в силах оторваться от процесса, Вовка доел окрошку, тщательно собрав остатки корочкой чёрного хлеба и только после этого посмотрел на экран телефона. Там было восемнадцать сообщений.

Друзья задавали примерно один и тот же вопрос: «Крыша поехала?»

Он разослал всем один и тот же ответ: «А вдруг попрет?»

Разморенный жарой и окрошкой, Вовка думал о том, что никто из друзей не поинтересовался, как он, где он...

Сквозь навалившуюся дремоту до него донеслось очередное посвистывание.

Вовка чуть приоткрыл один глаз и начал читать. Через мгновение он впился в текст широко раскрытыми глазами:

«Володя, как я рад, что ты нашёлся! Я живу в Израиле, в России не был лет десять. Сегодня уже улетаю, зашёл в самолёт, а от тебя смс! Хорошо, что подписался, а то я всех спрашивал – никто не знает, куда ты пропал. Телефон-то ты сменил после пожара...

Наверное, не помнишь, у меня была идея, и ты, даже не вникнув, дал мне десять тысяч долларов. Для тебя это был пустяк, а для меня – лотерейный билет.

Я придумал компьютерную игру, в которую сегодня ежедневно играют тридцать миллионов человек по всему миру. Моя компания стоит два миллиарда долларов. Я пересчитал, сколько тебе должен, и готов перевести на указанный тобой счёт два миллиона долларов. Один – за те десять тысяч, второй – за твою отзывчивость.

Обнимаю, Абрам Кабаман».

РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ

*"Проступает в надмогильных клёнах
Жизнь, которой под Землёю.
Чем же это место для влюблённых
И "не подходяще", и "не место"?"
(Иосиф Уткин)*

Макс догнал Катю и обнял сзади, ощутил под ладонями её упругую грудь и понял, что сейчас его разорвёт на части от ЖЕЛАНИЯ.

Катя резко повернулась к нему, её глаза светились в темноте светом ответного ЖЕЛАНИЯ.

В принципе, обычная летняя история. В Яблочный Спас они поехали на дачу к Максусу собирать урожай. Вряд ли ему удалось бы заманить к себе Катю, но дело в том, что её мама не ела яблоки до этого знаменательного дня, зато после него целый месяц была на "яблочной диете". Макс узнал об этом, случайно подслушав Катин разговор с подругой.

Когда закончились лекции, он подошёл к ней:

– Ты что сегодня вечером делаешь?

- Не знаю. Особых планов нет.
- Поехали ко мне на дачу, у нас в этом году урожай яблок такой, что девать некуда. Вот и решили друзьям раздать, но только если те будут помогать их собирать!
- Мудро! – На её щеках появились ямочки. – А далеко ехать?
- Да ты что, у нас сад в центре города! Двадцать минут от института на автобусе.
- Катя на минуту задумалась, пристально глядя на Макса.
- А приставать не будешь?
- Если только сама не захочешь! – Макс взял её за руку и повёл в сторону остановки.

Яблок было действительно много. Они начали собирать их в большую плетёную корзину, которую Макс принёс с веранды. Взгляды их то встречались, то разбегались в поисках хороших яблок – без червей и "пролежней". Несколько раз Макс задевал её руку. Катя густо покраснела, но руку не убирала.

- Да! Вот это специально для тебя! – Макс держал на ладони яблоко, желто-зеленое, с красными разводами.
- Почему специально для меня? – удивленно вскинула брови Катя.
- Потому что сорт называется, – Макс сделал небольшую паузу, – Катя!
- Гонишь!
- Да честно! Можешь проверить потом! На, попробуй!
- Они сидели на скамейке под яблоней "Катя" и по очереди откусывали сочно–сладкую мякоть.
- А давно у вас сад?
- Да! Лет пятьдесят! Участок деду дали, он на "Орбите" начальником цеха работал.
- Красиво тут, спокойно. Зелени много, дышится хорошо, даже и не верится, что мы в городе.
- Здесь не может быть не спокойно, соседи хорошие, тихие, – хмыкнул Макс.
- Стало темнеть. Они разложили яблоки в три пакета, два взял Макс, а один Катя.

Когда они шли между садовыми участками, то почему–то молчали.

Калитка, которая была рядом с автобусной остановкой оказалась запертой.

– Блин! Опять сторож бухает, закрыл раньше времени!

– Что делать, Макс?

– Через вторую пройдем, там, правда, дорога... Ладно, увидишь сама.

Он быстро пошел в обратном направлении, она едва успевала за ним. Минут через десять Макс открыл пинком другую калитку и, придерживая ногой, пропустил Катю вперед. Она сделала несколько шагов и замерла.

Слева и справа от неё, за оградями, стояли надгробия. Высокие и низкие, из дорогих гранита и мрамора, и дешевые металлические, а где–то просто деревянные кресты.

– Кладбище?!

– Ну, да. С этой стороны дорога через кладбище идет.

– Что, твой сад прямо рядом с кладбищем?!

– Так получилось. Когда деду участок дали, то кладбище было далеко. Вот, расширили за пятьдесят лет.

– Не нужны мне твои яблоки! – Катя бросила пакет и стремительно пошла по дорожке, плохо освещенной старыми кладбищенскими фонарями.

Макс догнал её и обнял сзади.

– Как же, как же, – говорила Катя, когда он, чтобы отдышаться, ненадолго отпуская её губы, – грех же, нельзя здесь.

– Не грех, не грех, я люблю тебя, – Макс крепко прижимал её к себе и горячо шептал в её покрасневшее ушко, – здесь врать нельзя, верь мне, верь.

Летним солнечным утром на кладбище благостно. Тишина, только птичьи голоса и далекий стук трамвайных колёс. Солнечные блики делают живыми фотографии давно и совсем недавно ушедших в "мир

иной". Они, улыбаясь, делятся последними новостями, замирая, когда кого-то приходят навестить родные. Потом разговор продолжается. Сегодня особенная новость.

– Вчера мой внучок приходил вечером с замечательной девушкой, и они целовались! – говорит Екатерина Николаевна Топилина, ушедшая 18 марта 2010 года, Игорю Ароновичу Кацу, который, несмотря на то, что ушёл из жизни на пять лет раньше, каждое солнечное утро подмигивает ей, видимо, намекая на что-то интимное.

– Прекрасно! – отвечает он, чуть картавя, – но чем же все закончилось?

– Посмотрим? – теперь уже Екатерина Николаевна подмигивает Игорю Ароновичу.

– Может быть, не совсем удобно? – смущается он.

– Удобно! Это же мой внук!

Они спускаются с облаков и осторожно заглядывают в окно дачи.

Они проснулись от легкого стука. Удивленно посмотрели друг на друга, потом счастливо рассмеялись. Когда звук повторился, она повернула голову и увидела спелое яблоко "Катя", которое стучалось в закрытое окно.

АЛЛИГАТОР

Она стояла ко мне спиной и, пока я любовался ее точеной фигурой, медленно расстёгивала бюстгальтер. Потом опрокинула вперед плечи, сбросила его, глубоко вздохнув, выпрямилась, чуть поддерживая ладонями освобожденную из плена грудь.

– Не подходи! – сказала она, не поворачиваясь ко мне.

– Почему?

– Сначала ответь на один вопрос.

– Конечно! – мои ладони вспотели от желания.

– Тебе нравятся татуировки?

– В смысле?

– В смысле, как ты относишься к татуировкам?

Если честно, я не понимаю зачем, без надобности, разрисовывать своё тело. Писать арабской вязью, рисовать тупые картинки, портить кожу штрих-кодом, как будто кто-то будет прикладывать к нему считывающее устройство!

Другое дело – зеки. У них татуировка – это удостоверение личности и краткая биография одновременно.

– У меня дочь недавно набила на спине льва со львицей.

– И?..

– И у льва на ухе птичка сидит.

– Какая? – она заинтересованно повернула ко мне голову, и я, как тогда, в кафе, залюбовался ее профилем.

– Колибри, по-моему.

– Почему?

– Потому что модно! – резко ответил я.

– Ты против моды? – разочарованно спросила она.

– Я – за моду!

– Это хорошо!

Она повернулась. Я, не отрываясь, смотрел на её безупречную грудь. Точнее на левую, где набухший темно-коричневый сосок окружали красные лепестки розы, а темно-зелёный стебель с шипами упирался в пупок.

– О, боже! – желание победило растерянность, и я поцеловал мою собеседницу в сердцевину алой розы.

Потом, отдыхая, мы обсуждали моду на татуировки, и она говорила, что её жизнь стала совсем другой, после того, как появилась эта роза.

– Представляешь, у меня как-то все стало складываться! Работу нашла хорошую, квартиру удачно сняла, в то кафе не зря зашла, – она с улыбкой посмотрела на меня, и я снова потянулся к прекрасному цветку.

С тех пор меня стали очень привлекать девушки с татуировками.

Во-первых, они такое умудрялись изобразить и в таких местах, что возникало желание тоже набить какую-нибудь чумовую татуху.

Во-вторых, у каждой была своя история, связанная с изображением или надписью, что вносило в отношения некую изюминку.

Я перестал общаться с чистыми и позорно не разукрашенными скучными девицами, у которых, видимо, хватало фантазии только на силикон.

Моя новая знакомая носила на руке элегантную надпись на иврите. Что-то типа: «Бог всегда со мной!»

Она была божественно красива и абсолютно глупа. Такое сочетание всегда оставляет простор для фантазий партнера.

Я, по-честному, две недели водил ее в кафе, кино, дарил цветы и рассказывал разные истории, которые она слушала, раскрыв рот.

В выходные я предложил ей поехать ко мне на дачу, где, собственно, всё и должно было произойти.

Мы сидели на пушистом ковре, а отблески резвившегося в камине огня отражались в ее глазах, делая их мудрыми и все понимающими...

Я совмещал поцелуи и раздевание, мечтая, чтобы она только не начала говорить.

Когда настала очередь её плоского живота с лёгким золотистым пушком.., я отшатнулся от страшной пасти аллигатора.

Глаза чудовища были красными и заглядывали мне прямо в душу.

– А-а! – непроизвольно вскрикнул я, – это что?!

– Это самая модная сейчас татушка, милый!

Я год не мог смотреть в сторону девушек. А потом женился на обычной, ничем не примечательной умнице, предварительно убедившись, что у неё нет татуировок!

ГОРЯЧЕЕ ПИВО КРАКОВА

травелог

1. Поваленные гробы

Поездка за границу – встряска для нервов, перезагрузка для ума и перезарядка батареек. Вот я и решила полететь в Польшу - закатиться в Катовице, закопаться в Закопане, влюбиться в Люблин, познать Познань, повариться в Варшаве. Но в итоге выбрала Краков – сказочный город польских королей, где что ни башня – то леденец, что ни дом – конфета.

Я тут же отправила в «фейсбук» соответствующий пост.

- Краков прекрасен, - отозвался известный блоггер, переводчик и преподаватель Арончик Левин, - только в Казимеж не ходите. Сплошные поваленные гробы.

- Неужели один Холокост? - изумилась я.

- Три синагоги, развалины декораций Стивена Спилберга и еврейский музей, где вы будете экспонатом.

Я часто выслушиваю советы и поступаю наоборот, так что поселилась как раз в Казимеже. Там ведь есть кошерный ресторан “У Зелига”. Близость к точке питания весьма важна, если вам нельзя есть в обычных забегаловках.

Что касается декораций к фильму "Список Шиндлера", то они не в Казимеже, а на территории концлагеря Плашов. Спилберг не хотел таскать дорогое оборудование вверх-вниз, поэтому не снимал настоящие бараки на холме. Он выстроил киношные, внизу у карьера, где когда-то работали заключенные. Там они и стоят до сих пор, тихо разваливаясь на первоэлементы. Но в Плашов никто не ездит, кроме сумасшедших киноманов. Все ездят в Освенцим, где и памятники, и музей. А я туда как раз не

хочу. Краков в один присест не осилишь, так что оставим Холокост до следующего раза.

2. Летайте самолетами Дрян-Эйр!

Моя старшая дочь, как окончила армию, принялась шастать по дешевой Европе. К услугам молодежи лоукостеры, где цена перелета до Берлина или Будапешта может при удачном раскладе составить всего пятьдесят евро.

- Мама, не заказывай билет без меня! У тебя не получится! - уверяла дочка.

Это у меня-то? Я начала пользоваться компьютерами в 1990-м году, когда этой юной нахалки еще и в проекте не было. Вы помните, что такое девяностый год? Советская наука только-только пересела с монументальных ЭВМ на персональные компьютеры. Монитор еще назывался дисплеем и представлял собой что-то вроде молотка с крошечным экранчиком на ударной поверхности. Операционной системы «Уиндоуз» не было, файлы находили при помощи Нортон-коммандера, а по экрану бегал принц то ли Ирана, то ли Госплана.

Я заказала билет на рейс компании «Райан-Эйр», которую вскоре прозвала Дрян-Эйр. Пришлось долго возиться с тяжелым и неподатливым сайтом, чтобы пройти регистрацию он-лайн. как того требуют правила лоукостера. Наконец мне надоело, и я написала вебмастеру слезное письмо. Ответ пришел через неделю.

“Уважаемая Анна,

Мы благодарим Вас за то, что вы выбрали нашу компанию. Наша компания делает все для удобства клиентов и непрерывного улучшения качества обслуживания.

Мы сожалеем о том, что произошло с Вами в аэропорту Задара. Смеем уверить, что компания не виновата в случившемся. Ответственность за происшедшее лежит целиком на сотрудниках наземной службы Задара,

Надеемся, что вы и впредь будете летать самолетами «Райан-Эйр»».

Я была готова бить ко компу кулаками, но тут сайт заработал, и я прошла регистрацию. Однако о том, что случилось со мной в аэропорту Задара, я так и не узнала. Я даже не знаю, в каком из параллельных миров это случилось.

3. Болезнь Звездного стража

Дочь не зря волновалась за меня. Дело в том, что я очень плохо вижу. Это называется болезнью Старгарда, по имени ученого, впервые описавшего ее симптомы. При болезни Старгарда ген, отвечающий за производство пигмента для сетчатки, сходит с ума и начинает буквально заливать обратную сторону глаза краской. Она стекает, как в миску, в центр сетчатки и откладывается там кучками. У меня нормальное периферийное зрение, а в центре вместо предметов окружающего мира я вижу светящийся бублик. Он мешает различать мелкие детали – цифры, буквы, черты лица. На компьютере я увеличиваю шрифты, а на бумаге читаю при помощи очень сильной лупы, какой обычно пользуются ювелиры. Без нее я никуда не хожу. И ее потеря равносильна внезапно наступившей слепоте.

Насколько я понимаю, Старгард - это встреча рецессивных генов мамы и папы. У всех народов такое бывает крайне редко, но у нас, ашкеназов, чаще, чем у остальных. Мы ведь прошли через генетическое игольное ушко. В четырнадцатом веке нас осталось совсем мало. Тогда после эпидемии чумы соседи устроили евреям резню – мы, видишь ли, отравили им колодцы. Спасаясь от погромов, наши деды бежали из Западной Европы в Польшу. А потом, полюбив эту страну, защищали ее и себя от наступающих полчищ Богдана Хмельницкого. За это Хмельницкий почти совсем истребил нас, но мы опять возродились из очень ограниченного ассортимента генов. Поэтому мы все друг другу – десятиюродные братья и

сестры, и у нас часто случаются родственные браки и экзотические болезни.

Болезнь Старгарда, которую я романтически именую "болезнью Звездного стража", сильно ограничивает мою способность передвигаться в пространстве. В аэропорту нет и речи о том, чтобы рассмотреть табло с улетами и залетами. Нашего аэропорта имени Бен-Гуриона это не касается – в первом терминале, откуда я улетаю в Краков, табло не под самым потолком, а непосредственно над столиками, где пьют кофе. Это вообще изумительный аэропорт. Самый удобный во всей Европе.

Еще мне бывает трудно рассмотреть номера автобусов. Я сажусь не туда и уезжаю к ядрене-фене. Одна азиатская тетка вот так заехала в другую страну, а вернуться сумела только через двадцать пять лет. Она не знала языка той страны, куда ее завез автобус. Через двадцать пять лет на нее случайно налетел соотечественник и помог вернуться домой. А она всего-то за хлебом в булочную вышла. Со мной такое, конечно, вряд ли случится – все-таки еще два языка, кроме русского. Но случается другое – я вижу ступеньку лестницы там, где ее нет, ставлю ногу на воздушную опору и кубарем качусь вниз. Я еще ни разу не сломала ни руку, ни ногу, потому что толстый слой жира защищает от ударов. А бывает, что я засовываю в духовку извлеченные из пакета чипсы, а потом выясняется, что это стручки белой фасоли. И еще много чего дурацкого происходит.

Моя особенность заставляет рассматривать лица людей, хоть и периферийным зрением, но рассматривать. И вообще, обонять, осязать и слушать окружающий мир – "зато я нюхаю и слышу хорошо", как говорится в известном садистском стишке.

4. Косяк

Нет, речь пойдет не о косяке двери, куда прибивают мезузу. И не о "козьей ножке", которую "забивают" наркоши. Речь пойдет о случае, когда все идет кривь и

вкось. Такой случай на современном русском языке называется “косяк”.

Мой муж, хорошо зная мою беспомощность, вдруг за сутки до отъезда потребовал, чтобы я еще раз распечатала электронные билеты. Я долго сопротивлялась, заявляя, что контролировать меня не надо, потому что я уже большая девочка и даже почти бабушка. Он продолжал нудить, и я вытащила из кармана дорожной сумки распечатку. Взгляд моего сына, присутствовавшего при разговоре, случайно упал на бумажку.

- Ты в Польшу на месяц летишь? - спросил он.

- На неделю.

- А почему обратный билет на конец ноября?

Я достала лупу и посмотрела на билет. Вот это косяк! Сослепу я выбрала 28 ноября вместо октября! Мне через несколько часов лететь, а у меня нет обратного билета!

Сын схватил мой электронный билет и загранпаспорт, и побежал к своему компу исправлять положение.

Обратный билет отменить не удалось. Новый был найден, не самый дешевый – нашей национальной и дорогой во всех смыслах компании «Эль Аль». Но сын никак не мог заплатить за билет – сайт дорогого «Эль Аля» безнадежно завис в электронном тумане.

Это длилось несколько часов. Все это время сын твердил:

- Мама, не волнуйся. Мама, все будет хорошо.

Мой царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель! Еще совсем недавно он был мальчишкой, притом страшно любознательным и подвижным. Сын влипал в истории, из которых я иной раз вытаскивала его прямым в больницу. И вот теперь передо мной взрослый мужик. А я расту в обратную сторону, маразмирую и влипаю в идиотские истории.

Наконец сын дозвонился до «Эль Аля» и продиктовал номер кредитки по телефону.

- Надеюсь, мама, ты извлекла урок из этой истории, - сказал он тоном недавно демобилизованного старшего сержанта, каковым и является на самом деле.

Я извлекла. Я посмотрела на моих мужчин. Они любили меня. Они обо мне заботились. Они за меня переживали. А я их не ценила и улетала от них совершенно одна в какой-то Краков.

- Мама, - подвел итоги мой ребенок, - ты можешь лететь куда угодно, но заказ билетов – головная боль. Головную боль оставь мне.

Хорошо, когда в мире есть мужчина, готовый взять на себя твою головную боль. Хорошее дело – растить сыновей, как пелось в одной советской песне.

5. Летающий склеп

Наши мудрецы говорили, что сон – одна шестидесятая часть смерти. Перелет из страны в страну – одна шестидесятая депортации. Если вы желаете хотя бы отдаленно, приблизительно почувствовать, что ощущали люди, которых строили, подвергали селекции, гнали куда-то собаками, запикивали в вагоны и везли неизвестно куда, вам не нужно пересматривать бессмертный шедевр Стивена Спилберга. Достаточно купить билет на самолет.

Вас построят, досмотрят чемодан, вас самих и ручную кладь. Затем проверят посадочный талон и загонят в последний закуток, где вы будете ждать автобуса, подвозящего к трапу. Потом втиснут в узкое кресло, прикрутят ремнем и очень настоятельно посоветуют не отстегиваться до конца полета.

И вот я стою в последнем закутке. Народ прибывает и прибывает, а автобуса все нет. Узенькая каморка набивается людьми, дышать уже почти нечем. Ощущение такое, что вот-вот пустят газ. Евреи с их исторической памятью в таких конурках обычно истерят – помню по Праге. Но тут поляки – справа, слева впереди и сзади. Они совершенно спокойны. Они говорят друг с другом тихими, европейскими голосами. Даже непонятно, как такой тихий народ веками боролся за свою независимость и в итоге победил.

Я от скуки разглядываю их. Пятьдесят оттенков блонда – естественный золотистый, поседевший, мелированный, платиновые перышки на русом фоне, блонд с искусно затемненными корнями для придания прическе объема.

Мужья – красиво седеющие паны, похожие на лесорубов. От всех крепко пахнет одеколоном. И у всех багровые лица то ли алкоголиков, то ли больных после инсульта. Но не похожи они ни на алкашей, ни на insultников. Догадываюсь, что это реакция белой славянской кожи на злое солнце Ближнего Востока. Похоже, паны и пани долго жарились на солнце. Неужели работали? В девяностые годы у нас было много поляков. Мужики строили виллы, а женщины – расторопные и рукастые хозяйки – хлопотали вокруг вредных польско-еврейских старух. Но те времена прошли – экономическая ситуация в Польше улучшилась. Что они делали в Израиле так долго?

Но тут прибывает, наконец, автобус. Нас везут к трапу. Я занимаю свое заранее выбранное место – лучшее в Боинге-737. Оно во втором ряду, а первого нет – передо мной на довольно большом расстоянии стенка служебного помещения. Я могу беспрепятственно вытянуть ноги и полулежать в кресле, как пассажирка бизнес-класса.

Рядом мелированная блондинка моих лет. Я сразу понимаю, что это образец законопослушности. Мы переговариваемся с ней по-английски. Она беспокоится, что сидит не на своем месте – ее место забрал Анджей, он хотел сидеть рядом с женой. Моя соседка говорит Анджее и его жене, что покажет стюардессе билет, если у той возникнут вопросы. Они говорят по-польски, но я понимаю достаточно, чтобы просечь смысл беседы. Вопросов не возникает, просто моя соседка напряжена, как всякий человек, непрерывно делающий, что должно. Наши рюкзаки мы можем спрятать под кресла, но она прочитала объявление на стенке. Нужно позвать стюардессу и попросить ее открыть багажный отсек. Стюардесса открывает. Мелированная блондинка отправляет туда свой и мой рюкзак, и немного успокаивается.

С моего места хорошо видны действия экипажа. Изящная бортпроводница, напрягаясь всем телом, вручную закрывает тяжеленную стальную дверь самолета. Другая, встав на коленки, задраивает дверь при помощи рычагов, торчащих из пола. Ни пневматики, не автоматике. Наш летающий ларчик просто закрывался. Все в порядке. Мы летим.

Экипаж советует расслабиться и уснуть. Нам настоятельно рекомендуют не отстегиваться до конца полета. Моя соседка делает то, что должно. Она не отстегивается и пытается уснуть. Не тут-то было! В салоне самолета открывается летающий склеп.

Не удивляйтесь, sklep по-польски – магазин. Трудно придумать более точное название. Шоппинг – это чума двадцать первого века, а магазины – склепы, где мы хороним нашу жизнь, время и деньги.

Нам предлагают еду и легкие напитки. Еще через полчаса – алкоголь и сигареты. Еще через час – только у нас и только для вас! – косметика фирмы Герлен со скидкой. Потом ювелирные изделия. Все это предлагается громко, в микрофон, на весь салон, сначала невнятно по-английски, а потом по-польски с шутками и прибаутками. В довершение всего начинается благотворительная лотерея в пользу сирот Польши. Вам, пани и панове, это будет стоить всего два злотых, для вас это ничто, а для детей – очень много! В самолете царит тихое, радостное возбуждение. Веселье людей по пути на родину. В их сердцах играет полонез Огинского наоборот - не прощание с родиной, а радостная встреча.

Мы приземлились и стоим в очереди к таможенникам – проштемпелевать паспорта. Поляки законопослушны. Таможенников двое. Поляки дисциплинированно выстроились в колонну по два, в затылок друг другу. Когда один из таможенников освобождается, первая в очереди семейная пара идет к нему.

Израильтяне так не могут. Они не могут строиться в затылок. Такое было во время селекций, историческая память не дает нам повторить эту пытку. Вот какой-то изрик

пролезает под заградительной ленточкой, чуть не опрокидывая столбики, и летит к освободившемуся таможеннику, огибая всю очередь. В детстве у него еще был небольшой запас послушания, но он истратил его в армии, так что на гражданскую жизнь не осталось ничего. Изрик не может быть последним. В нашей еврейской очереди все первые. Поэтому наша еврейская очередь не колонна, а шеренга. При крике "следующий!" вся шеренга делает шаг вперед.

Маневр изрика ничего ему не дает. Лента транспортера еще стоит, чемоданы не поступают в зал. Но он обогнул очередь, и страшно доволен собой. Русские убили бы за такое поведение. А полякам все равно. Главное – они на родине.

6. Сказание о Проглоте

Еще до поездки я приняла решение не осматривать все, что в Кракове. Просто потому, что это невозможно. Сорок музеев, три старых университета, бесчисленное количество архитектурных памятников, королевский замок, старый еврейский квартал. Но упустить королевский замок Вавель никак невозможно. Потому что Краков – город королей и прежняя столица Польши.

А началось все с легенды. Холм, на котором построен Вавельский замок, состоит из ноздреватой породы, вот и образуются полости и пещеры. В одной из них когда-то жил дракон. Ежедневно окрестные жители – висляне и лехи – приносили ему козлика или барашка. Если дракона долго не кормили, он выбирался наружу и бродил по окрестностям в поисках обеда. Тщательным пережевыванием пищи дракон не заморачивался - глотал целиком, не жуя. За это его прозвали "смок" – Проглот. Еще говорили, что он поджигает поля и ворует прекрасных лешек и вислянок, чтобы гнусно надругаться над ними в своей пещере.

Король Крак, он же Гракх, основатель города, решил избавиться от чудовища. Он послал на подвиг своих

сыновей – Леха и Крака Второго. Молодые люди поняли, что силы не равны, и решили убить дракона хитростью. Братья подбросили в пещеру угощение - козла, фаршированного серой. Дракон проглотил наживку и с криком "ой, пече, пече!" бросился к Висле. Дракон выпил половину воды в реке и лопнул. Раздался взрыв, серная вонь наполнила воздух, и с чудищем было покончено.

Убив дракона, братья заспорили, кому из них первому пришла в голову гениальная идея накормить Смока серой. Во время ссоры коварный Лех убил бесхитростного Крака, свалил преступление на дракона, явился к людям победителем и стал королем. Но он ввел тяжелые налоги, и население его не полюбило. Поползли слухи, что дракона убил Крак. Поэтому город так и остался Краковом, а города Лехова в Польше, по-моему, нет.

Историки все это отрицают. Крак был убит на войне, а Лех не виновен в смерти брата. Но не это важно. Важно, что народ из века в век рассказывает истории о братской вражде. Каин убил Авеля, Лех – Крака, и даже современная молодежь, сбежавшая от ужаса истории в мир фэнтези, никуда не денется от старого сюжета. Потому что и в фэнтези Смегорл все равно убивает брата своего, Деагорла.

История Проглота казалась всего лишь старой сказкой, покуда в окрестностях одной польской деревни не нашли скелет архозавра. Чудище имело пять метров высоту и шесть – в длину. Передвигалось оно на мощных нижних конечностях, а относительно маленькие ручки-хваталки держало перед собой наготове. Скелет архозавра дополнили недостающими костями и поместили в один из музеев Варшавы.

Если посмотреть на картинку, хорошо видны травоядные, как у всех динозавров, зубы Смока. С чего бы вдруг безобидное, как корова, создание сменило веганскую диету на кетогенную? Может, динозавры оттого и вымерли, что ели вредную пищу? Делать что-то во вред себе может только разумная тварь.

Был у меня когда-то приятель, Саша Цукерман, биолог, художник и писатель. Он утверждал, что биологические виды – это народы. Один из видов Всевышний выбирает в качестве экспериментального "избранного народа". Этому виду увеличивают эгоизм, и соответственно, разум. Потому что разум – орудие эгоизма. Избранный народ начинает разрушать природу. Его задача – побороть себялюбие и создать экологическую цивилизацию. Динозавры не справились с заданием. Они начали разрушать мир, и им на смену Всевышний избрал людей.

Саша, видно, что-то такое понял, чего не нужно было знать другим людям, потому что умер он молодым. Может быть, я последний человек, который еще помнит его безумные и увлекательные теории.

Я также думаю, что Вавельский Проглот ни в чем не виноват. Зачем травоядному зверю жечь поля? Ведь на них растет еда. Зачем ему таскать прекрасных лешек и вислянок, ведь он никак не сумеет вступить с ними в половую связь, а на вкус все одно – ведь мясо он глотал, не жуя. Поля лехов жгли завистливые висляне, а поля вислян – завистливые лехи. Девушек воровали сладострастные паны. Потом все дружно сваливали преступления на дракона. В общем, это был дракон отпущения.

Хотя легенды об извращенной страсти драконов к женщинам существуют у всех народов. Евреи – не исключение. Согласно мидрашам – легендам, служащим комментариями к Торе, Змей из Ган Эден (Эдемского сада) был прямоходящим зверем с четырьмя конечностями и хвостом. Он походил на человека и отличался разумом – "змей был хитрее всех зверей полевых". Этот первобытный дракон полюбил Хаву-Еву, и всю бодягу с запретным плодом затеял лишь для того, чтобы убить Адама и взять себе его красивую жену. Ничего не вышло: из Райского сада Адам и Хава ушли вместе, а Змей лишился конечностей, и с тех пор его потомки ползают на брюхе. Ну, чем не предание о де-эволюции земноводных?

В наши дни возникла новая конспирологическая теория, согласно которой не все люди – люди. Некоторые представители человечества – рептилоиды, потомки драконов. Рептилоиды хотят извести род людской. Для этого они когда-то засеяли землю пшеницей, вредной для человеческого желудка. Евреев эти ненаучные фантасты относят к рептилоидам. Это мы хотим извести человечество. Поэтому дракон отпущения – это мы.

История с рептилоидами питает, как водится, литературу. Например, в романе Якова Шехтера "Астроном" действует некий Драконов – потомок Змея-Горыныча. Но он не еврей, а, наоборот, "настоящий русский человек" и патриот. Именно Драконов в конечном итоге и губит главного героя – еврейского мальчика Мишу Додсона.

В общем, не дает людям покоя легенда о драконе. Туристы и туристки, ломая каблуки, лезут в пещеру Смока на Вавеле, позируют у железной статуи дракона, каждые пять минут пыхающей огнем, и покупают на Главной площади Кракова сувенирных драконов разных размеров и статей. Смोक – главнейший символ Кракова, даже более важный, чем краковяк и краковская колбаса.

7. Красный кирпич

В Польшу испокон века ездят кто за чем. Кто за полячками младыми, у которых очи светятся, будто две свечки. Кто за бухлом, кто за барахлом. Сортов водки здесь немеряно: Выборова, Зубровка Соплица... всех не перечесать. И барахло недорогое: русские туристы целые дни проводят в необъятном торговом центре Галерия Краковска, радостно бегая от sklepa к skleпу.

У культурных людей – культурные запросы. Известный блоггер Арончик Левин и его жена Марина ездят за средневековым изобразительным искусством и органными концертами. А хасиды и "литваки" – помолиться на старом кладбище Казимежа, где похоронены великие раввины

прошлого – Рему и Мегале Амукот, а также знаменитый Святой Скупец из Кракова.

Я же из тех странных личностей, что ездят "за туманом и запахом тайги". Я поехала за листопадом, потому что не видела настоящий листопад без малого тридцать лет. И Бог послал мне бабье лето – ясные, теплые дни конца октября, овеванные падающей листвой. Я гуляла по парку Плянты, кольцом расположенному вокруг Старого города, и глядела, как неслышно падают листья на ковер, сотканный из недавно опавших собратьев. Оказывается, у листопада свой особый запах. Не сладко-гнилой, как у прелой листвы, и не пряный, как у свежих листьев, но удивительно нежный и тонкий аромат свежеспавших, только что впитавших влагу земли. Когда-то так пахли Сокольники – единственное место в России, по которому я скучаю.

Однажды Плянты прицепили мне на лацкан пальто шестиконечную желтую заплатку. "Что это? – подумала я сослепу, - неужели реквизит Стивена Спилберга до сих пор летает над городом?" Я поднесла заплатку близко к глазам. Это оказался маленький пожелтевший кленовый листок.

"Роскошные апартаменты" - так называлась моя гостиница на краю Казимежа. Она находится в новых зданиях, выстроенных на руинах первой в Кракове газовой электростанции. Остатки старого здания местами использованы в новой конструкции. Выходя в город, я каждый раз проходила мимо отреставрированной кирпичной стены с чугунными заплатками печных дверок. И стена, и чугунные детали выглядели так, будто их специально отполировали и отмыли – да как отмыли! Каждый кирпичик будто отдельно терли зубной щеткой, полировали, покрывали глазурью.

Красный кирпич Кракова достоин особого разговора. Он не светло-красный и не ноздреватый, нет. Он темно-кораллового оттенка и гладкий, так что кажется съедобным, и его хочется лизнуть. Такой цвет имеют оправленные в серебро кораллы в сувенирных рядах Сукенице на Главной площади старого города. Краков любил итальянских архитекторов, а те любили красный кирпич. Если бы

московский Кремль сумел как-нибудь переспать со Златой Прагой, у них родилось бы прекрасное дитя – Краков. Куда бы я ни шла, темно-коралловые соборы кострами взлетали в ярко-синее небо бабьего лета.

7. Казимеж

Напротив моих роскошных апартаментов, по ту сторону улицы Святого Вавжинца... Да, станешь тут святым, если родная мама Вавжинцем обозвала. Впрочем, имена Иекутиэль и Педоцур ничуть не лучше. Так вот, по ту сторону Святого Вавжинца – маленькая площадь, называемая Юда. Почему Юда? Потому что на нее с огромного, почти глухого торца здания глядит мальчик Юда, нарисованный израильским мастером стрит-арта Филом Пеледом. Юда – подросток, и на его гигантском, во всю стену, лице покоится гримаса, характерная для подростков: я тот, кого никто не любит. Нервный, ранимый и обиженный Юда символизирует, по замыслу художника, вечно гонимый еврейский народ.

На крошечной площади имени Юды тесно стоят фудтраки – вагончики с быстрой едой. Вечером из ярко освещенных окон официантки протягивают вниз горячую пищу: блинчики, бутерброды с разнообразной начинкой, кофе, печеную картошку. Столики жмутся друг к другу, и сидеть за ними очень уютно. По вечерам я выбегала из гостиницы попить здесь кофе. О, если вы не пили кофе в Кракове, то вы вообще не знаете, что такое кофе! Даже арабы Восточного Иерусалима не варят такой вкусноты. И дело тут не только в мастерстве, но и в других, совсем особых исходных продуктах.

Странно, но из всех уголков Кракова я теперь скучаю только по этому пятачку на улице Вавжинца. Может быть, потому, что и дом с одноглазым торцом, и строения вокруг будто пришли отсюда из Сокольников. Впечатление нарушают только причудливо-фигуристые печные трубы.

За Юдой открывается Казимеж – город, давным-давно построенный польскими евреями. Король Казимир,

правивший в четырнадцатом веке, разрешил им селиться на этой земле. Он вообще был инициатором строительства городов и каменных домов, развития ремесел и торговли. Ему нужно было городское население. Но славен он не только этим. Казимир ввел налоговые льготы для крестьян, за что паны обзывали его "холопым королем". Еще он заключил множество мирных договоров по старой, хорошо отработанной схеме "территории в обмен на мир".

Историки его оправдывают: он отдавал те территории, которыми сложно было управлять. Вот бы нам в Израиль этого Казимира! Уж он-то договорился бы с египтянами об отдаче сектора Газы Египту. Польскому еврею Менахему Бегину в свое время не удалось: как ни упрашивал он Садата забрать Газу назад, египтяне не соглашались ни в какую. Вот и мучайся мы теперь с этим разбойничьим гнездом!

Кстати, евреи появились в Польше еще в десятом веке. На монетах Мешко, первого христианского короля Польши, надпись "Мешко, круль польский" выполнена ивритскими буквами. И отчеканена эта монета была также в Кракове. Точнее, в деревеньке, на месте которой позже возник великий город.

Во время моей первой прогулки по Казимежу, я просто вошла в город, не разбирая дороги, в проулок справа от Юды. Смартфон был не в помощь: родная компания Голан Телеком отключила меня за то, что я не сумела купить у них пакет телефонных разговоров и интернета. Я честно пыталась купить, но застряла моя кредитка. Разрулить эту проблему можно было, лишь позвонив в компанию, но как позвонить, если отключен телефон? Впрочем, нам, с нашим Звездным стражем, сложно разбирать мелкие названия улиц на картах Google Maps. Мы просто спрашиваем дорогу у встречных, как это делалось в старину.

И вот я оказалась у Старой синагоги, Альтшуль. Здание пятнадцатого века, из красного, разумеется кирпича. Мужественная, крепкая постройка главного зала, к которой притулился, точно ища защиты, низенький женский зал. Крыша-гармошка женской молельни с торца

напоминает покрытые платочками головы толпящихся женщин. Здание, как многие другие еврейские постройки, - незатейливое, но добротное и живописное из-за поздних пристроек. Еврейские дома, что в Кракове, что у нас в Бней-Браке, похожи на лесные пни, со всех сторон облепленные опятами.

Казимеж сохранился, как и старый Краков вообще. Немцы пощадили его. Здесь взорвалась нейтронная бомба системы "холокост" – людей убили, а задания оставили. Впрочем, Старую синагогу нацисты как раз пытались взорвать – может быть, видели в ней некий символ. Мощное здание рухнуло лишь отчасти. В пост-социалистические годы, когда обновляли Казимеж, синагогу достроили, и она стоит сегодня во всей красе, как будто и не случилось ничего.

Про эту синагогу у нас писали, будто в ней молились хабадники, а потом глава местной еврейской общины пан Тадеуш Якубович приказал закрыть дом молитвы, потому что песни и пляски хабадников плохо действуют на старое здание. На что раввин Гурари объяснил журналистам, что пан Тадеуш поднял арендную плату, а хабадники не готовы платить такие сумасшедшие деньги. Что-то тут журналисты напутали: в здании Альтшуль находится еврейский музей (где я буду экспонатом), а молитвы происходят совсем в другом месте. Впрочем, гуляя по Казимежу, я поняла, что происшествия двухмесячной давности уже успели обрасти легендами. Что уж говорить о событиях четырнадцатого века!

Я, конечно, зашла в музей, полюбовалась знаменитой оградой бимы – сквозной филигранной беседкой из чугуновых цветов и листьев. Позади бимы сидела экскурсия польских школьников. Гид рассказывала им, почему в синагоге нет меноры, а только ханукальные светильники, что такое Святой ковчег, почему обстановка такая простая – не как в церкви. Они слушали внимательно, даже благоговейно: не шевелились, не шептались, не рылись в мобильниках.

"Похоже, здесь любят евреев, - подумала я. Что же, мертвых любить удобно и необременительно. Попробуйте полюбить живых, тех, кто ссорится из-за бабла и лезет вперед, огибая всю очередь. Перефразируя Гоголя, "полюбите нас живенькими, а мертвеньким нас всякий полюбит".

От старой синагоги начинается улица Широка, что, конечно же, значит "широкая". По ней хорошо видно, что евреи не могли договориться между собой о единстве архитектурного ансамбля (Растрелли расстрелял бы!). Здания похожи на своих хозяев – одно, будто высокий человек в знатной крыше-штраймле, другое, как толстенный коротышка в ермолке.

В одном из углов Широкой колготился народ, и я пошла туда. Оказалось – вход в Новую синагогу, она же "синагога Рему". Новая синагога не намного младше Старой, но что поделаешь – название приклеилось навсегда.

Рабби Моше Иссерлес, аббревиатура имени которого на иврите "РАМА", в Кракове зовется "Рему". Он жил во второй половине 16-го века и был самым знаменитым из многочисленных раввинов Казимежа. Его галахические постановления влияли на жизнь всех евреев земли Ашкеназ, то есть, Центральной и Восточной Европы. В его честь синагога и носит свое второе название.

Перед каменными воротами с треугольным фронтоном и чугунными решетчатыми воротами стояла еще одна школьная экскурсия, но здесь дама-гид с британским флажком по-английски рассказывала, почему именно родители Рему удостоились такого сына:

- Отец Рему торговал в лавке. Однажды накануне субботы к нему зашел покупатель-иноверец. Он долго выбирал товар. Солнце клонилось к закату, близилась суббота, и рабби Исроэль попросил покупателя уйти – ему нужно было вовремя закрыть магазин, чтобы подготовиться к шаббату. Посетитель разозлился, начал угрожать, но рабби Исраэль не испугался. Шаббат важнее всего – важнее прибыли и прочих дел. Вот за это Бог и подарил ребе Исроэлю такого выдающегося сына.

Я вошла в узкий двор, зажатый между кургузыми, как грибки, поздними пристройками. Поперек двора тянулся длинный стол, за которым сидел кассир в кипе.

- Вход в синагогу бесплатный, - объяснил он, - но пожертвование обязательно. Мы собираем деньги на ремонт Айзиковой синагоги.

Отдав пожертвование, я наконец вошла внутрь. Здание неожиданно оказалось высоким и полутемным. Потолок терялся где-то в вышине и был бы совсем невидим, если бы не горящие позолотой медальоны – то ли лепные, то ли нарисованные. Звездный страж не давал разглядеть их как следует.

Здесь была какая-то загадка, магическая тайна. Евреи хорошо умеют прятать свое достояние. Со двора, стоя меж кургузых грибков, и не скажешь, что впереди – статное, красивое здание. Представляю, как пугались иноверцы, входя сюда по деловым надобностям. Ведь это похоже на страшную сказку про мальчика Ганса. Вот он заходит в покосившуюся избушку колдуньи и неожиданно оказывается под высокими готическими сводами. Выйдя наружу уродливым Карликом-носом, Ганс обнаруживает, что прошло не полчаса, а семь лет. Евреи прятались от страха перед внешней властью, а внешний мир, испугавшись их почти магических уловок, неустанно демонизировал евреев, наделяя сверхъестественными чертами.

Рядом с синагогой Рему – старое кладбище. Могилы стоят не тесно, тут и там видны проплешины, поросшие травой и забросанные опавшими листьями. Вспоминаю, как в фильме Спилберга кладбищенскими монументами мостят дорогу к концлагерю Плашов. Надгробия лежат там до сих пор, только тропинка заросла камышами и стала совсем узкой.

"Нет, так дело не пойдет, - решила я, - так я Казимеж не увижу. Надо искать гида".

8. Мартин

Гиды толпились у Старой синагоги, в самом начале Широкой улицы. Точнее сказать, не гиды, а водители желтеньких экскурсионных машинок, похожих на парковые трамвайчики. Роль гида в таких машинках отдана аудио-записям.

- Хочу экскурсию, - объявила я.

От толпы водил отделился симпатичный молодой мужчина. Звездный страж не давал хорошенько рассмотреть черты его лица, но от него исходила хорошая энергия веселого и уверенного человека.

- Какой язык?

- Русский или английский.

- Если выберете английский, останетесь со мной. Я проведу экскурсию сам, мне кассета не нужна. Меня, между прочим, зовут Мартин..

Он заботливо постелил плед на холодное клеенчатое сидение машинки. Оказался смешной, говорливый и со своим собственным взглядом на вещи – настоящий проводник по городу.

- Вот это Старая синагога. Видите, она стоит ниже уровня земли, как будто для нее с специально вырыли котлован? Знаете, зачем это?

Христиане запрещали евреям строить синагоги выше церквей. А им тоже хотелось молиться в просторных, высоких залах. Так вот, сначала вырыли котлован, потом построили синагогу. Со стороны она не кажется высокой, запрет не нарушен. Но, если войти внутрь, там ого, какие потолки! Однако евреи стали спрашивать у раввина, зачем он велел врыть дом молитвы в землю. И он ответил: это для того, чтобы осуществить сказанное в Писании: "Из глубин воззвал я к Тебе". А во дворе синагоги памятник. Здесь немцы построили тридцать поляков и расстреляли их. Синагогу взорвали, но город восстановил ее не так давно. Казимеж лежал в запустении десятки лет. После войны, когда не стало евреев, квартал заселили бродяги и наркоторговцы. Жители Кракова боялись сюда ходить.

Казимеж восстановили только после того, как Польша перестала быть социалистической.

- Жаль, что в наше время нет закона, который запрещал бы строить выше церквей, - сказала я, - а то понастроили мечетей и нарушили исторический облик городов Европы.

Мартин не поддался на провокацию, может быть, потому, что в Кракове нет высоких мечетей. И людей в хиджабах и арафатках я там не видела.

- Чей храм выше, а чей ниже – это глупости. Давай лучше я расскажу тебе, как возник Казимеж. Он называется так в честь короля Казимира Великого. Это единственный король Польши, которого так величают. Казимир хотел, чтобы по соседству с его столицей, Краковом, возник еврейский город. Пусть, - думал он, - христиане и евреи конкурируют друг с другом. Оба города от этого только выиграют.

А еще говорят, что он полюбил еврейскую даму. Казимир вообще любил многих женщин. Он все мечтал, что очередная возлюбленная подарит ему сына. Но это не значит, что он относился к женщинам как к орудию продолжения рода. Для каждой из своих любимых он делал все! Дарил им замки, земли, дворцы. Эстерке он подарил остров. Посмотри на карту. Вот здесь Висла распадалась на два рукава - один протекал севернее, другой чуть южнее. Между ними образовался остров. На нем и был построен еврейский Казимеж. Вода защищала его от врагов. А потом северный рукав Вислы закопали, и Казимеж стал частью Кракова.

- А Эстерка родила ему сына? – спросила я.

- Она родила двух дочерей. Они не приняли христианство, остались в вере своей матери. Тогда Казимир женился на Ядвиге. Она-то и родила ему наследника.

Уже после того, как мы с Мартином распрощались, я прочитала другую версию сказки об Эстерке. Ее кстати, могли звать Двора или Хая. Или такой женщины вовсе не было. Но всякую возлюбленную короля-иноверца евреи называют "Эстер" в честь библейской царицы, что была

женой царя Ахашвероша-Артаксеркса. Даже разнесчастную Монику Левински умудрились сравнить с царицей Эстер, да не будь они помянуты рядом. Так вот, Двора, или Хая, или Эстер, согласно другой версии, таки родила Казимиру сына. Он крестил его, назвал Немиром и забрал с собой во дворец. Ядвигу ему сосватали родственники, возмущенные романом короля с еврейкой. Казимир и ее не обижал, регулярно навещая в спальне. Поэтому она молчала и терпела присутствие Эстерки. Потом Эстерка родила еще сына и двух дочерей. Когда король умер, она взяла троих младших детей и оставила город. Больше никто и никогда не видел ее. Она бесследно пропала.

"А Эстерка вдруг пропала, будто вовсе не бывала, - подумала я на этом месте. Что ж, она могла быть и демоном. Ведь мидраши рассказывают, будто царица Эстер никогда не жила с царем Ахашверошем. Настоящая Эстер так и оставалась в доме своего двоюродного брата Мордехая. Но Мордехай, великий чудесник, сотворил демоницу и послал ее во дворец. Влюбленный Ахашверош не замечал странностей жены. Для него лже-Эстер представлялась красивейшей в мире женщиной.

- Чтобы Казимеж мог расти, - продолжал меж тем Мартин, - король освободил евреев от подати на жилье. Они платили лишь налог на строительство лавки, а дом над ней строили без налога. Поэтому в первых этажах всех домов – магазины, и все дома разные. Строили, кто во что горазд.

Сейчас здесь, в основном, не лавки, а рестораны. Вот видишь, там - ресторан "Ариэль". Ничего особенного, но дорогой. Люди платят не за еду, а за вид. Потому что вход в это здание Стивен Спилберг снял в своем фильме. Ему показалось, что это самое еврейское здание на Широкой улице. А самый лучший ресторан вот там – это раньше была центральная миква. Но ты не расстраивайся, есть еще две действующие миквы. Потому что у нас тут живут ортодоксы. Это, знаешь, такие, в черных шляпах.

- Да уж знаю, - отвечала я, - все жители моего города в черных шляпах. Более того, и мой муж в черной шляпе.

- В городе долго не было евреев, - сказал Мартин, - сначала немцы убили почти всех. Выжили только те, кто работал на Шиндлера. Потом в шестидесятые годы оставшихся выгнали коммунисты. Коммунисты боялись евреев, потому что у тех были родственники за границей, и много всякой информации, которую русские власти хотели скрыть от поляков. Еще русские принесли с собой водку. Пьяным народом легче управлять. И это было для нас проблемой.

- А сейчас? – спросила я.

- А сейчас это уже не проблема. Нет, мы любим выпить. Я, например, люблю ликер в кофе. Теперь у нас независимость. Мы боролись за нее веками. Нас ведь все время кто-то захватывал: то Германия, то Австрия, то Россия. Я – первое поколение в моей семье, которое живет при независимости.

- Я тоже, - сказала я, – потому что я первая уехала в Израиль.

- Когда жизнь наладилась, - продолжал Мартин – евреи стали возвращаться сюда. В Кракове пять тысяч евреев, а в Казимеже триста ортодоксов. Вот это, видишь – ресторан "Клезмер-Гойз" – дом клезмеров. Он не кошерный, но там кошерное вино и пироги. Ты ведь знаешь, кто такие клезмеры? А в Кракове они особенные. Самый старый умер недавно. Ему было хорошо за девяносто, и он был совершеннейший гений.

- А вон там, - Мартин указал на типично казимежский дом, верхний этаж которого явно пристроили позднее и в другом, более цветистом стиле, - родилась Елена Рубинштейн. Она выросла в очень бедной семье и была младшей из дочерей. Когда ей исполнилось семнадцать, она привела в дом молодого поляка и сказала, что выходит за него замуж. Мама и папа очень испугались. Они отправили ее в Австралию к тетке, от греха подальше. Там она стала делать свой первый крем – сначала только для подруг. Потом она уехала в Париж и подняла цену на крем в триста раз. Так она разбогатела. Это вторая знаменитая еврейка Казимежа, сразу после Эстерки.

- Вот это Высокая синагога. Она не выше других, ее называют Высокой по другой причине. Когда-то евреи жили не только в Казимеже. В самом Кракове у них была своя улица, называемая Жидовской. Но там стоял костел святой Анны, а он сгорел. И церковь обвинила евреев в поджоге. Это, конечно, была полная ерунда. Но христиане и евреи поссорились. До этого целых два века они жили в мире и согласии, а тут возник конфликт. Не из-за пожара, конечно, все это глупости. Люди всегда ссорятся только из-за денег.

"Дракона отпущения не было. Не на кого было валить поджоги, - подумала я, - и евреи стали драконом отпущения".

- После этого евреев выселили из Кракова и запретили вновь селиться там, - продолжал Мартин, - они отправились в Казимеж. Понадобились новые места для молящихся. И тогда переселенцы построили вот эту молельню, как раз на той улице, где жили христиане. Прихожане боялись, что христиане будут мстить и ворвутся в синагогу. Поэтому они заперли первый этаж, а молельный зал для мужчин устроили на втором. Вот оттого-то синагога и зовется Высокой.

Мы снова пустились в путь и остановились на площади, застроенной торговыми палатками.

- Тут был бедняцкий квартал, - сказал Мартин, - представь себе, что на месте этих киосков когда-то стояли покосившиеся деревянные домики бедноты. У бедняков не было денег на говядину. Перед субботой каждый покупал курицу и шел к ритуальному мяснику. Ну, ты знаешь.

- К шойхету, - уточнила я.

- Да, и шойхеты сидели вон в том круглом здании, видишь? Бедняки подходили, каждый со своей курицей, и шойхеты резали куриц там, внутри. Пока бедняки ждали очереди, они общались между собой. Это было место встречи, здесь делились последними новостями и слухами.

- А, это и есть знаменитый Округлик! – сказала я.

- Округляк – поправил Мартин.

Округляк представлял собой низкую ротонду из потемневшего, щербатого красного кирпича. Народ и

сейчас толпился вокруг здания – оно считается в Кракове почти что культовым. В Округляке делают знаменитые запеканки – огромные горячие бутерброды с разнообразной начинкой. В палатках и на прилавках торговали сувенирами и живописным старьем.

Мы поехали дальше.

- Вот это Темпл, единственная реформистская синагога Кракова. В будние дни тут читают лекции по еврейской культуре. В субботу иудейское богослужение, а в воскресенье – христианское. Считается памятником архитектуры из списка ЮНЕСКО. Вот ЮНЕСКО ее и ремонтировал. Ортодоксы так ненавидят церковь-синагогу, что обходят ее стороной, лишние километры проходят, только бы не попасть на эту улицу. А вон там – еврейский культурный центр, где шабаты проводят. Я люблю приходить к евреям на шабат. Как польская свадьба. Сначала пьют и едят, а потом поют и танцуют.

Наконец мы остановились у Айзик-шуль.

- Айзик Якубович был богатый еврей, - начал Мартин, - он решил построить синагогу для богатых. Ему это удалось – она на три сантиметра выше одной из церквей. И женское отделение здесь не на первом этаже в пристройке, а на балконе. Все это – балкон, лестницу, ведущую на второй этаж – он сумел сделать, потому что у него были деньги. Сейчас, как видишь, здание в ремонте. Оно закутано в тряпки. Хабадники вытащили отсюда свиток Торы, чтобы он не пострадал. Как только вытащили, городские власти заявили, что это уже не синагога, раз здесь не молятся, и попытались забрать здание себе. У нас ведь есть закон о свободе вероисповедания, так что отобрать дом молитвы просто так нельзя. Вот они и воспользовались случаем. Теперь идут суды – хабадники, еврейская община Тадеуша Якубовича и городские власти тянут здание каждый себе. Ну, ясное дело. Люди ведь ссорятся либо из-за денег, либо из-за имущества.

- А вот тут, - мы остановились у внушительных размеров двери, - единственный в Казимеже и во всем Кракове кошерный ресторан.

- Мне сюда, - сказала я.

9. Легенда об Ицике-пекаре

Краковские евреи считают, что Айзик, построивший Айзик-шкуль – тот самый пекарь Ицик из народной легенды. Никакой он был не богач. Наоборот, горький бедняк. Не на что было купить муки, чтобы испечь хлеб и продать его, поэтому печь в доме Ицика-Айзика долгое время оставалась холодной.

Но однажды ему приснился сон, будто под королевским мостом в Варшаве зарыт клад. Невзирая на сопротивление жены, Айзик отправился пешком в Варшаву. На балаголу у него просто не было денег.

К королевскому мосту Айзик подойти не смог – его охраняли гвардейцы. Один из них спросил у бедно одетого еврея, что тот ищет. Айзик рассказал про сон.

- Ну, приснится же всякая ерунда, - отвечал солдат, - мне вот приснилось, что у какого-то краковского Айзика в холодной печи зарыт клад. Что же мне теперь, в Краков ехать?

Айзик тут же собрался домой. Невзирая на сопротивление жены, он разобрал печь и нашел старинный клад золотых монет. На эти деньги и была построена синагога, что на целых три сантиметра выше какой-то церкви.

Этот сюжет не раз использовался в литературе. Человек отправляется на поиски клада и находит его у себя дома. Например, в романе Александра Иличевского "Перс" главный герой оставляет родной Апшерон и путешествует по миру. Он ищет вычисленного им "праотца" – первичную материю, основу всего живого на земле. Это переходная форма между минералом и бактерией. Герой Иличевского называет ее LUCA. Он исследует Америку, ездит на нефтепромыслы в разных странах мира, путешествует по Европе, по Иудейским горам, живет в Москве, потом снова возвращается на родной Апшерон. Там, на дне буровой скважины, и отыскивается Лука – микроб лукавый.

Лично я думаю, что прото-материя – это то, что на языке Торы называется "тогу ва-вогу". "Вначале сотворил Всесильный небо и землю, и земля была "тогу ва-вогу". Переводов у этого выражения тьма-тьмушая. Скорее всего, "тогу ва-вогу" значит "необыкновенная неопределенность". Я пытаюсь представить эту непредставимую неопределенность – она зыбится, волнуется, вздымается и опадает, то ходит волнами, то образует воронки, и над ней собирается то туман, то подобие пены. В общем, нечто вроде Соляриса в фильме Тарковского. На что это похоже? Скорее всего, на поверхность пива в пивной кружке. Пиво – всеобщий эквивалент и основа жизни на земле. Почему? Да потому, что оно объединяет людей. Пиво всегда кошерно, кто бы его ни сварил, и я могу пить его в любом городе мира, куда бы меня ни впустили с моим израильским паспортом.

А это значит, что мне срочно нужно пива и немного куриного бульона. Кажется, в последний раз я ела горячую пищу еще вчера, до полета.

10. Массолит

Я толкнула дверь кошерного ресторана "У Зелига". Дверь была заперта. Вместе со мной у входа толпилось еще человек пять или шесть. Глаза у них горели голодным огнем.

Неожиданно дверь отворилась изнутри, и к нам вышел кудреватый молодой человек.

- Ресторан закрыт, - объявил он, - да, это единственный работающий кошерный ресторан в Кракове, но сейчас он не работает. Нет клиентов. Приходите в семь. Может быть, мы откроемся.

Это то, что я уже не раз слышала в Кракове, и не раз еще услышу: да, это еврейский ресторан, но он не кошерный. Да, мы единственный работающий кошерный ресторан, но сейчас мы не работаем. Как пройти в Старый город? Дойдите вон до той улицы, где ходит трамвай, но сейчас он не ходит. Да, мы называемся "Кофе и

запеканки", но кофе мы не варим, у нас только запеканки. Я бы рассердилась на подобный сервис, но память о недавно допущенном гигантском косяке сделала меня терпимее к людям. Все мы в душе пофигисты и склонны ошибаться.

Однако я не люблю, когда откровенно "крутят динаму". В интернет-сайте говорится, что Зелиг должен работать с девяти утра до одиннадцати ночи. Сейчас середина дня. Зелиг закрыт. Я для него – не клиент. Хотя я так голодна, что готова сожрать не только куриный бульон и фаршированную рыбу, но и парочку столов вместе со стульями.

Делать нечего. Надо искать вегетарианскую кафешку. И вскоре я нашла ее по пути от улицы Юзера к моему отелю. Кафешка носила трогательное название "Massolit".

Я вошла и поняла, что хозяева что-то явно напутали с русской литературой – смешали в одну кучу Булгакова с Ильфом-Петровым. Художественно покарябанные стены и артистически ободранный пол намекали на столовку для бедных студентов с морковным зайцем в меню. Впечатление довершали грубая мебель и черная труба неизвестного назначения, тянувшаяся под потолком.

Гостиница – не дом, поэтому кто я здесь, если не бездомный поэт? А бездомному поэту в Массолите следует писать на салфетке плохие стихи. В ожидании морковного зайца, состоявшего из салата и яичницы, я написала речь Казимира, обращенную к Эстерке:

Моя любовь, дарю тебе Казимеж,
Живи и царствуй в нем, как королева,
Неважно, что родня подняла хипеш:
Смотрите, мол, король пошел налево!
Я вновь пишу цепочку древних знаков,
Страстей моих раздвоенную книгу,
В душе Казимеж, а на сердце Краков,
В душе Эстер, но я люблю Ядвигу.

И да, это была лучшая яичница в моей жизни!

11. Горячее пиво

Русским людям иногда кажется, что говорить польски очень просто. Следует заменить "р" и "з" на "ж" – и польский язык у тебя в кармане. Вот такая история случилась много лет назад с профессором К., почтенным отцом одной моей московской подружки.

Профессор К. преподавал экономику в московском ВУЗе. Иногда ему приходилось ездить на научные симпозиумы стран – участниц Варшавского Договора. Очередной симпозиум проходил, как и положено, в Варшаве. Мобильных телефонов тогда не было. Администратор отеля помогла профессору К. связаться с Москвой.

- Пани была очень любезна, - сказал профессор.

Пани залилась краской до корней светло-льняных волос. Профессор быстро побежал в свой номер и достал польско-русский словарь. "Любезный – сладострастный" – прочитал он.

Вечерами в гостиничном номере было необыкновенно тихо. В моем израильском доме примерно сорок детей на двенадцать квартир. Говорю "примерно", потому что евреев запрещено пересчитывать. Такой плотной и стойкой тишины у нас никогда не бывает. То крикает, собираясь зареветь, чей-то младенец, то его пятилетний брат тащит велосипед по ступенькам, то орет благим матом пришедший из школы соседский пацан, чья мамаша заперла дверь и отправилась спать. Тишина в гостиничном номере поначалу лечила нервы, а потом начала пугать. Чтобы услышать человеческие голоса, я стала включать телевизор. А там – одни польские программы.

Ну что же, телек – отличный учитель языка. В первый вечер я понимала процентов десять, потом – двадцать. Подойдя к тридцати, ты уже догадываешься обо всем. Администрация, значит, делится на скарбову и податкову. То есть, имущественную и налоговую. Ага, скарб – просто собственность, а не собственность бедняков. А что такое

"бардзо"? Очень? Много? Сильно? Судя по тому, как часто употребляется, и то, и другое, и третье. С каждым днем я понимала язык все бардзее и бардзее и под конец совсем обардзела – смело подходила на улице к панам и паненкам, чтобы спросить дорогу. Спрашивала я по-русски, отвечали они по-польски, но недоразумений почти не возникало.

Кстати, паны на вид замкнуто-недоверчивые. Может, поэтому у чеховских провинциалов и возникло выражение "поляк надутый". Хотя чья б корова мычала! У русских у самих в ходу поговорка "смех без причины – признак дурачины". Однако это признак вовсе не дурачины, а молодого американца. Целой компанией они сидят на Главной площади, смотрят на старинное здание Сукенице и ржут. Время от времени, заметив, как тихо вокруг, кто-то из американцев одергивает собратьев. Они тихо беседуют минуты две или три, а потом снова принимаются греготать.

Так вот, о панах. Они немного brutальны, как и положено потомкам воинов, пахарей и лесорубов. Brutальны и одновременно парфюмерны. Идет по улице такой вот суровый лесоруб, а за ним стелется леденцово-пудренный шлейф, как за девушкой.

И вот я сiju на Главной площади, куда добралась, спросив дорогу у милой старушки. "Просто-просто целый час, - сказала старушка, - до улицы, где ходит трамвай, но сейчас он не ходит. И потом просто-просто целый час". Ну, хорошо, просто-просто, это прямо-прямо. Но целый час? Неужели час топать? С моей скоростью это будут два часа. Добравшись до Главной площади за двадцать минут, я поняла, что целый час означает "все время".

Очень хотелось пива, но я умудрилась простудиться, и холодное пиво в такой час (такое время?) мне ни к чему.

- Какие горячие напитки у вас есть? – спрашиваю у официантки по-английски, но она говорит только по-польски, хотя мы на центральной площади Кракова, самой большой старинной площади Европы, где гуляет толпа туристов.

- Кофе, кофе с ликером, чай, горячее пиво.

Горячее пиво! Вот это удача! Я буду пить пиво в Кракове и не простужусь!

Она приносит чудесный напиток из пива с имбирем, лимоном, корицей и гвоздикой. Тонко нарезанные пластинки имбиря плавают на поверхности, как льдины по океану. Плотно сбитая пена сугробами лежит на имбирных льдинах. Сначала пиво горьковатое, но, чем ближе подбираешься к лимонной дольке, Титаником затонувшей на дно, тем сладостней становится мир.

Грегочут молодые американцы, говорят по-польски необразованные официантки – а польский в их устах не шипящий, нет. Он звеняще-шелестящий, как птицы в листве. И звук лошадиных копыт по брусчатке, вкусный, как лед в коктейле. Крепкие лошадки, серые в яблоках и белые, тащат тележки с туристами. Постепенно темнеет, небо над Сукенице наливается абрикосовым вареньем. Над площадью летают тучи голубей, но плеск голубиных крыльев почти не слышен за шумом копыт.

Передо мной самый знаменитый костел Кракова – Марицкий, то есть, собор Святой Марии. Одна его башня выше другой. Говорят, двум братьям-строителям дали задание построить костел с башнями-близнецами. В те времена в башнях-близнецах еще не было ничего зловещего. Закупив красного кирпича, братья принялись за работу. Сначала башни росли в одинаковом темпе, но потом старший из строителей стал обгонять младшего. И младший, не выдержав поражения, зазвал брата на берег Вислы, вонзил нож в его сердце, и сбросил мертвое тело в реку.

Историки говорят, что ничего подобного не было. Да, строили два брата, у одного кончились деньги, вот он и прекратил возведение башни. Но важно не то, что говорят историки, а то, что думает о своей истории народ. А народ упорно рассказывает об убийстве Крака – Лехом, старшего строителя башен – младшим. И даже молодежь, ушедшая в мир фэнтези, все равно читает у Толкина про убийство Деагорла Смеагорлом.

12. Телевизор как зеркало польской революции

В номере я снова врубаю мой зомбоящик. Телевизор так же подходит для изучения страны, как и городские улицы. Потому что по ящику показывают то, что хочет видеть народ. Телевизор – зеркало желаний совокупного поляка. Или русского, или израильянина – смотря в какой стране стоит зомбоящик.

Русский телевизор – сплошное судилище. На одной программе судят молодую девчонку за то, что она не умеет одеваться, "как настоящая женщина". На другой – жениха. Пришел свататься, а квартиру не купил. На третьей судят жену алкоголика и дочь запойного пьяницы за то, что не умеет воспитывать детей (а у кого она могла бы научиться этому?) В общем, русский народ не ищет ответа на вопрос "Что делать?", так как ничего поделаться уже нельзя, но по-прежнему хочет знать, кто виноват.

В израильском телевизоре говорящие головы молчат: трудно говорить с набитым ртом. Израильские говорящие головы непрерывно жуют. На одной программе муж и жена готовят обед, в судах тащат его в гости, другие гости тоже приносят жратву. Все жрут, обсуждают сожранное. На другой программе компания друзей едет в Китай, все идут в ресторан, заглатывают улиток и червяков, обсуждают сожранное. На третьей программе молодые кулинары пекут торты и какие-то невероятные десерты, жюри жрет, хвалит, ругает, выставляет оценки.

В польском телевизоре на первой программе куаферы красят блондинок. Один мелирует, другой тонирует, третий создает "паерья", четвертый подкрашивает корни. На другой программе реалити-шоу. Молодая мать-одиночка впустила в дом съемочную группу и дизайнеров со строителями. Они провели у нее образцовый ремонт. Со слезами на глазах она благодарит их и набивает детскую комнату дареными игрушками. На третьем канале почтенная дама, похожая на постаревшую Барбару Брыльску (или это она и есть?) рассказывает молодой маме, как уберечь ребенка от гриппа и заодно рекламирует

детскую микстуру. На четвертом конкурс свадебных платьев. Дизайнеры одевают невест, те падают в объятия женихов, все едут в костел из красного кирпича.

Ночью, когда маленькие белокурые ангелы засыпают в своих кроватках, на экране появляется академического вида дамочка в очках. Профессорским голосом пани рассказывает зрителям о секс-игрушках дигитальной эпохи. Изящный вибратор для девушек заряжается от разъема USB девичьего ноутбука. А вот микрофон для домашнего исполнения караоке. Его верхняя часть свинчивается. Теперь можно навинчивать насадки. Одну – для дам. Мужчинам целых две: резиновая вульва – пасть акуля, и дрожащая розовая какашка для массажа простаты.

В общем, поляки с честью вышли из трудностей девяностых и нулевых. Теперь они готовы прельщать красивыми прическами, жениться, рожать детей, въезжать в новые дома, заниматься сексом друг с другом или с гаджетами.

Польская история успеха - предмет зависти украинцев. "Почему у них получилось, а у нас нет? – вопрошают украинские блоггеры на «Ютьюбе». Им на хорошем русском отвечает молодая польская блоггерша: закон о рыночной экономике стал для нас шоковой терапией, но мы, начиная с девяностых годов, не сходили с пути рыночного развития, как бы трудно ни было. Мы затянули пояса, мы трудились, не покладая рук. Да, Евросоюз влил в нашу экономику миллиарды, но лишь после того, как убедился, что мы и сами можем стоять на ногах.

Думаю, блоггерша не учла, что русский медведь выпустил Польшу из когтей, а вот Украину выпустить не захотел.

13. Вавельский замок

Гид Мартин сообщил, что с завтрашнего дня уходит в отпуск и отправляется в Сицилию. Так что взять меня на экскурсию по Старому городу он не сможет. Но это ничего

– желтые экскурсионные машинки разъезжают везде. Кого-нибудь где-нибудь, да поймаешь.

И вот я вижу пустую машинку у высокого красного костела на границе Старого города и Казимежа. Кажется, вчера Мартин рассказывал мне про него. Там деревянный декор нижнего яруса, каменный средний ярус и золото поверху, что символизирует крестьян, средний класс и шляхтичей с королями.

- Возьмешь меня на экскурсию по Старому городу? – спрашиваю я у водителя по-английски. У него смуглое живое лицо и круглые черные глаза.

- Не могу. У меня группа в костеле. Сейчас выйдут, и я поеду дальше. Но я тебе вызову Петруся. Петрусь говорит по-русски. Ты ведь по-русски говоришь?

- Да, конечно.

- Меня зовут Димитрис, я грек.

- Калимеро! Мы соседи. Я из Израиля. А почему ты живешь в Польше, раз ты грек?

Вместо ответа он показывает безымянный палец с обручальным кольцом.

- И как тебе Польша?

- Здесь хорошо делать бизнес. Но мне тут холодно, - он зябко ежится, хотя на дворе плюс пятнадцать, и ярко светит солнце.

Димитрис говорит с Петрусем по телефону. "Тут дивчина стоит у Тела Христова и хочет в Старый город, - говорит он. Я рада слову "дивчина". Пустячок, а приятно.

Петрусю лень рассказывать о Старом городе, хотя я одна в машине, а он говорит по-русски. Меня снабжают наушниками, и говорильная машина принимается курлыкать. Вот это здание, похожее на свадебный торт, слегка разваленный гостями – самый главный-преглавный театр Кракова. Вот это – Флорианские ворота, это – Барбикан. Дома и названия мелькают, как в диапроекторе моего детства.

Но однажды Петрусь останавливается и жестом просит снять наушники. Мы стоим у Папского окна. Про любимого папу Иоанна Павла Второго он должен

рассказать сам. Машине никак нельзя доверить такое тонкое дело.

- Папа останавливался в этом доме, когда приезжал из Ватикана в Краков. Он подходил вот к этому окну на третьем этаже, а тут, внизу, собиралась толпа. Приезжали со всей Польши. Из Лодзи, Закопане, Катовице, даже из Познани и Люблина, хотя это далеко. Люди задавали Папе вопросы, и он отвечал. Так продолжалось много часов. Поэтому он сказал как-то, что легко быть Папой в Ватикане, но трудно в Закопане.

Лицо Петруся осветила любящая, благодарная улыбка. В этот момент он походит на любавического хасида, только что рассказавшего майсу о Ребе. Окно, в котором когда-то появлялся Папа, заложили кирпичом, а поверх кладки написали икону. Теперь она сверкает золотом на солнце, и видна отовсюду, яркая, как второе светило.

Мы продолжили путь и вскоре добрались до Вавельского замка – конечной цели моего путешествия.

- Скажи, а почему это место называется "Вавель"? – спросила я.

- Просто так называется, - ответил Петрусь.

Вопрос мой не праздный. "Вавель" слишком напоминает наше "Бавель" – Вавилон. И всякий человек на древнем Ближнем Востоке знал, что Бавель – это Бав Эль – врата Бога. Но у евреев все, не как у всех. Тора сообщает, что Бавель происходит от корня "б-л", означающего путаницу. Бавель – это место, где Бог перепутал человеческие языки. Это было наказание за попытку спутать умы идолопоклонством, заставить забыть, что Бог – один.

В результате древней путаницы недостаточно сменить "р" и "з" на "ж". Нужно учить польский язык, потому что "любежна" – это не любезна, а сладострастна. И "час" – это время, и "просто" не значит просто, но "прямо". Так что все не просто, и прямых путей нет.

Зато я иду по прямому пути к воротам замка. Поднимаюсь по широкому пандусу, ведущему в гору. Слева от меня – стена красного кирпича. На ней золотыми чешуйками сверкают таблички с именами жертвователей,

давших деньги на ремонт замка. А навстречу мне спускаются туристы. И говорят они по-польски, по-русски, по-украински, по-белорусски и чешски. Польша – страна славянского туризма и эмиграции. Все славянские языки сливаются в единый праславянский. Вавель – это место, где Господь смешал и спутал наречия славян.

Помню одну милую израильскую старушку девяноста семи лет. Она сидела на инвалидном кресле, но еще не впала в маразм. Лишь иногда, забыв, какой нынче год и век, старая Берта принималась разговаривать на языках своего детства. Чаще на идише, но случалось – на смеси польского, русского и украинского.

- Бабушка, ты на каком языке говоришь? – спрашивали взрослые внуки.

- А гоише, - отвечала старушка.

Вот и я почти говорю на общеславянском "гойском" языке. Главное, меня может понять любой славянин. Так немцы понимали идиш – первую наддиалектную форму немецкого. В то же время случалось, что жители разных областей Германии не понимали друг друга.

Рассуждая таким образом, я добралась до главной площади Вавельского замка и любовалась теперь собором, где покоится прах польских королей. Снаружи собор напоминал букет цветов в вазе. Каждая эпоха добавляла новый цветок – то золотой тюльпан купола, то астру высокой шатровой башни.

Получив аудио-гид, я вошла в собор. Гид подвел меня к цельно серебряной гробнице Святого Станислава, поражающей тщательной проработкой деталей. Машинка пояснила, что злобный князь Болеслав убил епископа Станислава, своего родного брата. Болеслав, князь боли, убил стройного станом Станислава, и не нашлось Мстислава, чтобы отомстить. Что ж, в каждом столетии брат убивает брата – Каин Авеля, Лех – Крака, один строитель башни – другого, Болеслав – Станислава. Причем последнее убийство не оспаривается историками. Оно было на самом деле.

Я подошла к уютной, как диванчик, обитой розовым сафьяном гробнице королевы Ядвиги. Аудио-гид повел меня к могиле Казимира. И тут машинка застряла. Вместо того, чтобы вести к следующему королю, она раз за разом повторяла, что Казимир, в отличие от своего отца, был вовсе не коротышкой. Он был мужчина статный и дородный, и его любили женщины, а он любил их. И он, единственный из всех королей, до сих пор считается великим – строил города, развивал торговлю, покровительствовал и селянам.

Я побродила еще немного по собору и вышла на улицу, чтобы выпить кофе. Села у края обзорной площадки. Стена красного кирпича косо уходила вниз, к реке. Висла сияла нежным светом октября, по ее поверхности плавали золотые чешуйки волн. Ветер гнал в синее небо белый прогулочный аэростат, похожий отсюда на головку одуванчика, который почему-то облетает не по зернышку, а весь целиком поднялся в воздух. Только тут я заметила, что вокруг носятся целые тучи голубей – черных, точно карликовые вороны, скучно серых, как в Москве, белых, как в Греции, и уж совсем невероятных – темно-синих, с голубой кружевной оторочкой по краю крыла.

Один такой красавец нагло сел на спинку стула прямо напротив меня и принялся выпускать анилиновую струйку помета – я еле успела выхватить сумку у него из-под хвоста. Он не сдался, пересел прямо на стол и стал клевать крошки печенья, оставленные прежними едоками. Тут я вспомнила, что голуби эти – заколдованные рыцари, ждущие своего Мессию.

Когда-то в Вавельском замке жил король, которому очень зандобились деньги. Они были нужны ему для ведения войны. Король отправился к местной Бабе-Яге. Та, как водится, приняла добра молодца, и даже денег пообещала, но только взамен король должен был отдать ей своих рыцарей. Правитель не придавал значения ее словам – на что старой ведьме солдаты? Наутро он проснулся и не нашел ни одного рыцаря. Но над Вавелем носились тучи голубей – черных, белых, серых и синих. Каждый держал в

клюве камешек. Голуби уронили камешки на землю, и те превратились в золотые монеты. Теперь у короля были деньги, но не было армии. Ведь все мы знаем из русской сказки, что лесные волшебники не выдают сразу и дудочку, и туесок: надо выбрать что-то одно. И вот теперь голуби живут в Вавеле и ждут, пока король родится снова и вернется к ним. Только он один может их расколдовать. Правда, для этого ему придется найти в местном лесу колдунью, а это в наши технологические дни весьма непросто.

14. Хала Таргова

Я, конечно, не поехала в Краков только за бабьим летом и желтой листвой. Есть у меня еще один интерес. С недавних пор я причислила себя к клану барахольщиков, то есть, коллекционеров. Я собираю старинные брошки, а также старинные сумочки. Брошки – моя особая любовь. Их площадь достаточно велика, чтобы на ней уместилась целая картина, иногда – барельеф. И такое произведение искусства я могу поднести к глазам и рассмотреть в лупу – тут мне Звездный страж не помеха. В картинных галереях сложнее. Болезнь Звездного стража превращает любую картину в творение пуантилизма. А тут еще я забыла лупу в сумке, сданной в гардероб художественной галереи, что над Сукенице. Без лупы мне не удалось рассмотреть имен художников на табличках. В общем, я ходила по галерее неизвестных художников, определяя про себя – во это польский Репин, а это польский Брюллов, только всадница совершенно обнажена и светится перламутровой белизной на фоне вороного коня.

Но после субботы, одиноко проведенной в гостинице, наступило воскресенье. А воскресенье – базарный день. И рядом с крытым рынком Хала Таргова, что значит "торговый зал", открывается под навесами и без них крестьянский рынок, окаймленный барахолкой. Всякий коллекционер знает, что европейская барахолка – чистое счастье. Особенно если это старый город, и торгуют

местные жители, а не индусы с арабами. И местные торговцы основательно раскопали своих подвалов и шкафов перетрясли. По воскресеньям странствующие любители старья отправляются на блошинные рынки в поисках сокровищ.

Хала Таргова примостилась между эстакадой и убойным, как кувалда, зданием торгового центра. Он похож на советский кинотеатр: название "Ударник" так и просится на фронтон. С другой стороны, поверх моста из ржавых, как старая кровь, кирпичей, бесшумно несется сверкающий поезд. Этот поезд – сама Польша, завоевавшая свободу и летящая вперед над засохшей кровью войн и восстаний. Внизу плещется барахолка. Нам, подслеповатым людям, внятны скорее шумы и запахи, чем образы. Здесь пахнет окисленным металлом и уксусом, которым продавцы очищали металл от налета времени. От мужчин несет розой, жасмином и сандалом, от женщин – бутербродами, заготовленными на весь базарный день. Из забегаловки слева разит шуармой и пойлом, отдаленно напоминающим настоящий краковский кофе – такой родной израильский запах! На седых головах, неярких лицах, старом серебре и поддельной иудаике из латуни покоится серая патина дней. Эти вещи состарились вместе с хозяевами. Теперь и те, и другие вышли на рынок, чтобы продавать и быть проданными. По базарным артефактам можно проследить всю историю Польши не хуже, чем в отличном историческом музее Кракова. На ящиках, самодельных прилавках, складных столиках – коллекции старинных орденов – польские и советские награды, немецкие кресты. Тут же рядом кинжалы и кортики всех мастей. Нумизмат разворачивает перед знатоками классер, где в уютных пластиковых кармашках лежат монеты, любовно разобранные по странам и эпохам. Вот у кого бы получиться арабам, внавалку кидаящим старые деньги в миски и чашки на блошином рынке Яффо! Над всем этим дзынькает и дзенкает польская речь. Напрасно белорусы обзывают поляков "пшеками". Они не пшеки, они дзеньки. Суровые, невозмутимые лица дзен-буддистов в медитации.

Торговцы спокойно стоят спиной к товару, демонстрируя равнодушие к покупателям и воришкам. Впрочем, найдись здесь воры – наваляли бы купцы этим курвам по первое число (курвами поляки обзывают всех, кто им не нравится, причем, совсем беззлобно и даже не повысив голос).

Я останавливаюсь у прилавковдедов-сумочников. Вот она, моя мечта – целиком сплетенная из серебряных колечек сумочка начала двадцатого века, с металлическим тонким фермуаром, с застежкой-поцелуйчиком. Губки "поцелуйчика" украшены синими камешками (в дальнейшем выяснилось - топазами).

- Почем ваша сумочка?

- Сто злотых.

Это очень, очень дешево. Но запахло покупать сразу, не поторговавшись. Все-таки я с Ближнего Востока. Отхожу к прилавку брошечников.

- Это чешские брошки?

- Это все наши, польские, - старуха обиженно поджимает губы.

Я открываю шкатулку, по виду из резного камня, с потертым золотым узором на крышке. Внутренность источает химически-смолистый запах.

- Бакелит, - гордо сообщает старуха.

Бакелит, первая, древняя пластмасса, придуманная химиком Лео Бакеландом еще в начале двадцатого века, и служившая военным целям разных держав. В Советском Союзе из нее делали страшные черные телефоны класса "товарищ Сталин на проводе". Вырезали и украшения., которые из-за своей редкости стоят сегодня дороже, чем из камней того же цвета. Но бакелитовая шкатулка – еще более редкая вещь. Покупаю и ее, и несколько дешевых, но красивых брошек для своей коллекции.

Теперь почетный круг по базару. Вступаю под навесы – а там нескончаемые просторы букинизма. Бумажные книги, вынесенные на заброшенный берег океаном интернета. Жаль, все они по-польски. Лежат, покрываясь песками времени. Ветер и случайные прохожие листают их, страницы желтеют и рассыпаются в прах прямо на глазах.

За книгами вдруг открываются цветочные ряды. Огромные букеты гладиолусов, астр, пионов и нарциссов – такой знакомый запах, точно в подмосковной электричке, груженной дачниками, что везут домой свой ароматный урожай. Здесь, в глубине крытой части рынка, полутемно. Цветы тоскуют по свету, и всякий, кто покупает букет, спасает их от неминуемой гибели.

Я прохожу рынок насквозь. На другой стороне, между навесами и шоссе с трамвайными путями – снова барахолка, на этот раз – вещевая. Когда-то Стивен Спилберг не стал одевать массовку в наряды, сшитые костюмерами. Его продюсеры расклеивали на столбах и заборах Кракова объявления – мол, скупаем одежду сороковых годов. Поляки радостно достали старье из сундуков. Несчастные женщины с фабрики Шиндлера, которых по ошибке привезли в Освенцим, кутаются от секущего снега в подлинные шали военной поры. Этот гардероб потерян, он рассыпается вместе с киношными бараками Плашова. Здесь, в картонных коробах и на табуретках – вещи семидесятых, старье из моего детства. Кожаные сапоги на белой "манке", сапоги-чулки, А-образные мини-юбки из шотландки, штопаные рейтузы давно умерших бабушек. Мельком окидываю взглядом и иду назад, к моим старикам-сумочникам.

- Почему эта сумка?
- Пани вже пытала.
- Отдайте за девяносто.
- Добре.

Потом выяснилось – сумочка из Германии, 1900-го года выпуска. Ювелир сказал – из серебра. Эксперт, оценивший сумку, утверждал, что из альпаки – одного из многочисленных серебряных сплавов начала двадцатого века. Базарный день в Кракове обернулся неожиданной удачей.

15. Домой

В самолете национальной компании «Эль Аль» втискиваюсь в кресло, пытаюсь вытянуть ноги и расслабиться. В голове и теле мечта – вот сейчас бы горяченького, кошерненького. Надоела за неделю веганская сухомятка. Конечно, в Эль Але мне дадут кошерный обед. Небось, как в старые времена – пюрешку, куриную ножку, помидорчики-шерри и на закуску – шоколадный мусс на соевом молоке, потому что обычное не едят после мяса.

Рядом со мной – словоохотливый пожилой израильтянин. Рассказывает, как заранее заказал себе через интернет билет на фабрику Шиндлера, а иначе пришлось бы долго стоять в очереди. Потом говорит:

- Хотел еще сходить в Айзикову синагогу, но она заперта. И представляете, когда хабадники закрыли ее на ремонт, люди пана Тадеуша ворвались ночью в молитвенный зал и вынесли оттуда все – столы, стулья, даже шкаф со свитками Торы. И все для того, чтобы доказать, будто это не синагога, а здание принадлежит светской общине. Тадеуш Якубович считает, что синагога – лично его, ведь он потомок Айзика Якубовича, который ее и построил. Ужас! С такими евреями антисемитов не надо!

Это уже четвертая версия легенды о раввине Гулари и пане Тадеуше. Интересно, сколько версий накопится к концу двадцать первого века?

Над нами склоняется стюардесса.

- У вас есть кошерная еда?

- Я не говорю на иврите, - отвечает по-английски сотрудница национальной компании «Эль Аль».

Я повторяю вопрос по-английски.

- Горячая еда не кошерна, - говорит бортпроводница, - могу принести кошерные бутерброды.

Они продали родину китайцам! Я опять буду жевать морковного зайца!

- Скажите, - обращается ко мне мой любопытный сосед, - могу я задать вам личный вопрос? Вот вы современная женщина. У вас смартфон, вы летаете самолетом, небось,

у компьютера сидите. Зачем вам все эти сложности? Ну, кашрут, например?

Я бормочу что-то о привычке, ставшей второй натурой. А на самом деле все не прямо-прямо и не просто-просто.

На самом деле кашрут и суббота – последняя преграда, отделяющая нас от остального мира. И с этим миром мы можем дружить, общаться и торговать. И даже очень хорошо можем торговать, с кайфом.

Но мы не можем слиться с ними совсем. Мы не можем стать им братьями. Это попросту опасно. Потому что брат всегда убивает брата. Каин – Авеля, Лех – Крака, Болеслав – Станислава, один строитель - другого. И немецкие евреи когда-то считали себя братьями немцев, а польские евреи – поляков.

А мы, прошедший через генетическое игольное ушко народ, друг друга пока не убиваем. Ограничиваемся ночными налетами на синагоги. И потому мы еще живы – в вечной борьбе, возне и суете.

2019 г.

Михаил Юдсон

ОСТАТКИ

Составление, предисловие и примечания **Романа Кацмана**

Михаил Исаакович Юдсон (1956-2019) - писатель, критик, помощник редактора журнала «22», соредактор журнала «Артикль». Уроженец Волгограда, с 1999 года постоянно проживал в Израиле. Автор романов «Лестница на шкаф», «Мозговой», «Четверо», повестей, пьес, рассказов, а также многочисленных рецензий и интервью в израильской и зарубежной прессе.

После смерти писателя в его архиве был обнаружен конверт с надписью «Остатки», и в нем увесистая пачка нарезанных бумажных листков размером 10.5 на 7.5 см, исписанных с обеих сторон его рукой. Таков был излюбленный метод Юдсона: он записывал на листках отдельные придуманные им слова, фразы, наблюдения, мысли, цитаты из прочитанных им книг, а затем они превращались в плотную ткань его текстов. После публикации как отдельные листки, так и рукописи целых произведений обычно уничтожались. В конверте «Остатки», как и следует из его названия, сохранились черновики, по большей части оставшиеся не использованными. Прочтение этих листков приоткрывает дверь в сложную поэтическую и интеллектуальную лабораторию Михаила Юдсона. Их публикация, которая неизбежно растянется на множество номеров, позволит, как мы надеемся, по-новому взглянуть на его творческое наследие.

В публикуемом материале звездочкой «» обозначаются начало и конец одного листка, дефисом «-»*

обозначаются линии, отделяющие фрагменты записей на одном листке. Наклонными прямыми скобками «\» отмечены авторские вставки (их рассмотрение может быть полезно с точки зрения генетической критики как наилучшее свидетельство о работе творческой мысли писателя и генезисе его текста). Квадратными скобками «[]» отмечены вставки комментатора.

Найтка и ~~Виконя~~ —
Музы Звеса.
Я в музыке ^{сентимент} выражаю
— кто каясь на мне
"Ухо и помел его?"
— У мене ^{где-то до извилистых} установлен
серийный "кирпич" —
звучающий шумом, нотам
ходу нет.
~~буква за буквой~~
Автоматически
презрительное гогольское
с дождем — леханы!

Нам русско-украинь-
ский селекционизм (была
такая + украинская
Колония ^{откуда} Соя — она
украинки гистера
прежеского языка) —
Коверманье и ~~от~~ ^{выражений}
~~когда это инициалы —~~
~~кивал дугим — константинет.~~
Цербер — ~~вечер зеп~~
Иронизирует, ^{Ну! Вечер носит, ~~сначала~~ изот.} содала...
Чехов ~~казавен~~
внетику "пустой дождь",
Котурь почевале
"Савениши"

*

Вер[онике] Долиной
Нерп пускайте, поэты, в Париже,
Словно птиц Поднебесной из клетки —
Пусть по Сене, байкальские детки,
Поплывут, как серебряный крыж.
Осененные сим косяком,
Этой стаей кирилло-мифодьей,
Мы забудем иные мелодьи,
Мех у слов покрывается мхом.
Серп луны, да озимые сны,
Башня-клон, языков помешалово,
И от Марковны, и от Лукавого
Весть благая из снежной страны.

Вер, о Ника, пошли и раздай —
Дольних, горних, с надеждой, с любовью,
Бедным варварам из вавилонья
Ты теорию струн преподай.

*

Пайка и Шконка — Музы Зыка

-Я в музыке \сказочный\ профан

- кто наступил на мое «ухо и помял его?!»

- у меня \где-то в извилинах\ установлен скрипичный
«кирпич» - звуковой тупик, нотам ходу нет.

-

Буквоцветный Авром Суцкевер предлагал чокаться с
дождем - лехаим!¹

-

Наш русско-израильский солецизм (была такая \древняя\
афинская колония Сол - они утратили чистоту греческого
языка) - коверканье и вкрапления. Когда одно причмокивает
другим — контаминет.

-

Цербер — рецензент иронизирует, собака... Чехов
называл критику «пустой бочкой, которую поневоле
слышишь». \Ну, ветер носит, караван идет...\

*

«Всемирство» Достоевского.² Всемирство обедает.³

-«Бессмертный отсвет снега», как писал Борис Зайцев.⁴

-

¹ Суцкевер А. Старый Яффо в дождь / Пер. с идиша И.
Булатовского // Суцкевер А. Буквоцвет. Избранные поэмы и
стихотворения. СПб.: Симпозиум, 2010.

² Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф.
М. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 2. М.: Правда,
1982. С. 504.

³ Использовано М. Юдсоном в романе «Четверо» (Артикль, №
11).

⁴ Рассказ Бориса Зайцева (1881-1972) «Варфоломеевская
ночь».

«Мертвый дом» Достоевского, острог, куда \каторжно\ сгоняли православные души, был «в виде шестиугольника». \А как же!\

-

К бутылке подбираясь с тылу, ты пробку вышибал — ладошкой по донышку. Текла столичная уныло в провинции. Подъездами пропахли кошки и винцом... Кошмар людячей мошкары в метро — лед на окошке поутру.

*

Газета «Руль», редактор Гуль.

-

Эмиграция — встряска. С кочки на кочку. Встряска ряски. Болотце отцово.

-

Слишком «густ мед», как писал Гершензон (о Вяч. Иванове).¹ «Много толчеи», как говаривал Бунин (о себе раннем \«Деревня»!\).²

-

Когда я слышу, что «слишком густо», что (читателю), читу, хочется передохнуть, повисеть на лиане — «дайте воздуха, атмосферы!» -- мне рвется вякнуть: «ходите гулять в другие леса, в иные тексты!».

-

Сказки народов. Чиполино - Чи полено...

*

На каторге в «Мертвом доме» заключенным задавали объем работ — «урок». «После урка жрать-то хочется!» — говорили арестанты. Отсюда урка, вошедшее в русскую речь.

¹ Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух углов // Гершензон М. Избранное. Тройственный образ совершенства. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 25.

² Адамович Г. В. Бунин // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. М.: Директ-Медиа, 2016. С. 81.

-

Тяжело гроыхающий двенадцатитонный грузовик Шёнберга.¹ Музыка акына у арыка.

*

Голливуд - холеный лес. Чашоба глянцева.

-

Эх, рыбо-сомы! (рибосомы)

-

Желтый нуль луны.

-

Не лей помои на потомков — мол, не читают — мы еще хуже, мы пишем.

-

Первым делом — обделаться.

-

Утро. Солнце бьет в окно. Феб-заяц трудолюбиво скакал по стенке над кроватью.

-

«Подстарки», так называла Гиппиус молодых, начавших писать лишь в эмиграции.²

*

Кричащая электрическая лампочка Мунка. Эх, яблочко эдисоново!

-

Волапюк финнеганов — по фигу помин!.. Блум-цветок древа Дублинова. «Вброд-коня-купать», как выражался Бродский в «Мраморе».

-

¹ Додекафония, двенадцатитоновый метод композиции австрийского и американского композитора Арнольда Шёнберга (1874-1951).

² Адамович Г. В. Одиночество и свобода // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. М.: Директ-Медиа, 2016. С. 23.

Это таки лажа - так такелажники литеры грузят тяжко.

-

Желтый валун луны на черной поляне неба.

-

Ну, Блум тоже был четвергом - 16-6-1904.¹ (Как телефонный номер). Хочется чего-то государыне рыбного, грандиозного. Вырезать «Улисса» на рисовом зерне?.. Какой прок кропать - на потеху элитному стаду... Бычки Гелиоса... И он вернулся на Итаку -в Корнеллский университет.²

¹ Роман Джеймса Джойса «Улисс» посвящен одному дню из жизни его героя Леопольда Блума — четвергу, 16 июня 1904 года.

² Вероятно, имеется в виду американский литературовед и культуролог Гарольд Блум (1930-2019), учившийся в Корнеллском университете в 1947-1952 годах.



Иллюстрация **Александра Канчика** к десятой главе романа **Якова Шехтера** «Бесы и демоны»

ЛЮБОВЬ ДЕМОНА

Глава десятая романа «Бесы и демоны»

Осень в том году выдалась необычно ранней. Но, словно желая восполнить украденное лето, дни стояли сухие и теплые. Небо над Галицией которую неделю не менялось, яркое и прозрачное, будто перед Швуес. И только разносимые мягким ветерком серебряные ворсинки паутины напоминали: вот-вот осенние праздники.

Получив письмо от отца, Айзик не сразу решился его распечатать. Еще бы, разве каждый день в Курув приходят письма со Святой Земли?! Конверт из толстой красновато-коричневой бумаги украшали десяток печатей и марок. Австрийская почта доставила его из Иерусалима в Стамбул, оттуда в Берлин, потом в Вену, из нее в Варшаву, а уж из Варшавы в Курув. Четыре месяца гулял по миру конверт, от времени и от странствий потемнев до цвета старой меди.

Или так казалось Айзику, ведь трава на речных склонах и листва деревьев вокруг Курува из-за сухости вместо привычной для осени ярко-желтой окраски тоже приобрели красноватый оттенок. Дом, в котором жил Айзик, стоял на пригорке. Его с женой комната была в мезонине, откуда распахивался завораживающий вид на окрестные поля и рощи. Этой осенью Айзик часто задерживался у окна, наблюдая, как ветер ворошит и собирает в кучи красные листья.

Вскрыть письмо он решился только вместе с женой. Шел второй год их совместной жизни, и Айзику еще было приятно все делать вместе. Да и, кроме того, сердце подсказывало: что-то не хорошо, что-то так.

Увы, предчувствие не обмануло. Неровным старческим почерком отец сообщал, что его средний сын, старший брат

Айзика, уехавший вместе с ним в Иерусалим, внезапно умер от лихорадки.

– Я остался один, – писал отец. – Не знаю, когда Всевышний позовет меня к себе, но видимо, уже скоро. Поэтому я прошу, чтобы ты, мой младший и любимый сын, приехал сюда вместе с женой. Я хочу, чтобы вы были последними, кого я увижу, чтобы ты проводил меня в последний путь, и одиннадцать месяцев говорил по мне кадиш на Святой земле. Это моя последняя просьба.

Шейна слушала мужа, горестно уронив руки на колени. Она успела привязаться к Айзику, хоть курувские кумушки утверждали, будто они не пара. Но какие могли быть к ней претензии? Шейна, дочь реб Гейче, владельца винокуренного заводика, вышла за Айзика, младшего сына зажиточного торговца Фишла, потому что так решили родители.

Фишл начинал разносчиком, таскался с коробом за спиной по деревням, продавая крестьянам всякую мелочевку. Еле хватало справиться субботу, семья-то, нивроку, выдалась немалая, четверо сыновей. Потихоньку встал на ноги, открыл магазинчик, потом ларек на ярмарочной площади, затем стал торговать зерном и лесом.

И каждого человека есть сокровенная мечта, которой он греет свое сердце, сняв носки и улегшись в постель. Праведники думают о том, как лучше выполнить волю Творца, мудрецы продолжают перебирать Учение. Сластолюбцы мечтают о женщинах, скряги о богатстве, злодеи о власти и славе. Чем выше человек, тем тонченнее и чище его мечты, а чем ниже, тем в более глубокую пропасть погружается он, смежив веки.

Ведь сказали наши мудрецы: размышление о грехе хуже самого греха. Кажущееся сладким на деле часто оказывается безвкусным, если не горьким. И останавливается человек на самом краю бездны, и возвращается обратно. Но в мечтах... в мечтах мы способны рухнуть в самую пучину, воображая, будто она тепла и уютна, как супружеская постель.

Мечтой Фишла, его неизбывной страстью, его сокровенным желанием был переезд в Иерусалим. Он хотел встречать восход солнца у подножия Храмовой горы, ходить там, где ходили пророки и цари Израилевы, молиться у Западной Стены, каждый день дышать воздухом Святой Земли.

Человеком он был простым, прямым и честным. И вера его была такая же, простая и бесхитростная, как угол синагоги. Не зря курувский богач реб Гейче решил отдать свою младшую и любимую дочь за его сына. Айзик в своей семье тоже был самым младшим, как говорят, сыном старости. Его женитьба - последнее, что отделяло Фишла от Святой Земли. Он твердо решил передать торговлю старшим сыновьям и, устроив младшего, провести остаток дней в Иерусалиме. Об Айзике речь даже не шла, он и торговля были совершенно несовместимы.

Правда, был в этом сватовстве один деликатный момент. Если Фишла нельзя было назвать по-настоящему зажиточным, то Шейну никак нельзя было назвать по-настоящему красивой. Все портили волосы: прямые и плоские, точно пакля. И цвета они были странного, не черные, не светлые, а белесые. Шейна билась с ними как Маккавеи с греками, да без толку: завитые они распрямлялись за полдня, а прическа не держалась и часа.

Но, по мнению родителей в этой паре все совпадало: младшая к младшему, крышка к ларю, пробка к бутылке, а каблук к сапогу. Дело было лишь за молодыми, понравятся ли они друг другу.

В отличие от своих братьев, быстро вышедших на деловую дорогу, Айзик отличался мечтательным, меланхолическим характером, возможно потому и засиделся в ешиве почти до девятнадцати лет. Честолюбие его не грело, выучиться на раввина или провести всю жизнь над книгами даже не приходило Айзику на ум. Не те способности, не та память. Искать правду в мелочах, сопоставлять намеки, разбросанные на страницах разных книг, и сводить их в одно целое, чтобы вынести судебное

постановление или написать новый комментарий, Айзик не мог. Да, честно говоря, и не хотел.

Хорошо давались ему языки. Они словно сами входили в голову, Айзик не учил, а будто вспоминал слова и выражения. Он свободно и без акцента изъяснялся по-польски как поляк, по-русски как русский, не говоря уже про родной идиш, древнееврейский лошен койдеш и арамейский, язык Талмуда. Живи он в большом городе, наверняка бы нашлось применение его способностям, но в маленьком Куруве толку от знания языков было мало. Впрочем, Айзик не стремился отыскать себе лямку. Для чего? Жизнь не требовала, отец полностью обеспечивал его всем необходимым.

Его подлинной страстью и любовью была рыбная ловля, в которой он достиг немалых успехов. Айзик в совершенстве изучил повадки рыб, водившихся в Курувке, и мог часами рассказывать, как выбирать правильной длины и гибкости прут для удочки, как плести леску из конского волоса, из чего делать поплавок, и когда самый лучший клев.

Время клева – самая большая тайна, самое главное умение в рыбной ловле. Его определяют по множеству примет, причем каждый рыбак выбирает из них самые верные и держится их со страстью идолопоклонника. Вид и направление дыма костра, краски неба на закате, высота полета птиц, обильность росы, цвет и вид облаков, ясность ночного неба и сила сияния звезд, – все это словно буквы в раскрытой книге природы, которые складываются в слова, понятные глазу умельца.

За долгие часы, проведенные Айзиком с удочкой на реке, он научился по одному всплеску определять, какая рыба интересуется его наживкой, по пересвисту или курлыканию узнавать невидимых глазу птиц, отличать травы по запаху, и даже задолго до первых капель различать по слуху шум надвигающегося дождя.

И хоть рыбы домой он приносил немало, все смотрели на это занятие, как на пустую забаву. Мог ли кто предположить, что в другом месте и в другое время рыбная

ловля превратится в главный источник пропитания Айзика и его семьи?

Кроме рыбной ловли он любил лошадей. Курувский водовоз Тевье жил неподалеку, и по вечерам Айзик часто убегал к нему во двор, помогал распрягать лошадку, чистил ее, задавал корм. Ему нравился острый дух конского пота, даже навоз он убирал без отвращения. На фоне своих братьев, крепко взявшихся за торговлю, он выглядел странным, но, возможно именно из-за этого Фишл любил его больше остальных.

В отличие от предполагаемого жениха, Шейна не отличалась никакими странностями, а была самой обычной еврейской девушкой из зажиточной семьи. Ее готовили стать владелицей большого дома, вести хозяйство, рожать и поднимать детей, быть верной опорой мужу. Взвесив все обстоятельства, Фишл пришел к выводу, что обстоятельная Шейна будет хорошей женой порывистому Айзику, а он вместе с реб Гейче заложит солидную основу достатка новой семьи.

Шейна и Айзик встретились в доме раввина Курува ребе Михла. Его жена ребецн Сора-Броха давно взяла на себя обязанность знакомить молодых людей. Она сидела в горнице, занятая то ли вязанием, то ли другим рукоделием, а юноша и девушка уходили в боковую комнату, оставляя дверь распахнутой настежь. Говорить они могли, разумеется, только шепотом, ведь каждый звук тут же доносился до бдительных ушей ребецн.

Молодые пошептались минут десять, вышли из комнаты, Айзик поблагодарил хозяйку дома, вежливо распрощался и вышел.

– Ну, как? – спросила Сора-Броха.

– Да никак, – пожала плечами Шейна.

– Он тебе противен?

– Нет, он вполне милый, застенчивый, улыбка хорошая, – честно ответила Шейна, не понимая, что этими словами решает свою судьбу.

– Ну, это уже немало, – подвела итог ребецн. – Совсем немало.

Фишл поджидал сына дома, и как только тот вошел в горницу, сразу спросил:

– Ну, как?

– Да никак? – подал плечами Айзик. – Девушка, как девушка.

– Она тебе понравилась?

– Э-э-э, даже не знаю, что сказать. Симпатичная, но не более того.

– А более от тебя никто и не ждет, – наставительно произнес Фишл. – Вспомни, что написано в Торе о женитьбе праотца нашего, Ицхока.

Он пощелкал пальцами, словно встряхивая память, и процитировал.

– Ицхок привел девушку в шатер своей матери Сары, и женился на Ривке, и стала она ему женой, и полюбил он ее.

Фишл сделал многозначительную паузу и поглядел на сына. Айзик стоял, почтительно ожидая, когда отец закончит говорить.

– Теплые чувства приходят не сразу, сын мой, – произнес Фишл, – а после двух-трех лет совместной жизни. Когда ты почувствуешь, что Шейна стала твоей женой, то есть помогает тебе, дарит радость и утешение, вот тогда ты ее полюбишь. А для первой встречи достаточно, что тебе она показалась симпатичной. Я не ошибся, ты сказал именно это?

– Да, – подтвердил Айзик, еще не совсем понимая, что этим делает окончательный выбор.

Замужество преобразило Шейну. Первым же утром она с наслаждением запрятала свои волосы под роскошный бирюзовый платок, завернув его наподобие турецкого тюрбана. Вернувшись из синагоги, Айзик замер у порога; дверь ему открыла неземная красавица.

– Шейнеле, сердце мое, – только и сумел пробасить реб Гейче, увидев совершенно изменившуюся дочь. Новый облик Шейны дал славную пищу пересудам на женской половине синагоги, но спустя три дня пришла другая тема, и про новоявленную красотку быстро забыли. Только Айзик не уставал любоваться ею, впрочем, тоже не долго. Через

полгода образ Шейны до замужества окончательно улетучился из его головы. Теперь ему казалось, нет, он был уверен, что Шейна всегда была очень красивой и понравилась ему с первого взгляда. А разговор с отцом после знакомства с предполагаемой невестой сначала отодвинулся на задворки памяти, а потом окончательно затерялся в тенях и сумерках.

После свадьбы прошло почти два года, и Айзик начал понимать, о чем говорил ему отец. Шейна, вначале чужая и далекая, становилась все ближе и ближе. Конечно, многое изменил взрыв чувств, который они испытали во время первой совместной ночи. Постоянная радость близости заставляла смотреть на мир совсем по-другому, ведь счастье, которое Шейна дарила Айзику, он мог испытать только с ней, единственной разрешенной ему женщиной во всем мире.

После женитьбы его жизнь не изменилась. Правда, он переехал из дома отца в мезонин особняка реб Гейче, и по субботам уже не засиживался в синагоге, уютно обложившись книгами, а спешил домой, к семейному столу, на котором сияли свечи в надраенных до жаркого блеска серебряных подсвечниках. Еще ярче свечей горели глаза Шейны, и он в ответ превозносил до небес ее ужасную стряпню.

Распорядок дней Айзика остался прежним. Реб Гейче отвел ему три года на продолжение учебы, после чего грозился взять его к себе помощники в делах винокурни. Но три года в молодости – огромный срок, и так далеко Айзик еще не научился заглядывать.

Он по-прежнему большую часть дня проводил в бейс мидраше над книгами, два раза в неделю просиживал час-другой с удочкой над Курувкой, не сводя глаз с красного перышка поплавка. Когда первая звезда начинала переливаться в дрожащей воде речки, словно драгоценный камень зеленого цвета, он сматывал удочку, забрасывал улов домой и бежал в синагогу на вечернюю молитву.

Вот только посещение Тевье пришлось прекратить. Когда он в первый раз вернулся из конюшни, пропахший

конским потом и навозом, жена так удивленно подняла брови, и так выразительно сморщила нос, что слов уже не потребовалось.

Рыбу Шейна готовила сама и поначалу портила ее до невозможности. Но Айзик ел и хвалил, и постепенно рыба стала выходить вполне съедобной, а потом даже вкусной. Их понимание друг друга тоже потихоньку налаживалось, оба старательно избегали острых углов и взрывных ситуаций. Письмо из Иерусалима оказалось первым испытанием прочности их семьи.

– Разве ты не знаешь, – нарочито спокойным голосом произнесла Шейна, когда Айзик закончив читать письмо, поднял на нее глаза. – В Святой Земле почти нет работы, евреи живут впроголодь, на деньги, что собирают по всей Европе. Ты ничего не умеешь делать, даст Бог, я забеременею, на что будем кормить семью? Тут у нас сытая, спокойная жизнь. Не поеду.

– Ну, как же так, – робко возразил Айзик. – Это ведь последняя воля отца, а я обязан выполнять заповедь почитания родителей. Он уже четыре месяца один, да еще пока приедем, поди знай, сколько времени пройдет? Кто о нем там заботится, кто ему помогает?

– Ты самый младший из братьев, – ответила Шейна, – и только начинаешь жизнь. Мы с тобой лишь закладываем основу нашего семейного дома. Твои братья уже состоявшиеся люди, поэтому все имущество отец оставил им, умным, опытным и старшим. Вот пусть один из них и отправится в Иерусалим выполнять заповедь почитания престарелого отца.

– А заслуга проживания в Святой Земле? По Рамбану это тоже заповедь из Торы! Представляешь, будем жить напротив Котеля, видеть, как зажигаются звезды над Храмовой горой, ходить там, где ступала нога царя Давида, царя Соломона и пророков? А воздух? Разве есть в мире воздух слаще, чем воздух Святой Земли?

– У меня есть предложение, – с трудом удерживая слезы, произнесла Шейна. – Давай разведемся, и тогда ты сможешь беспрепятственно выполнять и ту и другую

заповедь да еще наслаждаться воздухом Иерусалима. А жену найдешь себе другую.

– Но почему? – вскричал Айзик. – Зачем разводиться? Разве нам плохо вместе?

– Видимо тебе плохо, если ты хочешь меня оставить и уехать в Иерусалим.

– Но я не хочу тебя оставить! – изумился Айзик. Это был первый спор в его семейной жизни, и он еще не понимал замысловатые тропы, по которым бродит мышление женщины. – Я хочу поехать вместе с тобой!

– Поехать в Иерусалим означает оставить жену в Куруве, – ответила Шейна. – Ты хочешь быть возле своего престарелого отца, а мне предлагаешь ради этого бросить моих престарелых родителей. Я из нашего города ни ногой!

Разговор закончился ничем, если считать ничем промокший от слез фартук Шейны. Айзик ушел в бейс-мидраш, и, казалось, тема переезда на Святую Землю закрылась навсегда. Если бы! На следующий день Айзик сделал то, что в его положении делали десятки тысяч евреев – пошел посоветоваться с раввином.

– Видишь ли, – ответил реб Михл, выслушав сбивчивый рассказ Айзика, – женщины допускают все куда ближе к сердцу, чем мужчины. Как правило, их первый ответ на неожиданную весть - слезы, охи и ахи. Поэтому, чтобы сохранить мир в семье, надо уступить.

– Значит, они слезами и плачем всегда будут добиваться того, чего желают? Так невозможно строить семейную жизнь!

– Ты невнимательно меня выслушал. Я сказал - всегда уступать в первую минуту. В первую уступать, а потом, когда волнение схлынет, и жена вновь обретет возможность спокойно думать, вернуться к разговору. Так устроены женщины, и с этим необходимо считаться.

– Понял, ребе Михл, сделаю, как вы говорите. Но все-таки... что с моим вопросом?

– Конечно, ехать, – без колебаний постановил ребе Михл.

– А Шейна? – осторожно спросил Айзик. – Она ведь не хочет. Боится, что жить не будет не на что, и родителей боится оставить. Эти причины никуда не денутся, даже когда волнение пройдет.

– Вот тогда и приведи ее ко мне, – завершил разговор ребе Михл.

После того разговора Шейна долго не могла прийти в себя. Айзик в панике убежал в синагогу, ему явно не хватало ни сил, ни решимости довести беседу до конца. Зато у Шейны решимости было хоть отбавляй... первые полчаса после того, как за мужем закрылась дверь. А вот потом, оставшись одна со своими мыслями и примерив на себя платье разведенной жены, Шейна начала утрачивать решительность со скоростью лесного пожара.

Она вдруг поняла, что привязалась к Айзику, и ей хорошо с ним, и вовсе не хочется расставаться. И кто дернул ее за язык говорить ему такие обидные, унижающие слова. Ведь известно, – заработок с Небес, если тысячи евреев живут на Святой Земле на эту самую халуку, и они вдвоем как-нибудь смогут. Родители ее, хвала Создателю, еще крепкие, бодрые люди, в Куруве остаются три ее брата и четыре сестры. Она сама, сама сказала мужу: мы с тобой лишь закладываем основу нашего семейного дома, и тут же собственными руками решила разрушить эту основу. Какая же, все-таки она дура, какая дура!

Когда на следующий день Айзик вернулся домой после разговора с ребе Михлом, от былой уверенности Шейны не осталось и следа. Она была готова ко всему, и походила на созревший плод, падающий в руки сборщика урожая от первого же прикосновения.

Выслушав мужа, Шейна разрыдалась.

– Почему ты снова плачешь? – удивился Айзик. – Неужели поговорить с раввином тоже боишься? Я же не уговариваю тебя переезжать в Иерусалим. Не хочешь, не надо, останемся в Куруве. Но прежде, чем окончательно решиться на что-либо, давай сходим к ребе Михлу.

– Не женское это дело ходить по раввинам, – отирая слезы, произнесла Шейна. – Он умный, а я глупая, плохо

соображаю. Он меня уговорит, убедит, заставит сделать то, что ты хочешь, и я потом буду всю жизнь несчастной. Поговори лучше с моим папой. Он ведь тоже был раввином города, тоже может дать хороший совет.

– Как? – изумился Айзик, – реб Гейче был раввином города?

– Конечно. Просто он не любит об этом рассказывать. Поговори, поговори с ним.

– Но почему ты словом про это не обмолвилась? Выходит, я женат на дочери раввина? Сюрприз, нечего сказать!

– А ты думал, что уже все про меня знаешь? – сквозь слезы улыбнулась Шейна.

Ужинали всей семьей в столовой, за длинным столом из мореного дуба. Тяжелые стулья с неудобными гнутыми подлокотниками, закрученными на концах в резные спирали, больше походили на кресла. Во время еды не было принято разговаривать, зато после, случалось, завязывались длинные беседы. Шейна под каким-то предлогом увела мать на кухню, затем позвала туда служанку и затеяла возню с кастрюлями и ухватами.

– Да, я получил должность раввина в двадцать два года, – немало не удивившись, ответил реб Гейче. Небольшой городок Белхатув, пятьдесят верст от Лодзи, скромная еврейская община. Как и во всякой общине, для нормальной жизни нужны шойхет, моэль, синагога, миква. Все это там было и я начал работу. А почему ты вдруг заинтересовался моим прошлым?

– Мне Шейна только сегодня рассказала, – ответил Айзик. – Разве я могу удержаться и не спросить, как вы оказались в Куруве?

– О, эта весьма непростая история. Но раз уже зашел разговор, так и быть, расскажу. Ты ведь мой зять, муж моей любимой дочери, значит, мой сын. А в семье нет тайн. Понимаешь?

– Конечно, конечно, никому ни слова, – заверил Айзик.

– Хорошо, что ты такой понятливый. Тогда слушай.

Но вместо рассказа реб Гейче надолго замолк. Он сидел, чуть сгорбившись, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. Глаза затуманились, пытаясь разглядеть подробности событий, густо запорошенных временем. Айзик почтительно молчал, ожидая, пока тесть соберется с мыслями. В окне за его спиной мельчайшими осколками изумруда посверкивали низкие звезды осени.

– Ты знаешь, – наконец нарушил молчание реб Гейче, – все это словно не со мной было. В голове сохранились детали тех лет, хвала Всевышнему, память у меня замечательная. Но не я это был, не я.

Он закашлялся, отпил чаю, промокнул губы салфеткой и посмотрел на Айзика.

– Сказано, по какой дороге человек хочет идти, по той его и ведут. И не нужно думать, будто с ним ничего при этом не происходит. Того Гейче, который вышел на новый для себя путь, уже давно нет. И это не только влияние прожитых зим и весен, внутри меня все переменялось. Я чувствую по-другому, смотрю на мир другими глазами. Вот вспоминаю невозвратное, и понять не могу, неужели это был я?

Ну, да ладно, вернемся к истории. Спустя несколько месяцев после того, как я принял бразды правления общиной Белхатува, мясника поймали на продаже тrefного мяса. Зарезав быка, шойхет сделал проверку и нашел гвоздь, пробивший стенку желудка. Разумеется, сообщил об этом мяснику, дело обычное, случается постоянно. Но бык попался особенно крупный, и мясник пожадничал. Вместо того чтобы дешево отдать тушу мяснику-поляку, он не сдержался и стал продавать тrefное мясо евреям.

Почему он предполагал, будто об этом никто не узнает, совершенно непонятно. Городок маленький, все про всех все знают. Но жадность слепит глаза и дурманит голову. Я отобрал у него экшер, лицензию на продажу кошерного мяса, и начал искать другого мясника. Виновник происшествия пришел ко мне на следующий день, рыдал и винился, умолял не лишать его семью куска хлеба. Он сам

не понимал, что его подвигло на столь злостный проступок. Обещал, что больше никогда и ни под каким видом не нарушит ни одного закона.

Я был с ним знаком и раньше, он производил впечатление честного, добропорядочного еврея. Молился ежедневно в миньяне, приходил на уроки, жертвовал на бедных. В общем, видя его искреннее раскаяние, я присоединил милосердие к суду, наложил на него штраф – пуд масла для синагоги на зажигание светильников – и вернул ему экшер. Он так благодарил, что мне стало не по себе, и я выпроводил его побыстрее.

К сожалению, после этого случая мясник прожил всего несколько месяцев. Его место занял другой, и вся история быстро изгладилась из памяти евреев Белхатува, да и, честно признаюсь, из моей тоже.

Спустя полгода я, по своему обыкновению засиделся над книгами до глубокой ночи. А когда еще у раввина городка есть время учиться? Днем ему не дают покоя бесконечные дела общины, как сказано: велики заботы народа Твоего, да руки коротки. Только после полуночи, когда стихал шум и гомон, и самые настырные прихожане шли на боковую, я мог уделить несколько часов учению.

В ту ночь учеба шла туго. День выдался на редкость запыленный, я основательно устал и спустя час занятий уснул, сам того не заметив. Во сне предстали передо мной трое в белом, и главный спросил:

– Раввин Белхатува, ты помнишь историю с мясником, у которого ты отобрал экшер?

– Помню, – сказал я, содрогаясь от страха.

– Ответь, пуд масла, это было наказание и штраф, с целью удержать мясника от повторения проступка, или наказание и искупление за совершенный грех?

– Не помню, – честно ответил я.

– Подумай, – сказал главный. – Подумай и вспомни. Мы не спешим.

Меня всего трясло от ужаса. Я не знал, кто эти трое, но понимал, что они из другого мира, видимо судьи, пришедшие решать судьбу души мясника, а возможно,

демоны-губители, посланные выполнить наказание. Для того чтобы я не испугался и дал правильный ответ, они могли принять какой угодно облик. Трясло меня от самого прикосновения к другой реальности, иному миру. Я собрался с мыслями и вспомнил.

– Это было наказание и штраф.

– Спасибо, раввин Белхатува, – хором сказали трое, и пропали, а я проснулся. Хотел встать на ноги и почувствовал такую усталость, словно весь день таскал мешки. Посмотрев на стенные часы, я понял, что мой сон длился всего несколько минут. Попытался продолжить учебу, но мысли путались, и вскоре я снова уронил голову на руки. Во сне ко мне явился мясник. Он был мрачен и зол.

– Что же ты наделал, раввин Белхатува?! – закричал он истошным голосом. – Ты погубил мою душу, отправил ее на муки и страдания.

– Да как же я мог тебя отправить на муки?!

– У него еще хватает совести спрашивать?! Если ты такой непонятливый, почему берешься судить людей и решать их судьбы и в этом мире и в мире земном?

От его слов я задрожал еще сильнее, чем при встрече с тремя в белом.

– Меня присудили к страданиям Геинома, искупать грех продажи трэфного мяса, – продолжил мясник, дергая углом рта. – Но я возразил, что раввин Белхатува уже назначил мне искупление, которое я честно выполнил. Тогда они спросили тебя, и ты ответил, что это было не искупление, а наказание и штраф. Поэтому сейчас меня отправляют на адские муки и в этом виноват только ты, ты и никто другой.

Я проснулся в трепете, тем же утром отказался от должности раввина, собрал семью и уехал из Белхатува в Курув. С тех пор я никому не предлагаю судьбоносные решения. Главные вещи в своей жизни человек должен решать сам и спрашивать совета у тех, кто не боится его давать.

– Но зачем тогда Шейна послала меня поговорить с вами? – удивился Айзик.

– Эх, юноша, – тяжело вздохнул реб Гейче. – Жена послала, ты поговорил. А теперь думай сам. Ты мужчина, ты глава семьи, никто вместо тебя не может принять решение.

Он поглядел на оторопевшего зятя, наморщил лоб и продолжил.

– В словах Шейны есть смысл. Тут, рядом с нами, вам будет куда проще поднимать детей. У тебя ведь нет ремесла в руках, а жить на халуку несладко. Но... последняя просьба отца, это очень, очень серьезно. Что же касается заработка, то о нем беспокоиться не стоит. Пока у меня есть силы, я буду вам посылать деньги. Так что первые годы вы не пропадете, а дальше... Всевышний позаботится о том, как будет дальше...

Тяжело громыхнуло прямо над крышей дома, на Курув налетела поздняя осенняя гроза. Реб Гейче отпил простывшего чаю, снова промокнул губы и повернулся к окну. Каждая вспышка молнии выхватывала из мрака то купу бронзовых вязов, то желтые, гонимые ветром облака, то позолоченный купол костела. На фоне этой бури тишина, тепло и уют, царившие в комнате, сразу настраивали сердце на возвышенный лад.

Айзик вдруг начал понимать, что главное в жизни несовместимо с взбудораженностью и суетой. Суета обязана уйти, оставив душу свободной для принятия мира. Всевышний вершит свои дела неторопливо и чтобы понять Его замысел, в сердце должно войти умиротворение, открыв его для восприятия чистых впечатлений.

Реб Гейче повернулся к собеседнику. Его лицо разгладилось, словно созерцание ночной грозы омолодило его на несколько лет.

– Твои доводы, Айзик, весьма серьезны, – сказал он. – И не менее весомы, чем возражения Шейны. Необходимо отыскать выход из этого кажущегося тупика и примирить вас. Когда у человека болит тело, он идет к врачу, и тот прописывает ему лекарство. Когда болит душа, лекарство ищут у раввина. Передай жене, что я пойду вместе с вами к ребе Михлу.

И вот еще что. Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. У каждого человека есть сильные стороны и слабые, хорошие свойства характера и плохие. Если ты хочешь наслаждаться хорошими сторонами твоего супруга, научись принимать и прощать плохие.

К удивлению Айзика, Шейна слушала его очень спокойно. Он ведь не знал, не догадывался, что творится в душе жены, и ожидал такого же жесткого ответа, как в первый раз. Но мысли о возможном разводе источили сердце Шейны, и сделали ее мягче масла и податливей пуховой подушки.

К ребе Михлу отправились на следующий день после полудня. Гроза прошла, и в Курув вернулась светлая осень, но на улицах еще стоял слабый туман от вчерашнего ливня. Ивы на левом берегу Курувки поредели за одну ночь, желтые листья, кружась, непрерывно опускались на воду.

Раввин попросил Айзика изложить суть дела. Затем перевел взгляд на Шейну. Та повторила свои возражения, но уже совсем иным тоном, без прежнего запала и злости. После этого говорил реб Гейче. Айзик ожидал, что его слова огорчат Шейну, но та выслушала их спокойно, почти равнодушно.

Ребе Михл опустил голову и принялся внимательно рассматривать лежащий на столе перед ним закрытый том Талмуда. Через несколько минут он снял очки, потер глаза указательными пальцами, снова водрузил очки на нос и сказал.

– Решать, конечно, вам, но со всех точек зрения я считаю переезд в Иерусалим целесообразным. Обещаю, что в заслугу проживания на Святой земле и выполнения заповеди почитания родителей, Всевышний не оставит вас без достойного пропитания. А тебе Шейна, я хочу напомнить, что закон предписывает мирить супругов, искать компромиссы, идти на уступки. Но в случае, когда жена не дает мужу взойти на Святую землю, можно разводить без поиска компромиссов.

– Я решил, – воскликнул Айзик. – Едем! Шейна, – он ласково посмотрел на жену. – Ты со мной?

– Ох, – тяжело вздохнула Шейна. – С тобой, с тобой.

Отправились через несколько дней. Казалось бы, какие пожитки собирать молодой паре без детей, бросил в сундук одежду и поехал, а вот, поди ж ты, выяснилось, что срываться с места совсем не просто. Тем более, срываться навсегда. Множеством тоненьких ниточек привязаны сердце и душа человека к родному городку, и обрывать их ох, как нелегко.

До Могилева-Турецкого¹ добрались неделю, шутка ли почти семьсот верст. Турецким его называли потому, что в нем находился пропускной пункт на турецкую сторону Днестра. Оттуда полторы недели тряслись на скрипучей повозке до Констанцы, три дня ждали судно на Стамбул и, наконец, поднялись на борт двухмачтовой кадырги, носящей гордое имя «Гок» в память о легендарном флагмане османского флота. Кадырга ходила из Констанцы в Стамбул, затем в Яффо и обратно, и плавание на ней считалось абсолютно безопасным.

Шейна и Айзик долго стояли на палубе, разглядывая судно. Черные линии такелажа, четко вырисовывающиеся на фоне голубого неба, казались им загадочным переплетением. Для чего нужны все эти бесчисленные канаты и веревки, и как можно ими пользоваться, не путая, что для чего предназначено, было совершенно непонятным.

Прохладный ветерок ровно тянул из глубины моря, кадырга слегка покачивалась, надежно принайтованная к причалу толстыми канатами. Лазурная поверхность воды сверкала под лучами полуденного солнца; крепкий запах водорослей, облепивших камни причала, манил в дорогу. Шейна стояла, крепко ухватившись за планшир, и не хотела спускаться в каюту.

Закричали, зашумели матросы, полезли на ванты, принялись расправлять снасти, готовя судно к отплытию.

¹Потом этот город стали именовать Могилев-Подольский.

Подняли швартовы, с шумом развернулись паруса, показавшиеся ослепительно белыми в лучах черноморского солнца. Волны начали глухо ударять в борта, двинулся, поплыл в сторону форт, стерегущий гавань, закачалась под ногами палуба.

– Готеню, как мне здесь нравится!– воскликнула Шейна, глядя на отдаляющийся с каждой минутой берег. – Так бы плыла и плыла!

Увы, действительность быстро обернулась к Шейне изнаночной стороной. Когда кадырга вышла в море и начала свое неспешное переваливание с волны на волну, Шейне стало плохо. Выяснилось, что она не переносит качку, и три дня до Стамбула превратились для нее в сплошную пытку.

В Стамбуле «Гок» стоял у причала три дня, и все эти три дня Шейна никак не могла прийти в себя. Качка давно закончилось, а ее продолжало мутить и выворачивать наизнанку зеленой желчью.

– Ничего, ничего, – утешали Айзика турецкие евреи. – Сюда вы плыли через море, а в Яффо путь лежит вдоль берега, там не так качает.

Они были правы, Средиземное море у берегов было совсем тихим, почти ручным. Но Шейну все равно мутило, и безжалостно рвало. Когда, наконец, добрались до Яффо, она так обессилела, что от корабля до постоянного двора Айзику пришлось тащить ее на себе. И как он ни рвался отправиться в Иерусалим, пришлось задержаться в Яффо почти на месяц, пока Шейна окончательно не поправилась.

– Все, милый, – сказала она Айзику в один из дней. – Я больше никогда не увижу Курува, не повидаюсь с родителями и братьями. Вынести еще раз такое мучительство я не смогу, о море и корабле мне даже думать больно. Я приехала сюда навсегда!

– Глупости! – возразил Айзик. – Скоро придет Мошиах и перенесет на крыльях орлов всех евреев на Святую землю. В том числе и твоих родителей.

– Ну конечно, – буркнула Шейна. – Ну, разумеется. Причем в самом скором будущем.

Стояла зима, но для жителей холодной Польши она казалась жарким летом. Пока Шейна отлеживалась в полутемной комнате с прикрытыми от солнечного света жалюзи, Айзик торчал в порту, на пристани рядом с местными рыбаками. По-арабски он заговорил через три дня. Плохо, спотыкаясь и путаясь, но заговорил и с каждым днем изъяснялся все лучше и лучше.

О, морская рыбалка была совсем иным делом, чем речная, и рыбы в Яффо водились другие, чем в Куруве. Куда там скромным лещам, плотве и окунькам до роскошных, перламутрово переливающихся чирусов, веретенообразной ставриды, глянцевого кефали, красной полосатой барабульки и короля всех рыб, орфоза.

Это морское чудище брали на камнях, выходя к скалам на фелюке, валкой на волне лодке с черными, просмоленными бортами. Орфоз¹, каменный окунь, большая, длиной в полруки рыба, брал осторожно и нехотя, и давался далеко не всем. Даже бывалым рыбакам за все утро удавалось поймать две-три штуки. Зато платили за него в пять-шесть раз больше, чем за любую другую рыбу.

Айзик сам не удил, а только присматривался, знакомился с приемами, учил названия рыб, способы ужения, виды наживки, времена клева и прочую рыбацкую премудрость. Один раз ему все-таки дали половить, когда один из рыбаков заболел, и в фелюке освободилось место.

Вот эта была ловля, это были азарт и восхищение. Куда там Курувке! Айзик вытащил орфоза, и упоение, которое он пережил, было сравнимо лишь с восторгом от первой ночи с Шейной. Продавать его он не стал, а принес домой и жена, уже вполне пришедшая в себя, лично зажарила рыбу.

– Когда мы сможем пуститься в дорогу? – спросил Айзик, после того, как они вдвоем уписали всего орфоза. – Судя по аппетиту, ты, нивроко, уже вполне пришла в себя.

– Завтра, – улыбнулась Шейна. – Я еще вчера хотела тебе сказать, но ты так трясея со своей рыбалкой, что ничего не слышал. Наши вещи я уложила, с хозяином

¹Сегодня эту рыбу в Израиле именуют локус.

постоялого двора рассчиталась, и договорилась с возчиком.

– Ты просто чудо! – восхищенно прошептал Айзик и обдал жену таким страстным взглядом, что та покраснела и смущенно потупилась.

До начала подъема в гору добирались целый день, возчик, араб в куфие¹ и галабие² чуть не до пятки, с длинными усами на лице, заросшем многодневной щетиной, никуда не торопился. Он монотонно тянул какую-то песенку, напоминавшую заунывное пение ветра в пустыне и совсем не погонял лошадь. Та шла шагом, меланхолично помахивая хвостом.

Вокруг простиралась покрытая колючками и камнями пустошь. Она началась сразу за воротами Яффо, и сколько видел глаз, невозможно было отыскать ни малейшего клочка зелени. Желтый, выжженный солнцем кустарник, бурая земля, с черными проплешинами, словно от пожарищ, и камни, камни, камни.

Невысокие горы впереди тоже были рыжими, без единой зеленой прогалины. Все вокруг было заброшено, некогда цветущая земля лежала в запустении.

Переночевали в караван-сараях, сером, засыпанном пылью строении, прибывшемся к правой обочине дороги перед подъемом к Иерусалиму, а утром, с первыми лучами солнца, двинулись в путь. Айзик шел пешком, каждый шаг, приближавший к святому городу, был в его глазах дорогим кладом, заповедью, отдавать которую бессмысленному животному он не собирался.

– Сколько поколений моих предков мечтали попасть на эту землю, – думал он, шагая рядом с телегой. – Сколько молитв было произнесено, сколько слез пролито и вот я, первый в моем роду после сотен лет изгнания, поднимаюсь в Иерусалим.

¹Мужской головной платок. Неотъемлемая часть мужской одежды у арабов.

²Длинная, просторная рубаха с широкими рукавами, без воротника. Традиционная арабская одежда.

От этих мыслей в горле начинало щекотать, а в носу пощипывать, словно в детстве, перед тем, как из глаз начинали течь слезы. На фоне древних гор, седой, сожженной под солнцем земли, Айзик и в правду чувствовал себя ребенком. Ему казалось, будто глаза праотцев, основателей еврейского народа устремлены сейчас на него, и праотцы довольно улыбаются и, кивая, говорят друг другу: он здесь, он вернулся.

Когда после многочасового петляния дорога, наконец, вышла к охряно-коричневому сборищу домов и возница знаком дал понять, что цель достигнута, Айзик не выдержал и расплакался. Бесшумно, задавливая предательские всхлипы, он незаметно – так ему казалось! – отирал слезы рукавом и пытался вместить в голову, что стоит перед высоким и отрешенным местом, в сторону которого он поворачивался три раза в день во время молитв.

Второй раз он расплакался, увидев отца, расплакался от любви и от жалости. Отец выглядел неважно, спал с лица, осунулся, передвигался с трудом, тяжело опираясь на палку. Все это время ему помогали соседи, жители еврейского квартала. Отец жил в большой комнате со сводами, вход в которую был прямо с улицы. Ни прихожей, ни спальни, ни кухни, одна комната с двумя окнами, забранными проржавевшей решеткой. Железная дверь, плотно прикрывавшая вход, тоже была ржавой и отец, опасаясь арабских воришек, выходя на улицу, тщательно запирали ее, поворачивая ключ ровно три раза.

– Так тут живут, сынок, – ответил он на вопрос, нельзя ли снять жилье получше. – Не гляди на внешность, смотри, что скрывается за ней. Все жители нашего квартала заняты только изучением Торы и молитвами. Материальность их попросту не интересует. Ты приехал в Святой город, сынок, вот и думай о святости.

Увы, возвышенность и отрешенность в Иерусалиме не ощущались. Узкие улицы старого города были до отвращения грязны, и пахло на них не святостью, а ослиной мочой. Помимо мочи нестерпимо воняло испорченной едой,

сыростью, грязным бельем, и еще чем-то, что в Куруве Айзик сталкивался только в домах последних бедняков.

После радости встречи с отцом и удивления от знакомства с Иерусалимом наступили скучные дни безделья. Айзик не знал, что с собой делать, куда деться. Его, разумеется, сразу пригласили занять место в бейс мидраше и продолжить учебу, но он вежливо отказался, ссылаясь на недомогание после переезда.

Сердце Айзика до самых краев наполнила черная вода печали. С тоской вспоминал он скрипучий мост и быструю воду Курувки, ракиты у дороги, и плотные ряды торговцев на центральной площади местечка в базарный день. Курув теперь представлялся ему наполненным уютом и простосердечностью, распри с поляками стали казаться добродушной перебранкой соседей. Еще бы, ведь он понимал каждое их слово, точно знал, что они имели в виду.

Гортанный арабский говор жителей Иерусалима резал ухо, протяжные завывания муэдзинов раздражали, а цоканье ослиных копыт по булыжникам мостовой доводило до бешенства.

Ах, Курув! Усыпанные сеном мостовые, по которым бесшумно катились колеса телег, илистые берега речки, на которых одуряюще пахло свежестью, и где так сладко было проводить часы, наблюдая за пляской поплавок!

Он вспоминал стариков евреев, важно восседающих на скамеечках у входа в лавчонки, их черные шапки, светлые глаза и добрые улыбки и... понимал, что прошлое пропало, сгнуло для него навеки. Но самым ужасным, давящим на плечи и сжимающим грудь было то, что изменить уже е ничего невозможно.

От скуки и безвыходности Айзик принялся учить турецкий и арабский. О пропитании, слава Богу, заботиться не приходилось, денег у отца хватало, поэтому он с утра до вечера бродил по Иерусалиму, прислушиваясь, запоминая и мотая на оба уса. И чудо, привычное для него чудо постижения чужой речи, потихоньку свершалось – здания языков сами собой поднимались в его голове.

Вот только настроение подводило. Несмотря на зиму, Айзику было душно, он постоянно потел, и, пытаясь спастись, ходил в распахнутом халате, подставляя грудь сырому ветерку. А когда телу тошно, душа не может петь, страдают оба, и конь и наездник.

Шейна, наоборот, расцвела. Смертные муки морской болезни остались в далеком прошлом, словно и не было их никогда. Шейна нашла себя в обществе иерусалимских кумушек, и не просто нашла, а почувствовала лучше, чем дома. Быстро приготовив обед, завтрак и ужин – в Иерусалиме из-за климата было принято готовить каждый день новую еду, не откладывая ничего про запас – она принаряжалась и убегала на очередные женские посиделки.

Внешне посиделки выглядели более чем достойно, речь шла то про урок Торы в доме уважаемой раввинши, то о чтении псалмов на женской половине у Западной Стены, то о посещении больной товарки и помощи ее семье. Сердило Айзика лишь то, что в его собственном доме зияла постоянная пустота, Шейна пользовалась любым предлогом погрузиться в милое ее сердцу общество кумушек.

В один из дней, вернувшись с рынка, который теперь говорил на уже почти понятном Айзику языке, он увидел, что отец сидит в своем кресле, бессильно вытянув ноги. По его лицу блуждала странная улыба.

– Татэ, татэ, что с тобой! – вскричал перепуганный Айзик, но Фишл ответил ему успокаивающим жестом.

– Садись, сынок поговорим.

Айзик принес табуретку и послушно уселся рядом с отцом.

– Молодец, хороший мальчик, – улыбнулся отец, и от его улыбки и от этих его слов детство Айзика ворвалось в комнату, и встало вокруг них, отгородив от реальности плотной завесой памяти. Отец снова стал для него самым главным человеком в мире, самым умным, самым добрым, защитником, спасителем. От любой беды можно спрятаться на его коленях, укрыться, засунув голову под бороду.

– Всю жизнь я думал о Боге, – негромко произнес Фишл.
– Искал его, хотел понять, приблизиться. А сейчас хочу говорить только о смерти.

– Ну что, ты, татэ! – вскричал Айзик. – Еще есть время! Да и зачем о ней говорить? Как сказано, уже не помню где: когда мы есть, ее нет, когда она есть, нет нас.

– И это совершенно неверно, – ответил отец. – Смерть очень важная вещь, и она дается человеку только один раз. Ни повторить, ни изменить, ни занавесить покрывалом. Она вовсе не конец, и не черный занавес, за которым пустота. Сегодня, прожив больше года в Святом городе, каждый день приходя на молитву к Западной стене Храма, я кое-что понял. Понял, что смерть – это дверь, которую необходимо отворить для перехода в другую комнату. И от того, как ты пройдешь сквозь нее, зависит, в какой комнате окажешься.

Он закашлялся, отпил воды из стакана, пожевал губами. Айзик смотрел на высохшего, изможденного старика, а перед глазами стоял молодой, крепкий отец, который подбрасывал его вверх, к самому небу, так что дыхание перехватывало от восторга, а потом ловил, мягко ухватывая за подмышки.

– Эта дверь ведет в разные чертоги, сынок. И мы сами выбираем, где оказаться. Поэтому я хочу умереть не во сне, и не в забытьи от лекарств, а в полном сознании. Хочу сказать Богу спасибо за этот прекрасный подарок.

– Какой подарок, татэ? За жизнь?

– Нет, за жизнь я благодарю его уже много лет, каждое утро, когда просыпаюсь. А сейчас я хочу сказать Ему спасибо за смерть. Мне объяснили знающие люди, есть такие в Иерусалиме, что человек, который приходит к смерти в сознании, видит эти чертоги и может выбрать. Если он в обмороке или в забытьи, чертог выбирают судьи, по его поступкам за всю жизнь. Но когда человек решает сам, он может захотеть ему не полагающееся, и если он в сознании, и сильно просит, последнее желание души на земле принято удовлетворять. Если бы люди знали, как много можно изменить в последнюю секунду жизни, они бы

окружили себя не докторами с лекарствами, а посадили возле постели солдата с саблей наголо, чтобы тот не давал впасть в забытье.

– И все-таки, давай поговорим о чем-нибудь другом, – мягко, но очень решительно произнес Айзик. – Лучше всего о жизни. Вот ты уже почти год живешь в Иерусалиме, ходишь по нему каждый день, и ничего не замечаешь.

– Чего я не замечаю, сынок?

– Улицы тут воняют ослиной мочой, арабские мальчишки все время выкрикивают обидные оскорбления, и норовят запустить в спину комок грязи.

– Не знаю, – Фишл пожал плечами. – Запахи я давно перестал различать, а мальчишки ко мне не пристают. Неужели ты не чувствуешь святости? Она же просто разлита в самом воздухе?

– Нет, – решительно возразил Айзик, втайне радуясь, что сумел перевести разговор на другую тему. – Все вокруг чужое и враждебное, так не похожее на добрый, домашний Курув. Честно тебе скажу, в моих глазах Иерусалим – грязный азиатский город, в котором слишком много суеты, а тон задают наглые, вороватые иноверцы.

Отец тяжело вздохнул:

– Как я тебе сочувствую, бедолага. Видимо, ты не понравился Святому городу, и он повернулся к тебе тыльной стороной, которую ты принял за лицо. Те, кто обрел милость в глазах Иерусалима, живут совсем в другом месте, чем то, которое ты сейчас описал.

– Татэ, хочешь перекусить? – вместо ответа спросил Айзик. – Шейна спекла медовый пряник, я сейчас заварю свежий чай. Посидим, почаевичаем, как дома, в Куруве.

– Давай, сынок, давай, – Фишл опять тяжело вздохнул. Он так ждал этого разговора, так готовился к нему и вот, руки пусты.

«Что ж, – думал он, – этого, наверное, и следовало ожидать. Разве молодой полный сил человек может думать о том же, что и переполненный годами старик? Он хочет завоевать мир, а я готов отдать его в подарок, тому, кто согласится взять».

– Вот еще что я хочу тебе сказать, Айзик, – произнес Фишл, когда сын поставил перед ним дымящуюся кружку. – Когда я уйду, подними вон ту плитку пола, – он указал скрюченным от подагры пальцем в дальний угол комнаты. – Под ней найдешь мешочек с золотыми монетами. Их вам хватит надолго. А потом, когда закончится одиннадцать месяцев кадиша, если тебе так плохо на Святой земле, возвращайся в Курув.

Фишл умер спустя два дня. Лег спать и не проснулся.

– Ушел, как праведник, – утешала мужа Шейна. – Такой смерти можно лишь позавидовать. Без маеты, страданий, сам не мучился и других не помучил.

Айзик лишь мотал головой, словно от боли. Он не хотел передавать Шейне свой разговор с отцом, не хотел объяснять, что тот умер совсем не так, как хотел, ушел, не исполнив задуманное.

Хоронили в тот же день, святость города не позволяла медлить. Собрались все соседи, и длинная процессия потянулась на Масличную гору, к древнему кладбищу. Шли медленно, давая покойному еще немного побыть на земле, перед тем, как он навсегда переместится под ее поверхность.

Масличную гору в древности покрывали оливковые рощи, но от них давно не осталось следа. Что-то вырубил крестоносцы для осадных машин при штурме Иерусалима, что-то сожгли на дрова беспечные турки, которым не было дела до этой земли. Теперь здесь остались лишь покрытые лишайником валуны и старые могильные плиты. Ветер монотонно завывал в буйных зарослях колючего кустарника, напоминая пение муэдзинов.

Услышав это завывание, Айзик вспомнил про арабских соседей, и сообразил, что забыл запереть дверь в дом. Надо было отдать ключ Шейне, но он, когда тело отца выносили наружу, позабыл обо всем на свете.

Похоронили быстро. Раввин произнес несколько фраз, о том, что веками евреи мечтали быть погребенными в Святой Земле, в Иерусалиме, на Масличной горе. Ведь

когда придет Мошиах и начнется воскрешение мертвых, именно они встанут первыми.

– Реб Фишл сделал то, о чем другие только мечтали, – завершил свою речь раввин. – Он приехал сюда, он удостоился прожить больше года в святом городе и теперь ожидает конца времен в самом первом ряду. Счастливое завершение долгой, достойной жизни!

Подходя к дому, Айзик издали увидел, что дверь закрыта. Он и так не очень волновался – кто догадается, что замок не заперт? – а тут успокоился окончательно. Его больше беспокоили ноги, идти в войлочных чувках по камням было больно и затруднительно, но носить кожаную обувь в дни траура было запрещено.

Переступив порог, он несколько мгновений простоял молча, в немом изумлении. Весь пол был разрушен. Воспользовавшись тем, что все жители квартала ушли на похороны, воры, не боясь быть услышанными, разбивали плитку за плиткой, пока не нашли искомое. Да, та самая плита в углу, на которую указывал скрюченный палец отца, была разломана надвое и вывернута, бесстыдно обнажив желтое песчаное нутро.

Прошел первый месяц траура. Айзик три раза в день произносил кадиш по отцу, учил в его память разделы Мишны, читал псалмы. Жили скудно, денег почти не было. Немного помогали соседи, Шейна, разумеется, сразу отправила письмо отцу с рассказом о печальных событиях, но ожидать быстрого ответа не приходилось. Что делать, как жить дальше, он не понимал. Иерусалим давил его, словно удавка, мешая дышать, не давая распрямить плечи. Но как вырваться из него, ведь денег нет ни на переезд, ни на новое жилье? Да и на старое тоже нет денег, отец сам рассчитывался с хозяином, не посвящая Айзика в подробности. Скоро придет срок платить за аренду, а в кармане пусто. Угроза оказаться на улице встала во весь рост.

Не желая доводить дело до драматической развязки, Айзик решил заранее выяснить про аренду. К его величайшему удивлению выяснилось, что три месяца назад

отец купил эту комнату, заплатив немалую сумму. Продать комнату можно было моментально, в старом городе жилья катастрофически не хватало и любой освобождавшийся угол выхватывали чуть ли не вместе с руками.

– Я хочу вернуться в Яффо, – объявил Айзик жене. – Денег за эту комнату хватит, чтобы снять там угол и дожидаться помощи от твоего отца.

– Не могу, – мягко, но решительно ответила Шейна. – Меня мутит от одного вида моря.

– А я не могу жить в Иерусалиме. Мне плохо, душно, муторно. Я умру тут, как мой отец. Ты этого хочешь?

– Упаси Боже, о чем ты говоришь? – вскричала Шейна. – Выбрось из головы эти мысли! Неужели ты меня совсем не жалеешь?

– Не жалею тебя? – изумился Айзик. Женский ход мысли по-прежнему ставил его в тупик.

– Конечно! Ты себе спокойно умрешь, а я, что буду делать я, одна, среди чужих людей, в незнакомой стране? Это ты свободно болтаешь на турецком, а мне из этого басурманского языка всего пять слов удалось запомнить.

– Так давай я тебя научу! – вскричал он, но Шейна лишь фыркнула:

– А как мы оставим святой город? Разве можно сравнить какой-то там зачуханный арабский порт с Храмовой горой и Западной стеной?

– О, как ты заговорила, праведница моя! – вскричал изумленный Айзик. – Забыла, как я тебя клещами вытаскивал из Курува, точно гвоздь из стены?

– Это когда было! Теперь мы укоренились в Иерусалиме, и я никуда не поеду из святого города!

Поехала, как миленькая: куда иголка, туда и нитка. Когда телега пересекла ворота Яффо, и в ноздри ударил свежий запах моря, Шейна тихонько ойкнула, зато Айзик распрямил спину и гордо поднял голову.

Быстро выяснилось, что цены в Яффо немногим уступают иерусалимским и денег, вырученных за продажу комнаты, надолго не хватит. Сняли угол, устроились, начали искать заработок. Шейна пошла стирать белье и

верхнюю одежду у арабов. В Яффо мужчины и женщины носили почти одинаковое платье, галабие, подобие длинного тонкого халата, и шальвары. Боже, как они воняли эти шальвары!

– Разве можно занашивать одежду до такой степени? – изумлялась Шейна, выросшая в чистоте и достатке. – Как муж может любить жену, от которой смердит?

Айзик отмалчивался. Счастье морской рыбалки вошло в него, как входит корабль в гавань, наполнив до самой макушки и ласково щекоча сердце. Теперь, когда забава превратилась в заработок, он с полным основанием проводил в порту большую часть дня.

Айзик не стал отвлекаться на мелочи, а сразу ринулся к главной цели – орфозу. Эту рыбу любили все. Плотное мясо, нежный вкус и невысокая жирность делали ее настоящим деликатесом. Правда, существовала одна тонкость, резко меняющая цену: орфоза нужно было есть маленьким. Вырастая, он терял вкус и превращался почти в обыкновенную рыбу, которой, хвала Всевышнему, у берегов Яффо водилось видимо невидимо.

Взять орфоза можно было только рядом со скалами, а маленьких - в самой середине подводных камней. Туда добирались на плоскодонной фелюке с мелкой осадкой, она могла забираться прямо в гущу скал и спокойно качаться над покрытой зелено-черными водорослями вершиной камня, не доходящего пары аршин до поверхности воды.

Помимо водорослей, камни густо поросли черными мелкими ракушками, острыми, как хорошо заточенный нож у шойхета, и рвали сети, словно те были сделаны из бумаги. По этой причине орфоза приходилось брать только на удочку. И вот тут, да, наконец-то вот тут, пошли в ход все рыболовные умения Айзика, накопленные за годы сидения на берегу Курувки.

Леску он делал сам, вытягивал и резал конский волос, как режут гнилую нитку. Чтобы нить была не черной и не отпугивала рыбу, он тщательно промывал волос с мылом, сушил на солнцепеке, где тот выгорал и белел. А дальше

Айзик сам сплетал леску, тройную, крепкую, скользкую, которая соскакивала с острых краев черных ракушек. Как ни странно, никто из яффских рыбаков такого делать не умел, и от желающих купить леску у Айзика отбою не было.

Главной его задачей стало купить собственную фелюку. Ужение требует особой сосредоточенности, даже вдохновения. На рыбу нужно настроиться, совпасть с ней, прочувствовать ее тайный, быстрый ход в гуще воды.

Ходить на лов с арабскими рыбаками для Айзика было настоящим мучением. Его раздражала их грубость, громкие возгласы и гортанный смех, от них плохо пахло. Они вели себя так, будто рыба ничего не понимает, и разделяющая их вода создает непроницаемую стену, через которую может пробиться только крючок с наживкой.

Айзик был убежден, что рыбы очень умные создания, понимающие куда больше, чем думают люди. Они – единственные существа, сохранившиеся от допотопной жизни, когда на земле и в воде царил высокий свет Всевышнего. Свет куда более яркий и открытый, чем в наши дни и от этого света рыбы сохранили качества, закрытые для слепопотопного человечества.

– Рыба слышит наши мысли, – говорил он Шейне, но та лишь насмешливо поджимала губки. – Да-да, слышит и понимает, что мы хотим с ними сделать.

– Если они такие умные, – хмыкала Шейна, – отчего они хватают наживу с крючком?

– А разве люди не поступают точно также? – возразил Айзик. – Почти все беды валятся на человека из-за того, что он не может себя сдержать и заглатывает удовольствия, прекрасно понимая, какую цену придется заплатить.

– Рамбам ты мой, – скептически произносила Шейна. – Принес бы лучше рыбки на ужин.

В конце концов, Айзик перестал выходить в море с арабами, принялся удить с пирса, решив заработать деньги на фелюку продажей лески. Деньги копились медленно, хотя за леску платили хорошо, но изготавливать ее было непростым и трудоемким делом.

Зато рыба ловилась замечательно. Айзик забирался на дальний конец пирса, куда рыбки ленились ходить, садился на горячие камни спиной к солнцу и забрасывал крючок в темно-зеленую воду. Орфозы, разумеется, к пирсу не подходили даже близко, зато неплохо брала кефаль и хорошо шел чирус. Рыба не из дорогих, но Яффо славился своими бедняками, для которых такая рыбка была в самый раз. Как говаривали местные шутники, хотите жить долго, переезжайте в Яффо, там богачи умирают раз в двадцать лет.

Шейна купила на рынке деревянный ящик и приладила к нему веревочные лямки. На них же держался небольшой поднос, куда Айзик выкладывал рыбу. В конце дня он извлекал добычу из садка, укладывал в ящик, взваливал его на спину и начинал кружить по узким улочкам города. К тому времени он уже свободно изъяснялся и по-турецки и на арабском, и мог в точности копировать гортанные крики продавцов живой рыбы.

Вначале местные жители дивились на приезжего еврея, говорившего на их языке в точности, как они сами, потом выяснили цены, рассмотрели товар и стали брать.

– У этого Айзика особое везение, ему попадает только вкусная рыба, – говорили они. – Слово он какое знает или заклинание, но все, что у него покупаешь, просто тает во рту.

Деньги на фелюку начали собираться буквально на глазах. Айзик проводил на пирсе целые дни, хоть с наступлением лета это превратилось в довольно тяжелое занятие. Камни пирса раскалялись так, что сидеть приходилось на дощечке, иначе можно было обжечь ноги. Лужицы воды на пирсе, оставшиеся от ночного волнения, раскалялись, так, что в них можно было варить. Коты обходили горячие лужицы, брезгливо поджимая лапы. Подходя к рыбакам, они нещадно орали, требуя поделиться уловом. Особенно свирепствовал серый котиче с торчком стоящими ушами.

Айзик выходил из дома еще до света. По его глубокому убеждению, рыба хорошо брала, пока солнце не

поднималось над горизонтом и его лучи не начинали дырять воду. Рыба не нравился свет, и она уходила поглубже. Так оно было или не так, но у всякого рыболова есть свое представление о времени клева, которое он соблюдает с почти религиозным рвением.

Однажды утром, вернее, на исходе одной из ночей, выйдя за порог, он чуть не наступил на что-то живое. Живое отскочило в сторону и обиженно замыкало хриплым басом.

– А ты не сиди на пороге, – ответил ему Айзик. – Целее будешь.

Кот мякнул и пошел за ним следом. Придя на пирс, он по-хозяйски отогнал от Айзика конкурентов и улегся в ожидании. С того утра он прицепился к Айзику, точно репей.

Впрочем, других рыбаков он тоже не обделял вниманием. Если у Айзика долго не ловилось, кот поднимался, выгибая спину, и прогуливался по пирсу, останавливаясь возле другого объекта с удочкой в руках.

Интонации его хриплого баса были почти человеческими. Он начинал просяще, словно заводя разговор, его мяуканье было жалобным, дрожащим молением обиженного котенка.

– Пожалейте бедное животное, – слышалось в завываниях. – Вы большие и богатые, киньте рыбку несчастному голодному коту!

Если рыбак не обращал внимание на мольбу, кот менял интонацию на более требовательную.

– Так не хорошо, надо делиться. От одной рыбки у тебя не убудет, а мне это целый обед. Не жадничай, отвори садок!

Если же и это не помогало, то есть собеседник не понимал, когда с ним разговаривают вежливо, по-человечески, котяра начинал орать, как оглашенный. Никакие «кыш» и «пошел отсюда» не помогали. Уверенно держась за границей досягаемости, котище надсадно завывал хриплым басом. Выдержать его ораторию мог лишь человек с железными нервами, а такие на Востоке перевелись еще во времена царя Давида. В конце концов,

рыбаки, чертыхаясь и кляня на чем свет наглое животное, кидали ему рыбу, кот хватал ее всей пастью и немедленно замолкал.

Вернее, молчанием это можно было назвать только по сравнению с воем. Кот не просто рвал добычу на куски, при этом он то ли выл от восторга, то ли утробно урчал от восхищения. Сожрав все, кроме костей, головы и хвоста, котяра шатающейся походкой пьяницы уходил с пирса, отыскивал ближайшую тень, укладывался, вытягивал лапы, опускал на них голову и погружался в блаженное небытие. Спал он долго и сладко, так спят хорошо поработавшие люди с чистой совестью, а проснувшись, выходил на пирс искать новую жертву.

Разогнав после множества беспощадных битв других котов, он воцарился на пирсе, сделав его своей вотчиной. Айзик относился к нему снисходительно, по-свойски, ведь как ни крути, именно он привел сюда это наглое животное.

Слабину он дал уже в первый день. Один раз прослушав ораторию от начала до конца, на второй Айзик сразу после первого жалостного «мяу» достал из садка еще живую рыбку и бросил ее коту. Рыба заскакала по горячим камням пирса, стараясь упрыгнуть обратно в море, но тут кот показал, что он родственник, хоть и дальний, больших и серьезных хищников.

Вот это был прыжок! Так прыгают львы, с места, одним броском настигая добычу. Рыба просто не успела понять, откуда налетел этот вихрь – ее жизнь закончилась за одну секунду.

На следующий день Айзик, выходя из дому, тщательно смотрел под ноги, но на пороге было пусто. Кот появился, когда садке уже плавали несколько пойманных рыб. Не обращая внимания на прочих рыболовов, прошагал через весь пирс прямо к Айзику и требовательно произнес: мяу!

– Что, Вацек, – ласково спросил Айзик, вытаскивая садок. – Рыбки хочешь? На, кушай рыбку!

Вацеком он назвал кота в честь курувского ксендза Вацлава. Его серая масть цветом напоминала сутану, а растопыренные усы и глаза навывкате – физиономию

священнослужителя. Кот быстро стал откликаться на кличку - еще бы, ведь сразу за ней следовал обед.

Спустя неделю он, вместо того, чтобы уходить с пирса, стал находить себе приют в тени Айзика. Когда тень перемещалась, Вацек поднимался, выгибал спину и передвигался за тенью. Сердобольный Айзик наливал ему воды, кот вылакивал ее до капли, и в знак благодарности терся о ногу рыбака.

Глядя на пляшущую под солнечным ветром переливающуюся поверхность водной глади перед пирсом, и переводя то и дело взгляд на жаркую синеву морской дали, Айзик впадал в странное оцепенение, подобное сну с открытыми глазами. То ли мирно спящий рядом Вацек излучал сонные флюиды, то ли мир подавал зов, слышный немногим - поди разберись?

Поначалу Айзик действительно разговаривал с рыбами. Спрашивал, каково им там, в холодной морской глубине, напоминал, что Всевышний создал их, чтобы служить человеку. И нет у рыбы иной возможности выполнить до конца свою задачу, чем попасть на стол.

Особенно к еврею. Если тот съест вас, повторял Айзик, произнеся благословения до и после еды, то ваша маленькая рыбья душа поднимется к Источнику и соединится с ним в сияющей вышине. Разве это не лучше, чем попасться в зубы большей рыбе или, умерев от старости, сгнить на морском дне?

Если бы Шейна услышала его речи, она бы просто умерла от смеха, но Айзик никогда ей про них не рассказывал. Он вообще никого не посвящал в свои видения на пирсе, это было его личное дело, ступеньки его духовного пути.

Когда клевало, и поплавок резко уходил под воду, Айзик, почти не задумываясь, выполнял все необходимые действия. Руки сами знали, что им делать, почти не отвлекая голову от размышлений, спустя несколько минут очередная рыбка плюхалась в садок, а крючок, увлекаемый грузилом, опускался в глубину.

Долго разговаривать с рыбами не получалось – мысли перескакивали на другие темы. Айзик не удивлялся: думать об одном и том же могут только ангелы. Они созданы из стихии огня, поэтому и названы серафимы, сгорающие и способные весь свой век удерживать в себе только одну мысль, только одно поручение Всевышнего. А человек состоит из четырех основ: воды, воздуха, земли и огня, он - сложное многосоставное существо, и поэтому мысли его постоянно переходят от одного к другому. Это не порок и не грех, а правильное состояние человека, нужно только уметь с этим управляться.

Часто его посещали картины из, казалось бы, давно забытого детства. Почему именно эти картины шли на ум, Айзик не знал, но не сомневался, что есть в них смысл, намек с Небес, что ему хотят что-то подсказать, надоумить, направить, навести на мысль. Надо было только понять, на какую именно.

Несколько раз он вспоминал одну ту же историю из давно забытого детства. Почему именно ее? Почему сейчас – Айзик никак не мог сообразить.

В ту субботу он раньше обычного закончил играть с закадычным приятелем, Мотлом-Меиром, соседом по столу в хейдере. Мотл был сообразительным и веселым мальчиком, и они прекрасно ладили, особенно, когда дело доходило до проказ. Одно только раздражало Айзика - от приятеля невыносимо несло потом.

В ту субботу отец Мотла решил устроить сыну выволочку за очередную проделку, и в качестве наказания положил прочитать всю первую книгу псалмов. В итоге, вместо самозабвенных игр с Айзиком до завершения субботы, Мотл-Меир был вынужден отправиться вместе с отцом в синагогу, и пока тот сидел на уроке у ребе Михла, читать псалмы.

Расстроенный Айзик поплелся домой. Солнце уже подкатилось совсем близко к высокой крыше синагоги, это означало, что до конца субботы оставалось не больше двух часов. От нечего делать Айзик завернул на главную площадь Курува, поглядеть на тень от костела. Когда она

зачернит дома на противоположном конце площади, надо мчаться домой, скоро на город опустятся лиловые сумерки. Меламед в хейдере запрещал это делать, от костела нельзя получать даже малейшую пользу, но все мальчишки именно таким способом узнавали время в длинные летние субботы.

В это время дня площадь обычно пустовала. Евреи были заняты царицей субботой, а поляки и русские, покончив с делами, расходились по домам готовиться к наступавшему воскресенью. Тень была еще ох как далека от тротуара, то есть солнце над крышей синагоги показывало верное время. Айзик огорченно присвистнул и уже начал было поворачиваться, чтобы идти восвояси, как его глаз уловил какое-то сияние между булыжниками мостовой.

Преодолев расстояние за два прыжка, он замер, остолбенелый. Между булыжниками сияла и переливалась на солнце золотая монета. Да-да, настоящая золотая монета, большое богатство не только для мальчишки, но и для целой семьи. В доме у Айзика такие монеты сроду не водились, он только слышал, что они существуют на свете, но никогда до сих пор не видел ничего подобного. Сколько всего можно купить на такую монету! Сколько радости он доставит матери и отцу, когда гордо выложит ее на стол! Наверное, какой-то богач-иноверец обронил ее на центральной площади и, не заметив потери, пошел дальше по своим делам.

Айзик наклонился и протянул руку, чтобы подобрать желтый кружочек, да так и замер, не донеся пальцы до монеты.

«Суббота, ведь сегодня святая суббота! Нельзя прикасаться к деньгам, абсолютно запрещено поднимать с пола монеты и класть их в карман. Но что же делать?! Разве можно оставить ее здесь до конца субботы? Кто-нибудь найдет мою монету и заберет ее себе!»

За несколько секунд обладания Айзик успел свыкнуться с мыслью, что золотой уже принадлежит ему, и одна мысль об его утере острой болью кольнула виски.

Выход был только один. Айзик встал на булыжники так, что его нога скрыла золотой. Теперь никто не мог догадаться, что прячется под подошвой его сапога. Оставалось лишь дожидаться конца субботы, произнести фразу отделения святого дня от будней и забрать монету.

Время тянулось бесконечно. Тень от костела просто приклеилась к мостовой и совершенно не желала приближаться к противоположной стороне площади. Да и стоять на одном месте было очень неудобно. Айзик менял ноги, приседал, поворачивался налево и направо, но ему, в жизни своей не сидевшему спокойно больше трех минут, это казалось невыносимой пыткой. В конце концов он принялся водить по камням свободной от стражи ногой, и это немного скрашивало томительность стояния.

Спустя час, когда тень заметно придвинулась к тротуару, на площади появился водовоз Янек. Был он слегка навеселе по случаю надвигающегося воскресенья, и душе хотелось праздника, причем прямо сейчас и немедленно. Лучшим праздником для водовоза было над кем-нибудь покуражиться. Случаев таких в его жизни выпадало немного, ведь среди поляков Курува он считался одним из наименее уважаемых людей – водовоз, скандалист и пьяница, пфе! Отыгрываться удавалось только на жидах, и сейчас с Небес послали ему возможность отвести душу перед воскресеньем.

Приближаясь к жидку, он заметил, что мальчишка ведет себя весьма странно, одна его нога словно приклеилась к месту, зато второй он выделявал по мостовой странные кренделя.

– Что ты прячешь, жидяра? – издали заорал Янек. – А ну покажи.

– Ничего я не прячу, – ответил Айзик, не сходя с места. – И показывать вам ничего не собираюсь.

– Да как ты разговариваешь со старшими? – возмутился Янек. – Этому тебя родители учат?

Айзик ничего не ответил, но и с места своего не сошел.

– Забыл, кто здесь хозяин? – взревел Янек. – А ну говори, кто тут главный, я хочу услышать.

– Бог здесь главный, – твердо произнес Айзик. – И в Курове, и в Польше, и во всем мире.

Не выдержав такой наглости, Янек подскочил к Айзику и отвесил ему такую затрещину, что тот свалился на землю почти без чувств.

– Скажите на милость, – заорал Янек, поднимая золотой. – Как в Курове не быть нищете и беспорядку, если каждый жиденек прячет под сапогом золотую монету?

Сунув в карман, он решительно двинулся в сторону шинка. Подступающее воскресенье обещало выдаться на особицу удачным.

Айзик зарыдал. Счастье закончилось, едва успев начаться. И главное – как! Такого подлого, бессовестного грабежа он еще ни разу не переживал. Бывали, конечно, стычки с приятелями из-за игрушек, бывали драки с мальчишками иноверцами, когда у него отбирали битую или красивое перышко, но все это были пустяки, забавы. Теперь его ограбили самым настоящим образом, и голова до сих пор гудела от полученной затрещины.

Размазывая по лицу слезы и утирая рукавом нос, из которого предательски капало, Айзик побежал в синагогу, пожаловаться отцу. Вряд ли бы тот мог помочь беде, но он не мог сдержать обиду внутри, она рвалась наружу, горьким комом подступая к горлу.

И в синагоге и в боковой комнате, где проходил урок, было пусто. Видимо, послеполуденная молитва уже завершилась, и мужчины разошлись по домам на третью, последнюю трапезу субботы.

– Айзик, почему ты плачешь? – ребе Михл вышел из-за колонны. Если бы Айзика спросили, был ли кто-нибудь в синагоге, он мог бы поклясться, нет, меламед в хейдере учил, что клясться нельзя, он мог бы самым строгим образом заявить, что в синагоге не было ни души. Но вот ребе Михл, не появился же он из воздуха, значит, он и в самом деле находился в синагоге, только Айзик его не заметил.

Продолжая плакать, Айзик рассказал все раввину.

– Давай вернемся к этому разговору после завершения субботы, – предложил ребе Михл. – После авдалы приходи ко мне. Скажи отцу и матери, что я велел.

Айзик молча кивнул.

– А пока не рассказывай никому о монете, договорились? Вот и хорошо! Утри слезы и беги домой.

К ребе он отправился лишь после трапезы проводов субботы.

– Сначала ребенок должен поужинать, – заявила мать, узнав от отца, что их сына ожидает раввин. – А все остальное потом.

Айзик, даваясь, проглотил ужин. Честно говоря, после завершения субботы он обычно бывал очень голоден, но сегодня кусок не лез в горло.

– Только не задерживайся нигде, – велела мать. – Поговоришь с ребе и сразу домой.

У ребе Михла трапеза еще не закончилась. Ярко горели свечи в надраенных серебряных подсвечниках, гости чинно сидели за столом, слушая раввина. Айзик был уверен, что ребе не заметит его появления, но он сразу ласково улыбнулся и подозвал его к себе.

– Простите нас, уважаемые господа, – сказал он, обращаясь к гостям. – У нас с этим молодым человеком есть важное дело.

Он встал со своего места, положил руку на плечо Айзика, вывел его в соседнюю комнату и плотно затворил за собой дверь.

– Ты такую монету видел? – спросил раввин, доставая из кармана золотой.

– Да, – кивнул Айзик.

– Она твоя, – продолжил реб Михл, – но при одном условии. Заслуга твоего терпения, когда ты больше часа не трогал монету, станет моей. Золотой твой, а заслуга – моя. Договорились?

Айзик на секунду задумался, а потом выпалил:

– Нет, я не согласен.

– Почему? – искренне удивился раввин. – Вот золотая монета, настоящая, тяжелая. На нее можно купить много

красивых и удобных вещей, много сладких пряников, орехов и конфет. А заслуга... кто ее видел, кто знает, где она. Давай, соглашайся.

Айзик хорошо понимал, что раввин играет с ним в игру. Он хорошо помнил его субботние проповеди о заслугах исполнения заповедей, и то, что об этом говорил отец, и то, чему учил меламед, и истории из жизни праведников, которые мама рассказывала ему перед сном. Все это ну никак не вязалось с предложением ребе Михла.

– Нет, – снова повторил Айзик, – нет!

– Вот и хорошо, – произнес раввин. – А теперь беги домой, мама, наверняка, велела нигде не задерживаться?

Золотую монету ребе подарил Айзику спустя несколько лет, на праздновании бар-мицвы, а преподанный им урок он запомнил надолго. Надолго, но не навсегда. Золотой Айзик отдал маме, и та потратила его, он уже и не помнит на что, а сама история спустя несколько лет после бар-мицвы полностью изгладилась из его памяти.

Он вспомнил о ней, сидя на пирсе в Яффо и наблюдая за трепещущей лазурной поверхностью моря. Почему именно она всплыла из глубин его памяти и почему именно сейчас? История с золотым и заслуга исполнения заповедей не имела никакого отношения к его теперешней жизни. Если Небеса хотели подсказать что-то, надоумить, направить, почему Они сделали это в такой туманной, загадочной форме?

Долго ли, коротко ли пролетели полгода, и мечта о фелюке сбылась. Айзик выбрал небольшую пятиместную лодку, меньше просто не делали, и стал в одиночку ходить в ней на камни. С собой он брал только Вацека. Впрочем, слово "брал" тут не совсем уместно – скорее кот брал его с собой.

Вацек вел себя в фелюке, как настоящий хозяин. Первым запрыгивал на борт, деловито обходил лодку, топорща усы и засовывая свой нос во все щели, словно проверяя готовность, затем оборачивался к Айзику и зычным «мяу» подавал знак, что можно садиться.

Пока фелюка добиралась до камней и становилась на якорь, он блаженно дремал на передней банке. Свежий морской ветерок шевелил шерсть на его спине и голубой бант на шее, но Вацек не удостоивал ветер ни малейшим вниманием. За полгода дружбы с Айзиком он изрядно поправился, шерсть стала блестеть и лосниться. Шейна поначалу гоняла кота метлой, но потом привыкла и сменила гнев на милость.

– Он напоминает мне нашего домашнего Кецеле, – призналась она. – Я его в детстве очень любила, пока он, сидя у меня на руках, не увидел опустившегося рядом голубя, кинулся за добычей и разорвал мне когтем мочку уха. Видишь шрам?

Шейна сдвинула платок и показала мужу шрам, косо пересекавший мочку правого уха.

– С тех пор я перестала любить котов. Они ведь звери, дикие звери, живущие рядом с нами. Но Вацлав... он какой-то особенный. Ты знаешь, иногда, когда ты на пирсе, он приходит ко мне, садится рядом, начинает мурлыкать - и мне кажется, нет, конечно, я сама это придумываю, что с тобой все в порядке, ты поймал много рыбы и послал кота сообщить мне об этом.

– Я никогда его не посылаю, – возразил Айзик. – Да его и невозможно послать, он делает только то, что сам считает нужным.

– В этом коте прячется человеческая душа, – ответила Шейна. – Женская душа. Хоть он и Вацек, я точно знаю, что это женщина.

И как доказательство своих слов, Шейна повязала Вацеку на шею голубой бант. Айзик был уверен, что кот немедленно избавится от этой тряпки, однако тот не обратил на нее никакого внимания и, к вящему изумлению жителей Яффо, продолжал расхаживать с бантом еще несколько дней. В конце концов, он за что-то зацепился, и прибежал к Шейне с развязавшейся голубой ленточкой.

Шейна погладила Вацека и снова повязала ему бант. Она было единственным человеком, кому он давал себя гладить. Айзик несколько раз протягивал руки, чтобы

почесать Вацека за серым ушком, но тот выгибал спину и угрожающе шипел.

История бантом повторилась спустя два дня, и опять Вацек прибежал к хозяйке. Он точно понимал, к кому и по какому поводу надо обращаться.

Когда фелюка останавливалась, Айзик, опустив якорь, начинал возиться со снастями. Тут Вацек просыпался, выгибал спину и обходил лодку по планширу. Держался он как бывалый моряк, раскачивание фелюки на волнах его совершенно не смущало. Выбрав по каким-то лишь ему ведомым причинам место, он зычно мяукал и возвращался на банку.

Айзик уже знал, забрасывать снасти нужно именно в том месте, которое выбрал Вацек. Кот его никогда не подводил, и орфоз начинал ловиться почти сразу, причем брали не большие рыбины, а маленькие, наиболее дорогие рыбешки.

Первую добычу Айзик честно отдавал коту. Тот уписывал ее целиком, отставляя только кости, и сразу погружался в блаженный сон. Проходил час, полтора, садок потихоньку наполнялся рыбой, и Айзик начинал беседовать с орфозами. Он умолял их не обижаться, ведь каждый делает то, ради чего создан. Рыбы - чтобы кормить собой людей, а люди с помощью жизненной силы, полученной от рыб, славить Всевышнего, исполнять заповеди, увеличивать род человеческий на земле.

К полудню Айзик возвращался в порт, переключившись с орфозов в деревянный ящик, забрасывал его за спину и пускался в недолгий путь по улочкам Яффо. Цену он не ломил, чем сильно раздражал Шейну.

– Когда я утром просыпаюсь перед тем, как отправиться в море, – отвечал ей Айзик, – Бог говорит мне: продавай дешево!

– Бог ему говорит! – усмехалась Шейна. – Так ты у меня пророк, да? Только на небо, пожалуйста, живым не возносись, что я тут одна делать буду.

Айзик в ответ лишь пожимал плечами. Но Шейна не успокаивалась:

– А как это Бог с тобой разговаривает, а? Вот так прямо и зовет: Айзик, Айзик! А ты ему отвечаешь, вот я, так?

– Нет, не так. Просто я понимаю, что нужно вести себя определенным образом. Вчера, скажем, не понимал, а сегодня понял.

– Ну, и причем здесь Бог? Это у всех людей так, все люди соображают, как себя вести, но почему-то никто не называет свои домыслы разговором со Всевышним.

– Бог разговаривает со всеми, Шейна. Только не все понимают это. А вернее, не хотят понимать. Потому, что Его слова очень часто идут вразрез с тем, что человеку хочется делать. Вот он и выкидывает из головы слова Бога, решая, будто это всего лишь его собственные мысли.

– Да ну тебя, – махала рукой Шейна. – У тебя на каждое слово три ответа, да? Я простая, неграмотная еврейская женщина. Мне нужно, чтобы муж зарабатывал, иначе я не смогу вести дом, справлять субботы и праздники. Хочешь продавать дешево – лови больше.

– Ну, это уж как Бог даст, – отвечал Айзик и уходил в порт.

Путь по улицам Яффо с коробом за плечами был недолгим потому, что его уже ждали. Молва о еврее, дешево продающем маленьких орфозов, быстро пронеслась по городу, и от желающих первыми выхватить у простофили рыбку получше отбою не было. На круг Айзик стал неплохо зарабатывать, правда, на это уходило почти все его время, зато Шейна перестала пачкать руки вонючими арабскими шальварами.

Чем она занималась целыми днями, Айзик не знал, да и не спрашивал. В доме все сверкало, к его приходу всегда был готов горячий обед, каждую субботу Шейна устраивал пиршество из любимых ими обоими блюд, что еще надо?

В общем-то, жизнь почти наладилась, кроме одного, сильно мешающего Айзику обстоятельства. Путь из порта в город пролегал мимо квартала красных фонарей. Обойти его было невозможно, наверное, устроители специально расположили его так, чтобы истосковавшиеся по женской

ласке моряки, возвращавшиеся из плавания, первым делом тратили свои деньги именно здесь.

Главная служба в квартале начиналась вечером, а после полудня выспавшиеся полураздетые одалиски висели от нечего делать в окнах, и задевали прохожих. Айзика они обожали, стоило ему только появиться на ступеньках лестницы, ведущей из порта, как на него обрушивался град насмешек. Особо ретивые одалиски обнажались до пояса и зазывно потрясали своим крупным товаром.

– Заходи к нам, рыбачек, – кричали они. – Рыбка за рыбку, договорились? Как у нас, ты еще не отвеживал, жена так не умеет.

Чтобы не отвечать одалискам, Айзик стал брать с собой книжечку псалмов и, подходя к веселому кварталу, утыкался в нее носом. Поначалу девушки опешили, но потом шквал насмешек только усилился.

– Святоша, праведник рыбный, вали сюда, мы тебя поджарим на наших лохматых сковородках, – орали они, но Айзик не поднимая глаз и не переставая читать псалмы, быстро проходил мимо. Вацек вышагивал рядом и злобно шипел на шлюх.

Прошло еще полгода, а может, и больше. Жизнь у Айзика вошла в колею и поэтому пролетала очень быстро. Его любимое развлечение, его забава, его страсть, за которую он выслушал немало упреков и укоров, внезапно превратилась в работу, приносящую хороший доход. Он отдавался ей полностью, и был счастлив, как может быть счастлив человек, занимающийся любимым делом.

В Яффо проживало немало евреев, так что не было недостатка ни в миньяне для молитвы, ни в уроках, ни в общении. Всего того, из чего складывается еврейская жизнь, в Яффо хватало и, возвращаясь в субботу вечером после молитвы, Айзик уже открыто признавался самому себе, что счастлив.

Вечером одного из дней, ничем не отличавшегося от предыдущих и как две капли воды походившим на будущие, Шейна затеяла странный разговор.

– Что ты собираешься делать дальше, Айзик? – спросила она, собрав посуду после ужина и поставив перед мужем кружку с дымящимся чаем.

– Я не понимаю твоего вопроса, Шейна.

– Мы продолжим снимать эту убогую халупу, ты будешь целыми днями пропадать на своей фелюке, а я выть от тоски одна в четырех стенах?

– Ну, если тебе не нравится этот домик, можем снять что-нибудь побольше и поновее, денег, благодарение Всевышнему, я зарабатываю достаточно. Что же касается одной в четырех стенах, даст Бог, пойдут дети и положение изменится. Еще немножко терпения, милая, и все обязательно наладится, мы же с тобой стараемся, чтобы это произошло.

– Ах, оставь, – раздраженно буркнула Шейна. – Кто это может знать и предвидеть. Я имею в виду совсем иное. Я хочу свой дом в Иерусалиме.

– Свой дом в Иерусалиме! – ахнул Айзик. – Неплохое желание, нечего сказать. Но ты, наверное, забыла, сколько стоит исполнение этого желания? Придется подождать, я пока еще не наловил такого количества орфозов. И признаюсь тебе честно, вряд ли когда-нибудь наловлю.

– Честный мой! Рыбный праведник! На вот, почитай, – и она протянула ему конверт.

Прежде чем вытащить содержимое, Айзик внимательно рассмотрел конверт. Письмо пришло из Курува, от реб Гейче, отца Шейны.

– Наслышан, наслышан о ваших злоключениях, – писал реб Гейче. – Айзик, дорогой мой зять, прими самые искренние соболезнования. Пусть твой отец упокоится с миром в Святой Земле. Теперь, после того, как долг почитания родителей исполнен тобой до конца, ничто не мешает вам вернуться домой, в Курув. Отдохнете, наберетесь сил, расскажете, что значит жить в Иерусалиме и Яффо. А если же вам по душе остаться на Святой Земле, я дам деньги на покупку своего дома, чтобы не ютиться больше по чужим углам.

– Ты хочешь вернуться в Курув, Шейна? – поднял глаза на жену Айзик.

– Я бы мечтала вновь оказаться в родной Галиции, – ответила Шейна, по-детски шмыгнув носом. – Но ты же знаешь, обратного переезда я не выдержу. В Польшу ты привезешь мой труп.

– Так что будем делать?

– А вот что. В Курув поедешь ты один. Отец даст денег не только на покупку дома, но и на приобретение лавочки. Мы вернемся в Иерусалим, купим дом, откроем свое дело.

– Какое дело, Шейна?

– Предоставь это мне. А на рыбалку будешь ездить раз в два месяца, отводить душу и привозить свежую рыбу. Я поехала за тобой из Галиции в Палестину, а теперь ты езжай за мной из Яффо в Иерусалим.

Шейна была столь категорична, что Айзик не стал спорить, и решил обождать пару дней, пока улягутся волны страстей, поднятые получением письма. И оказался не прав. Возрази он сразу и решительно, возможно, что-нибудь еще можно было изменить, но с каждым уходящим днем Шейна лишь укреплялась в своей позиции. Выход был один - ехать в Курув, брать деньги, возвращаться с ними в Яффо и надеяться на лучшее, уповая на милость Вседержителя Израилева.

Через три дня, стоя на корме кадырги «Гок», Айзик наблюдал, как постепенно растворяется в тумане белый город на пригорке. Кричали чайки, плавилась под жаркими лучами солнца смола в щелях палубы, скрипели корабельные снасти. Вместе с берегом уходила назад часть жизни Айзика, неотвратимо превращаясь в прошлое. Ему казалось, будто вот-вот перед ним распахнутся глубины постижения смысла происходящего, и он поймет что-то важное и значительное.

«Так ли я прожил эти два года? – спрашивал он себя. – Не ошибся, не оступился, не дал слабину?»

И чем больше он думал о времени, проведенном на Святой Земле, тем больше укреплялся в мысли, что винить себя не в чем, все было сделано правильно.

Кадырга «Гок» была Айзику хорошо знакома. Именно на ней он с Шейной прибыл в Яффо из Стамбула, и вот сейчас возвращался обратно. Кадырга была единственным судном, совершавшим регулярные рейсы, так что особенно перебирать не приходилось. Конечно, бегали туда и сюда утлые торговые суденышки, ходили корабли османского военного флота, но на первые даже смотреть было страшно, а вторые пассажиров не брали.

«Гок», двухмачтовое с латинским парусным вооружением, солидное судно, неспешно переваливалось на волнах. Капитан и команда уже сотни раз проделывали этот путь и, как хвастался повар, знали в лицо каждую чайку по дороге на Стамбул. Поэтому ближайшие дни для Айзика были заполнены сплошным бездельем, пассажирам на борту кадырги во время поездки деть себя было некуда.

Когда берег окончательно скрылся в дымке, а глубины постижения так и не раскрылись перед его мысленным взором, он отыскал удобное место в тени и достал припасенную книгу. «Рейшис хохма» – «Начало мудрости» – трактат, написанный в Цфате ребе Элияу ди-Видасом, мужем, посвященным в тайны скрытого знания самим Аризалем. Айзик давно подбирался к этой книге, да все руки не доходили. Сейчас, по дороге в Стамбул, он намеревался крепко за нее взяться.

Увы, не получилось! Не успел он перевернуть первую страницу, как рядом с ним на палубу уселся попутчик. Айзик уже обратил на него внимание: средних лет, с лицом, заросшим рыжей бородой и украшенный тугими завитками сверкающих на солнце рыжих пейсов. Выглядел он как еврей, хотя одежда на нем была странная, хорошо знакомая Айзику арабская галабие, и турецкая красная феска.

– Давайте познакомимся, – произнес попутчик, ласково улыбаясь. – Меня зовут Мрари, я котев, писец из Хеврона.

– Айзик, рыбак из Яффо.

– Вы родились в Яффо? – удивленно спросил Мрари.

– Нет, конечно. Я из Курува, есть такое местечко в Польше.

– Замечательно! Сколько поколений ваша семья там проживает?

– Я только второе поколение, евреи поселились в Куруве совсем недавно. А вы? Давно ваш род перебрался в Хеврон? И откуда?

– Лет четыреста, а может и больше, – махнул рукой Мрари. – А откуда, никто и не помнит. Я думаю, что из Египта. Вы, наверное, удивляетесь моему странному виду, – продолжая улыбаться, произнес Мрари. – Но у нас, в Хевроне, все так ходят.

– Едете в Стамбул?

– Только на несколько дней. А потом по делам общины необходимо оказаться в Варшаве и Кракове, а оттуда в Данциг и Лодзь. Целый месяц придется ночевать под чужими крышами и ходить под чужим небом.

– Так вы будете совсем недалеко от Курува. Я тоже еду в эти места, правда, задержусь подольше.

– Ну, вы там дома, – тяжело вздохнул Мрари. – А я, признаться, дальше Цфата и Иерусалима ни разу не забирался. Для меня эта поездка – нож острый.

– Едете собирать деньги на нужды общины? – спросил Айзик.

– Совершенно верно! – просиял Мрари. Его глаза засверкали так, словно собеседник высказал очень умную и неожиданную для него мысль. – Я вижу, вы человек проникательный - может, подскажите мне несколько вещей?

- С удовольствием, если смогу, конечно, – улыбнулся в ответ Айзик. – Времени у нас хоть отбавляй...

– Я давно хотел посоветоваться с ашкеназским евреем, как себя вести, что надевать, чего опасаться. Пытался в Яффо поговорить, но народ там не очень разговорчивый и не шибко доброжелательный.

– Как так? – удивился Айзик. – А мне казалось, будто яффские евреи весьма приветливы.

– Ну, это к кому как, – вздохнул Мрари. – Со мной они не особо любезничали.

И завязался, потек под завывание ветра в снастях и шипение волн за бортом неспешный, подробный разговор. Мрари оказался замечательным собеседником, его интересовало все, и он умело вызывал собеседника на откровенность. Впрочем, как бы в обмен за любезность, он щедро рассказывал о себе, о своей семье, о Хевроне, Пещере Патриархов. Айзик сначала дивился странным обычаям сефардских евреев, но быстро привык, и с интересом выспрашивал подробности.

Разумеется, оба много и подробно говорили о своих семьях, Мрари сетовал на тяжелую участь женщин Хеврона, вынужденных подражать принятым среди арабов правилам и выходящим на улицу закутанными с головы до ног, в чадре до глаз.

– Моя Наама постоянно жалуется, – сетовал он. – Каждый раз, возвращаясь с рынка, она вынуждена менять всю одежду. Лето у нас жаркое, и ее галабие намокает от пота так, словно его окунули в бочку с водой. Правда, наш раввин утверждает, будто самые изумительные благовония в раю настояны на капельках пота благочестивых еврейских женщин, носящих скромную одежду, но жену это мало утешает.

Откровенность за откровенность. Айзик рассказывал о ждущей его Шейне, об их спорах, где жить, в Иерусалиме или Яффо, о морской болезни жены и о многом другом, что само выбалтывается в длинном, многодневном разговоре.

Коснулись и морских переходов.

– Сам-то я еще тот путешественник, – разводил руками Мрари, – но у нас в общине есть купцы, которые три-четыре раза в год навещают Стамбул, Измир, Констанцу. Так вот они меня предостерегли, садиться только на «Гок». Они много плавали по морю, видели всякие скорлупы, не приведи Господь. Это самое надежное, прочное и верное судно из всех, что ходит из Яффо в другие порты. Наши купцы плавают только на нем и искренне советовали не скупиться, заплатить больше за проезд, но не рисковать жизнью.

– Да-да, – соглашался Айзик. – Это моя вторая поездка на «Гоке». Мы с женой на нем приплыли на Святую Землю.

– Обратно тоже садитесь только на «Гок», – советовал Мрари.

– Разумеется, – соглашался Айзик.

– Кстати, – ввернул Мрари в конце одной из бесед, – я ведь возвращаюсь раньше, если хотите, могу передать весточку вашей жене. Прежде чем вернуться в Хеврон, мне придется провести в Яффо день или два. Ох, с какой радостью я бы прямо сейчас бросил все свои занятия и вернулся домой, к моей любимой Нааме.

– Конечно! – воскликнул Айзик. – Огромное спасибо, прямо сейчас и напишу.

Он спустился в каюту, достал письменные принадлежности, сел и, опершись локтями о мерно покачивающийся стол, стал думать, о чем писать. Собственно, еще ничего не произошло, никаких новостей, никаких перемен. Посидев несколько минут, он вдруг понял, и, обмакнув перо в чернильницу, быстро нацарапал несколько строк.

«Скучаю, очень скучаю. Только в разлуке понял, как тебя не хватает. Наверное, не все между нами было гладко, пожалуйста, не сердись. Давай оставим наши размолвки и разногласия в прошлом. Когда я вернусь, обещаю, что все будет по-иному. Встречай меня ровно через два месяца, я вернусь на «Гоке». Твой любящий муж, Айзик».

Мрари почтительно принял сложенный вчетверо листок, спрятал письмо во внутренний карман и пообещал доставить в целости и сохранности.

За беседами время текло быстро, и когда утром четвертого дня путешествия на горизонте появился берег Турции, Айзик уже считал Мрари одним из близких друзей. Наверное, тот испытывал схожие чувства; на берегу, прощаясь, они крепко обнялись и дали друг другу слово по возвращении домой обязательно продолжить знакомство.

Через четыре дня Айзик был уже в Констанце, а потом почти две недели трясся на телеге до Могилева-Турецкого,

немилосердно страдая от скуки, одиночества и разбитых дорог.

В Куруве ничего не изменилось. Такие же сиреневые облака перед закатом, аромат цветущих лип, прохладный ветерок, несущий свежесть полей, быстрое пришепетывание Курувки. Первые несколько дней гости валили валом: братья, родственники, соседи – всем хотелось узнать, как живут на Святой Земле, чем дышит Иерусалим на восходе солнца. Айзик говорил, говорил и говорил, пока реб Гейче попросту перестал открывать дверь посетителям.

– Дайте человеку отдохнуть после долгой дороги, – пояснял он. – Придет в себя, отдышится, тогда и пытайте.

Айзик сидел в бывшей его и Шейны комнате в мезонине, смотрел на окрестные поля, а перед глазами мерцало и переливалось Средиземное море.

Реб Гейче за ужином и завтраком, обедал он у себя в конторе, осторожно расспрашивал его о Шейне, и про их жизнь. В отличие от других курувцев, его интересовали домашние потребности: сколько стоят дрова для печки, как часто нужно ее протапливать, чтобы в доме не стыли ноги, какие цены на рынке, как управляется с домашним хозяйством Шейна.

– Ей удалось выучить хотя бы несколько слов турецки? – с тревогой спрашивал реб Гейче.

– Еще как удалось! – смеялся Айзик. – Если бы вы слышали, как она стрекочет с соседками на ладино, сефардском идише, вы бы подумали, что это ее родной язык. На рынке она покупает только у еврейских продавцов, так что турецкий и арабский ей пока без надобности.

Он много рассказывал тестю про жизнь в Иерусалиме и Яффо. Про вонь от ослиной мочи на улицах старого города, про злобных арабских мальчишек, про неприветливых ашкеназских раввинов, так не похожих на ребе Михла, про кражу денег, оставленных отцом, про орфозов, Яффо, кота Вацека, лазурное море ранним утром, и о том, какими милые бывают сефарды из Хеврона.

– Я вижу, вам порядочно досталось, – сказал реб Гейче, после трех дней рассказов. – Ну, теперь все пойдет по-другому. Ты возьмешь с собой только треть суммы, а две трети я уже переправил на Святую Землю верному человеку. Купите дом, где захотите, в Иерусалиме или Яффо, откроете лавку или продолжите ловить и продавать рыбу, но Шейне больше не придется стирать грязное белье и ютиться по чужим углам. Кстати, я вижу, ты изрядно наловился - раньше каждую свободную минуту проводил на речке, а теперь даже близко не подходишь.

– И в самом деле! – хлопнул себя по лбу Айзик.

Через два часа он уже сидел с удочкой на берегу Курувки. Смотрел на воду, на противоположный берег, слушал трескучие крики соек, чириканье воробьев и думал, что здесь все осталось по-прежнему.

Речная рыбалка была совсем иной, чем морская: милая, добрая, домашняя, ласковая. Ему хотелось расцеловать каждую пойманную рыбку, но вместо поцелуя он снимал ее с крючка и бросал обратно в речку. Отдохновение и покой, тишина и умиротворенность царили над Курувкой, и Айзик наслаждался ими, как наслаждается водой из родника заблудившийся в пустыне путник.

Прошли три недели, и в его душе все переменялось. Он с удивлением рассматривал простенькое серое небо, мелководную речку, унылые холмы и в который раз спрашивал себя: что ему могло тут нравиться? Теперь Айзик с тоской вспоминал горячий блеск средиземноморской волны и желтый шар солнца над Храмовой горой. А вид на песочно-желтую иудейскую пустыню и розовые Моавитские горы, который открывался с Масличной горы, просто не отходил от сердца.

Через месяц он понял – пора возвращаться. Но прежде, чем объявить это во всеуслышание, решил посоветоваться с ребе Михлом.

– Святая Земля зовет, – сказал раввин, выслушал сбивчивый рассказ Айзика. – Есть души, которые слышат этот зов, а есть такие, что пропускают его мимо ушей. Ты слышишь, поэтому место твое там. Собирайся, и с Богом.

За два дня до отъезда реб Гейче, немного взволнованный, вошел в комнату Айзика. До ужина оставалось еще три часа, и появления тестя в неурочное время слегка обеспокоило Айзика. Обычно тот никогда не изменял распорядок своего дня, по его приходам и уходам можно было сверять часы. Если он вернулся домой раньше обычного, значит, что-то произошло.

– Послушай меня, – сказал реб Гейче, отдышавшись и успокоившись. – Не езжай через Констанцу. Спустись по Днестру до Аккермана, там, несомненно, отыщется турецкое военное судно. На нем доберешься до Стамбула. Так будет надежнее и спокойнее.

– Кто же меня пустит на военное судно? – удивился Айзик.

– Пустят. Обещаю, что пустят.

– Но зачем нужно такое усложнение? Как я приехал в Курув, так и вернусь обратно.

– Не могу тебе сказать. Вернее, не могу объяснить. Но сегодня я понял, что возвращаться ты обязан другим путем, не тем, по которому добрался сюда.

– Реб Гейче! Что вы такое говорите! Мы же взрослые, разумные люди, на основании чего вы предлагаете мне столь существенно удлинить дорогу?

Тесть только головой покачал.

– Сердце мне подсказывает, Айзик. Других доводов нет. Но я думаю, к этому тоже стоит прислушаться.

На второй день после отъезда мужа Шейна собрала вещи, заперла дверь на большой висячий замок и, не обращая внимания на возмущенное мяуканье брошенного на произвол судьбы Вацека, уехала в Иерусалим. Там, в святом городе, под небом цвета бирюзы, вдыхая свежий воздух горных высот, она провела одну из самых счастливых недель своей жизни.

Шейна поселилась у подруги в еврейском квартале старого города и без конца общалась с многочисленными подружками-кумушками, по которым так истосковалась ее душа. Позавтракав в одном доме и всласть обсудив

насущенные проблемы его хозяйки и свои собственные, к обеду она переходила к другой подруге, где продолжала беседу до той поры, пока не приходило время ужина в третьем доме.

Ах, улицы святого города, наполненные благоуханной темнотой, прорежаемой лишь желтыми полосками света от редких фонарей. Узкий серпик луны висит в черно-фиолетовом небе, тысячи лет еврейской истории смотрят на них с вершины Храмовой горы. Покой и благодать, тишина и святость!

Шейна неспешно шла по улочкам к дому очередной подруги и вспоминала бедолагу Айзика. Где этот горемыка находил вонь ослиной мочи, откуда валились на его запыленную голову злые арабские мальчишки, Шейна никак не могла взять в толк. Для нее старый Иерусалим был полон уюта и благоденствия!

Целую неделю, не помня себя от счастья, она наслаждалась святостью города, пока на исходе субботы ее не остановила на улице незнакомая женщина.

– Раввин Бецалель просил тебя предупредить, – шепотом произнесла она. – Будь осторожна, за тобой гонится демон.

– Демон! За мной? Да что ему от меня надо?!

– Раввин сказал, что ты просто ему приглянулась.

– Боже, какая ерунда! – фыркнула Шейна и ушла, прервав разговор. Перед ее мысленным взором сразу возникло лицо отца, и его улыбка, когда она, еще девчонкой, пересказывала услышанные от подружек страсти про бесов и демонов.

– Есть вера, – назидательно повторял реб Гейче, – а есть суеверие. Еврей обязан следовать законам первой и держаться подальше от второго. Праздность развращает, на бездельника черти липнут.

Тогда она сердилась на отца, за то, что тот не отвечал по существу на страшные истории, которые девушки и девочки рассказывали свистящим шепотом на женской половине синагоги во время молитвы. Но теперь эти слова сами собой всплыли в ее голове.

Добравшись до подруги, выпив чаю и наскоро, часа за два, обсудив самые важные и насущные проблемы, она все-таки спросила:

– Кто такой раввин Бецалель?

– О-о-о, – уважительно протянула подруга. – Это глава ешивы каббалистов старого города. Очень уважаемый мудрец. А почему ты спрашиваешь?

– Да так, просто слышала имя.

Вечером, оставшись одна в своей комнате и плотно притворив дверь, Шейна присела на кровать и задумалась.

«Так кто же за мной гонится? Никто. Некому за мной гнаться. Все это просто ерунда, досужие домыслы. И раввин Бецалель тут не причем. Незнакомка сама придумала. Жаль, я не спросила, как ее зовут. Скорее всего, она просто сумасшедшая. Нужно выбросить это из головы. Забыть, словно не было никогда».

Шейна хлопнула руками по коленям, желая убить воспоминание о глупом разговоре, точно надоедливую муху, и стала укладываться спать.

Она проснулась до рассвета, и долго лежала не шевелясь, пытаясь понять, что теперь делать. Воспоминание не только не ушло из памяти, а наоборот, завладело ею целиком. О чем бы ни пыталась подумать Шейна, ее мысли сворачивали ко вчерашнему разговору.

«Похоже, моему счастью в Иерусалиме пришел конец, – решила она. – Пора возвращаться домой, в Яффо, и приниматься за работу. Праздность развращает, на бездельника черти липнут».

Вацек, уже без ленточки, сидел на пороге, с весьма насупленным видом. При виде Шейны он заорал хриплым басом и начал драть когтями косяк.

– Сейчас, сейчас, – попыталась успокоить его Шейна, отпирая замок. – Дай в дом войти.

Но Вацек орал, не замолкая ни на минуту, пока не получил кусок соленого орфоза. Откусив, он с недоумением посмотрел на хозяйку.

– Это что за фокусы? – говорил его взгляд. – Ты что, не знаешь, коты не едят соленую рыбу.

– А ничего другого нет, – огрызнулась Шейна. – Или ешь, что дают, или жди, пока я схожу на рынок.

Вацек прорычал что-то невразумительное и с обиженным видом принялся уминать орфоз.

– Нелегко тебе без нас пришлось, милый котик, – извиняющимся тоном произнесла Шейна. – Это мы с Айзиком виноваты, отучили тебя от самостоятельной жизни. Ладно, я уже здесь, теперь все будет хорошо. Иди, я повяжу тебе новый бантик.

Но обиженный Вацек так и не подошел.

Оставленных Айзиком денег вполне хватало на жизнь и пропитание, но Шейна снова взялась за стирку. Ей надо было найти себе какое-нибудь применение, сидеть несколько месяцев без дела в пустом доме казалось невыносимым.

Время, заполненное тяжелым трудом, тянулось до омерзения медленно. Да и руки, ее прекрасные белые руки, снова покраснели от горячей воды, а кожа начала трескаться. В поисках более интересного и менее утомительного занятия Шейна промучилась пару недель, пока не сообразила сдавать в наем яффским рыбакам фелюку Айзика.

О, тут забот оказалось выше головы, зато денег получалось существенно больше. Галабие и шальвары были навсегда изгнаны из дома, а перед субботой, подсчитывая выручку за неделю, Шейна стала подумывать о покупке второй фелюки. Пока до этого шага было еще далеко, но и до возвращения Айзика тоже было непонятно сколько.

Однажды утром, когда Шейна отправив очередного рыбака, вернулась домой после посещения рынка, в дверь постучали. На пороге стоял странно одетый еврей. Рыжая борода и пейсы были совершенно ашкеназскими, а вот галабие и красная феска более приличествовали арабу.

– Я привез вам весточку от Айзика, вашего мужа, – объявил незнакомец. – Вот письмо.

– Извините, – ответила Шейна, – я одна и не могу пригласить вас в дом. А где вы видели Айзика?

– Мы вместе плыли на «Гоке» до Стамбула. Ваш муж поначалу тоже дивился моему наряду, но я еврей из Хеврона, у нас там все так ходят.

– Из Хеврона, вот как...– произнесла Шейна, вопросительно глядя на гостя. – А где письмо?

– Вот, сию минуту, – гость начал рыться в карманах, одновременно не переставая говорить.

– Мы очень подружились, я много рассказывал ему о своем доме, о моей любимой жене. Приглашал в гости. Айзик обещал взять вас и приехать. А вот, вот оно, наконец-то.

Он выудил из кармана сложенный вчетверо листок и подал Шейне.

– Меня зовут Мрари. Ну, я еще побуду какое-то время в Яффо, дела торговые не дают вернуться домой. Если чем могу помочь, всегда рад.

– Спасибо, ничего не надо. Благодарю вас за хлопоты.

Мрари вежливо и цветасто, совсем по-восточному распрощался и ушел. Шейна глядела ему вслед и думала:

– Вот же какой милый и симпатичный. Только странный какой-то, и совсем не похож на наших евреев.

Усевшись за стол, она не спеша, развернула письмо и прочла несколько строк, написанных знакомым почерком.

– Через два месяца, – прошептала она. – Это ведь совсем скоро. Вацек, еще три недели - и папа возвращается, ты доволен, Вацек?

Шейна поглядела в угол, где, свернувшись в клубок на тряпичном коврикe, целыми днями валялся Вацек, но кота там не было.

Айзик с деньгами, зашитыми в пояс, сел в Могилеве-Турецком на баржу с зерном, идущую вниз по Днестру и, отгородившись от мира, точно щитом, обложкой «Рейшис хохма», погрузился в глубины еврейской мудрости. Первый день он просто читал, увлеченный необычным ходом мыслей и неожиданными поворотами смысла. Во второй попробовал примерить прочитанное на себя, а на третий, не открыв книгу, принялся просеивать свою жизнь через

сито полученного знания. Очень быстро сито задержало все, кроме одного вопроса.

– Почему у нас нет детей? – спрашивал себя Айзик. В этом простом и совершенно прозаическом вопросе сосредоточились радости и невзгоды, счета с прошлым и надежды на будущее.

– Всевышний не дает нам продолжения, значит, мы что-то делаем не так. Но что?

Он вспоминал и вспоминал, восстанавливая в памяти подробности их семейной жизни. Написано в старых книгах, что жениху и невесте под хупой прощаются все грехи. То есть проступки надо искать с начала супружества.

Времени с той поры прошло совсем немного, и Айзик без труда мысленно возвращался то к началу, то к середине, то к последним дням его жизни вместе с Шейной. И, положив руку на сердце, он не находил особых грехов. Конечно, были там и тут мелкие проступки, иногда по ошибке, иногда по недомыслию. Но ни разу ни он, ни Шейна не совершили ничего, что Всевышний или люди могли засчитать бы им как злой умысел.

– Все потому, что между нами не было мира, – наконец решил Айзик. – Каждый тянул в свою сторону, каждый думал лишь о себе. И виноват в этом я, только я. Мужчина – глава семьи, а это значит, что на нем лежит обязанность заботиться не только о зароботке, но и о духовном благополучии жены. Бог благословляет счастливых и забывает ссорящихся. Если жене для душевного спокойствия необходимо жить в Иерусалиме, мужчина должен поступиться своей рыбалкой и сказать – да.

– А на что будем жить, ведь моя рыбалка уже давно не забава, а ремесло? – спрашивал сам себя Айзик.

– Как это на что?! – отвечал он себе, прикасаясь к поясу с зашитыми в нем деньгами. – Здесь лишь часть, в Иерусалиме нас ожидает по-настоящему большая сумма.

– И какой из этого ты делаешь вывод?

– Простой и понятный. Первое, что я скажу, переступив порог нашего дома: Шейна, я согласен. Хочешь жить в Иерусалиме, переедем в Иерусалим. Для меня главное

видеть тебя счастливой. Если мы будем счастливы, Всевышний подарит нам ребенка. Все в наших руках, Шейна, давай же выберем счастье!

Под хоровод покаянных мыслей и твердых решений изменить свою жизнь, время до Аккермана пролетело незаметно. Перед швартовкой Айзик вышел на палубу и принялся рассматривать город, в который послал его реб Гейче. Белые мазанки под соломенными крышами жались к мощным стенам. На высоких башнях гордо развевались османские флаги. С минарета в крепости доносилось протяжное завывание муэдзина, к которому он уже успел привыкнуть в Иерусалиме и Яффо.

Порт тянулся вдоль берега, начинаясь у самого подножия крепости. Десяток каменных причалов, далеко ушедших в мелкий лиман, приютили множество кораблей. Сойдя на берег, Айзик долго осматривался, соображая, куда он попал и что теперь делать.

Огромное водное пространство будоражило. Он еще ни разу не видел такого количества пресной воды - озера в Галиции были несравнимо меньше. Лиман походил на море, его берега терялись в тумане, низко плывущем над коричневой поверхностью воды. Пахло не солью, а речкой, именно такой запах поднимался от Курувки после летнего дождя.

«Интересно, какая тут рыбалка, – подумал Айзик, но тут же оборвал себя. – Пора приниматься за дело».

Военное судно он заметил почти сразу, оно было пришвартовано у отдельного пирса, возвышаясь над пестрой кутерьмой рыбацких и торговых суденышек.

Айзик быстро выяснил, что турецкий военный корабль завтра уходит в Стамбул и, не раздумывая, двинулся к пирсу.

«Попробую напрямую, – решил он. – Раз реб Гейче сказал, что возьмут, значит, должны взять».

У трапа скучал часовой, в полном боевом облачении.

– Добрый день, – обратился к нему Айзик. – В Стамбул идете?

– А ты кто такой? – настороженно спросил часовой, опуская ладонь на рукоять ятагана.

– Еврей из Яффо, домой еду. Может, возьмете с собой? Я заплачу.

Часовой посмотрел на него, как на сумасшедшего.

– Ты часом не сбрендил, еврей? Это военный корабль, не понимаешь? Пассажиров не берем.

Но Айзик уже знал, как надо разговаривать с турками. Монета быстро переключалась в карман часового, и тот позвал офицера. Тот быстро сбежал по трапу, придерживая рукой короткий ятаган, висевший на шитом золотом поясе. Обшлагаи рукавов и воротник, также украшенный золотой тесьмой, сверкали на солнце. Высокая красная феска сидела на офицере, как влитая.

– Это старший помощник капудана, – быстро произнес часовой, когда офицер ступил на трап. – Он у нас корабле все может.

– В чем дело? – бросил старший помощник часовому.

– Вот, на корабль просится.

– На корабль? – поднял брови офицер. – Ну-ка, ну-ка, расскажи, зачем тебе понадобилось на корабль.

Он зашел за спину Айзику, отрезая ему путь к бегству

– Я еврей из Яффо, ездил по семейным делам в Курув, городок в Польше.

– Какие еще семейные дела могут быть у еврея из Яффо в Куруве? – усмехнулся офицер.

– Родители жены оттуда.

– Ты что, не мог найти себе нормальную турецкую еврейку?

– Так получилось, – сокрушенно развел руками Айзик.

– Ладно, – буркнул офицер. – А что ты в Яффо делаешь?

– Ловлю рыбу и продаю.

– Рыбу, говоришь. Вот я сейчас тебя проверю. Ошибешься, пеняй на себя, доложу капудану, что ты пытался проникнуть на корабль, и болтаться тебе, как шпиону, вон на той реке. Отвечай не задумываясь, какую рыбу больше всего ценят в Яффо?

Айзик расхохотался.

– Да я самый лучший ловец орфоза и его главный его продавец во всем городе.

– А где ты его ловишь?

– У камней. Выхожу утром на фелюке и закидываю удочки.

– Похоже, похоже, – пробормотал офицер. – Я два года прожил в Яффо, ты говоришь с тем акцентом, который там принят. А за лошадьми умеешь ухаживать?

– Да! И очень люблю это делать.

– Ладно, на твое счастье у нас вчера помер помощник конюха, а в трюме пять лошадей. Будешь прибираться за ними до Стамбула. И упаси Аллах, если хоть с одной из них что-нибудь случится по твоей вине. Пошел на борт!

Айзик взбежал по трапу, не чуя под собой ног. Все складывалось, как нельзя лучше. Вернее, как и должно было быть.

Лошади оказались настоящими красавицами, против них конь Тевье выглядел унылой клячей. Айзик не удержался, снял со стены висевшую на гвозде щетку и принялся чистить красавиц. Кожа у них была шелковистая и гладкая, похоже, что умерший помощник конюха не жалел усилий.

Лошади тихонько ржали, им нравились прикосновения щетки в руке Айзика. В трюм спустился помощник капудана и несколько минут стоял, глядя и прислушиваясь.

– А ты молодец, – вдруг сказал он. – Есть у тебя подход к животным. Я еще не слышал, чтобы эти лошадки так ласково ржали. Закончишь, поднимись в камбуз, я велю повару накормить тебя. Выбери, что вам евреям, можно, и не стесняйся.

Матросы в кубрике, грубоватые, но радушные парни, сразу принялись расспрашивать Айзика. Их интересовало все - на берег с военного корабля отпускали нечасто, и любая новость казалась матросам занимательной и важной.

На рассвете Айзик проснулся от свиста дудок и скрипа снастей. Кубрик, тускло освещенный раскачивающимся фонарем, был пуст. Айзик быстро оделся и взбежал на

палубу. Там кипела работа, судно, развернув паруса, шло по лиману, направляясь к тому месту, где Днестр впадал в Черное море.

– Что случилось? – спросил Айзик у одного из матросов.

– Ничего особенного, – пожал тот плечами. – Уходим.

Идем в Тунис.

– Как в Тунис? – вскричал Айзик. – Почему в Тунис?

– Откуда нам знать? Куда приказали, туда идем.

– А Стамбул? Когда в Стамбул?

– Да кто же его знает? Наверное, когда-нибудь и до Стамбула доберемся. А вот когда, знают только Аллах и капудан-паша.

Огромные белые паруса наполнились ветром, корабль чуть накренился и, с шипением разрезая волны, помчался навстречу поднимающемуся солнцу. Айзик стоял на корме и наблюдал, как скрывается в голубой дымке берег.

«Куда несет меня Всевышний? Что Он хочет сделать с моей душой и с моим телом? Стоит ли беспокоиться? Я в Его руке, словно камень в праще у воина. Захочет, бросит далеко-далеко, захочет, опустит на землю. Я сделал то, что от меня зависело, а остальное в Его власти».

Вацек пропал. Поначалу Шейна была уверена, что он проголодается и вернется, но прошел день, другой, третий, а кот не появлялся. Она искала его в порту, на пирсах, возле рыбачьих фелюк, заваленных свежей рыбой, но кота никто не видел. Несколько раз Шейна обходила весь Яффо, заглядывая в самые зловонные закоулки, да без толку, Вацек словно сквозь землю провалился.

«Скорее всего, – в конце концов решила Шейна, – ему надоело валяться на подстилке в углу, и он вернулся в привычную стихию вольной жизни. Вот и хорошо, вот и правильно».

Все свободное от возни с фелюкой время Шейна проводила в подготовке к приезду мужа. Тщательнейшим образом убрала дом, и, наведя сияющую чистоту, стала потихоньку собирать торжественную трапезу. Корабль мог приплыть точно через два месяца, а мог опередить срок на

пару дней или задержаться. Готовить еду не имело никакого смысла, можно было лишь сообразить, какие именно блюда можно соорудить в течение полутора часов, пока Айзик будет в бане после поездки.

Сообразить не составило труда, а вот с подготовкой необходимых продуктов пришлось повозиться. Раз десять Шейна неспешно обходила рынок, рассматривая товар на бастах, торговых ларьках. Приценивалась, проверяла и договаривалась, чтобы в ближайшие несколько дней хозяин придерживал для нее выбранные кусочки.

Несколько раз ей на дороге попадался Мрари. Он вежливо здоровался, но не предпринимал никаких попыток завязать разговор. Беседа с чужой женой посреди рынка не подобает уважающему себя еврею.

Помимо подготовки дома, Шейна много размышляла о будущем ее с Айзиком семьи.

«Почему мы все время спорим, – думала она. – Наверное, Всевышний поэтому не послал нам ребеночка. Он не хочет, чтобы дитя росло под звуки перебранки меду отцом и матерью».

– Но разве мало в Куруве многодетных семей, – возражала сама себе Шейна, – которым ругань это хлеб, а взаимные проклятия – вода? Почему же их Бог осчастливил потомством?

– Наверное, – отвечала себе Шейна, – у каждой пары своя судьба. Что годится, одной не подходит для другой. В Куруве такое возможно, а на Святой Земле – нет.

И чем больше она думала о Айзике, чем чаще вспоминала его лицо, его улыбку, его шутки, его руки, даже его запах – тем сильнее щемило сердце.

– Он самый близкий мне человек, – повторяла Шейна. – Родителей и родственников я уже не увижу, разве что чудом, подруг тем более. Кому, кроме мужа, есть до меня дело в этом огромном мире? Кто поддержит, кто поможет, кто позаботится, если не он? Какая же я была дура, что тащила Айзика в Иерусалим! Если ему хорошо здесь, значит, и мне будет хорошо рядом с ним. Неужели из-за болтовни с подружками я заставляю его отказаться от

любимого занятия? Нет, подружек я себе заведу новых, а вот море в Иерусалим не перетащить.

Злая, злая, злая! Нет тебе прощения! Пусть только Айзик вернется, пусть переступит порог, я сразу ему скажу: поступай, как знаешь. Хочешь жить в Яффо, будем жить в Яффо. Куда ты – туда и я!

За три дня до намеченного расписанием возвращению «Гока» все было готово, уложено и собрано, словно у артиллерийской команды перед началом боя. Шейна выстирала и выгладила лучшие наряды, повесила их в шкаф и принялась с нетерпением ждать новостей из порта.

Увы, все вышло по-другому. Прошел день, другой, третий после назначенного срока, но «Гок» не появлялся. Море бушевало, однако Шейна сохраняла спокойствие, задержка судна на несколько дней - вещь обычная.

«Скорее всего, – думала она, – «Гок» укрылся в какой-нибудь гавани и спокойно пережидает, когда шторм стихнет».

Шторм закончился, ветер отутюжил поверхность моря, и оно из черно-седой перекопанной волнами равнины снова превратилось в сияющее зеркало. Миновала неделя, задержка из обычной превращалась в нечто из ряда вон выходящее, но Шейна гнала от себя дурные мысли.

Утром в двери постучали. Очень робко, застенчиво, Шейне поначалу показалось, будто она ослышалась. Но нет, стук повторился, и она пошла открывать.

На пороге стоял Мрари. Вид у него было смущенный и печальный.

– Что случилось? – внезапно севшим голосом спросила Шейна. Она не хотела думать о плохом, но зло само пришло к ее дому, и стояло на пороге.

– «Гок», – словно извиняясь за дурной поступок, развел руками. Мрари. – Пришло известие, неделю назад он затонул в открытом море во время шторма.

– Нет! – закричала Шейна. – Нет, этого не может быть! С Айзиком ничего не случилось! Я знаю, я чувствую, он жив!

– Увы, – Мрари тяжело вздохнул и снова развел руками, – увы...

Он остался за порогом, тихонько притворив за собой дверь, а Шейна металась по комнате, не зная, как поступить. Голова не сомневалась в правдивости сообщения, но сердце оказывалось верить, сердце билось также ровно, как до получения вести. На таком большом судне, как «Гок», несомненно, были шлюпки, кроме того, сейчас лето, вода в море теплая, можно уцепиться за обломок мачты или... ох!

Чтобы не упасть, она оперлась о стену и замерла, прижав руки к груди. От мыслей о шторме у нее начался приступ морской болезни: голова закружилась, а к горлу подступила тошнота.

Мрари засунул голову вовнутрь и негромко позвал:

– Шейна, Шейна! Я думаю, лучше всего пойти к раввину и выяснить, как нужно себя вести в таком положении.

– Да, уже иду, – Шейна решительно отогнала мысли о море, выкинула их из головы, стерла, словно грязное пятно со стола. Подойдя к двери, она заперла ее на защелку, и быстро переоделась в черные одежды. Из дома Шейна вышла, закутавшись в черный платок, как и подобает вдове во время траура.

Раввин, ребе Алтер, был очень пожилым человеком. Он ходил по Яффо короткими, нервными шажками, вздрагивая, точно раненая птица. Его бессильно свисавшие руки, и в самом деле напоминали перебитые крылья. Многим казалось, будто скоро они заживут, ребе Алтер расправит их и унесется в блаженную высь, полную порядка и святости.

– Ребе, как мне себя вести, – спросила Шейна. – Сидеть шиву, надрывать в знак траура одежду? Заказать кадиш по мужу? Что делать ребе Алтер, что делать?

– Ничего, – ответил раввин, до которого уже донеслась горькая весть. – Ничего.

– Как ничего? – удивилась Шейна.

– О гибели судна нет свидетелей, – ответил, прищурив и без того узкие от старости глаза ребе Алтер. – Есть только слухи. Да, «Гок» не вернулся в Яффо. Да, видимо попал в шторм. Вполне вероятно, что потерпел крушение. Но на

основании слухов и предположений я не могу объявить тебя вдовой.

– А что делать, ребе?

– Прежде всего, снять черную одежду. И ждать. Ждать, как ждут живого. Жить обыкновенной, нормальной жизнью.

– Но как можно, ребе, как можно после такой вести делать вид, будто ничего не произошло?

Раввин откашлялся и заговорил куда более мягким тоном.

– Жизнь очень неожиданная штука, дочь моя. Даже если судно потерпело крушение, вполне вероятно, что твой муж сумел спастись. На шлюпке или на обломке корабля. А может быть, его вообще не было на «Гоке».

– Но он же прислал письмо...

– Прислал письмо, а потом не успел, или передумал, или возникли другие обстоятельства. Пока в наших руках не будут достоверные показания свидетелей о гибели Айзика, ты должна верить, что он жив. И кто знает, может быть, именно твоя вера спасет его от беды.

И потянулись унылые, скучные дни, похожие один на один. Ничто не радовало Шейну, никакая новость, веселая или горестная не касалась ее сердца. Его словно завернули в грубую мешковину, да еще не одним слоем.

Она и представить себе не могла, что так привязана к мужу. До сих пор их совместная жизнь представлялась ей листом белой бумаги, на котором можно написать, что угодно. И вдруг выяснилось, что он заполнен почти до половины, и ни одну из букв нельзя ни зачеркнуть, ни изменить.

Неделю за неделей, месяц за месяцем Шейна жила по привычке, работала, готовила для себя нехитрую еду, ходила в синагогу, молилась. Она сильно похудела, не от болезни или горя, просто аппетит куда-то пропал. Часто за весь день она съедала пару ломтиков черного хлеба, запивая вчерашним чаем.

Приготовленную еду часто приходилось выбрасывать. Был бы кот, она кормила бы его от пуза, но Вацек так и не появился. Зато вместо Вацека в ее жизни возник Мрари.

Первые месяцы после гибели «Гока» он навещал ее раз в неделю. Приносил какие-нибудь сласти, восточные лакомства. Поначалу Шейна не пускала его в дом, и они разговаривали через порог, но потом он объяснил, что закон разрешает женщине оставаться наедине с мужчиной, если дверь держать полуоткрытой. Так они и стали поступать, сидели возле стола, пили чай, ели принесенные Мрари сласти, и разговаривали.

Темой разговоров всегда был Айзик. Мрари в сотый раз пересказывал подробности их короткого знакомства, но Шейна не уставала слушать, и каждый раз просила повторить все сначала. Между ними постепенно установились дружеские, доверительные отношения. Настолько дружеские, что однажды, в завершение беседы, Мрари предложил ей денег.

– Я вижу, ты тяжело и много работаешь. Для чего? Я с радостью оплачу все твои расходы, а когда вернется Айзик, вернешь мне долг.

– Зачем? – удивились Шейна. – Мне хватает на жизнь и еще остается. Ем я очень мало, одежду не покупаю, детей, увы, нет. На что тратить деньги?

Прошли, промелькнули, нудно протянулись полгода. И с каждым месяцем надежда на возвращение Айзика таяла, как утренний туман под лучами восходящего солнца. О судьбе «Гока» новостей не было. Судно исчезло вместе со всей командой, грузом и пассажирами. Шейна сходила еще раз к ребе Алтеру, но тот лишь сокрушенно поднял брови.

– Я ведь тебе уже все объяснил, дочка, и ничего нового добавить не могу.

Несчастье случилось в один из зимних штормов. Волны просто взбесились, и многие фелюки, стоявшие в гавани под защитой пирса, разбило о сваи. В том числе и фелюку Айзика.

Несколько дней Шейна соображала, как быть. На покупку новой фелюки денег пока не хватало, хотя можно было одолжить и потихоньку отдавать. Но в любом случае заниматься всем этим надо было не раньше весны, после Пейсаха, когда стихнут злобные зимние ветры, и море

успокоится. А пока... пока ей пришлось снова взяться за стирку.

Зимние субботы заканчиваются рано. Шейна послушала авдалу в синагоге, произнесла положенные слова отделения святого дня от будней, и отправилась домой. Там было холодно и темно, печка, вытопленная перед субботой, давно остыла. Шейна зажгла свечу и принялась растапливать печку. Хоть какое-то занятие, вечер длинный, а делать совершенно нечего.

Не успел огонь приняться за дрова, как в дверь постучали.

– Мрари, небось, – улыбнулась Шейна. – Больше ведь некому.

Она обрадовалась приходу гостя - значит, длинный зимний вечер пройдет быстрее, и поспешила открыть. На пороге действительно стоял Мрари с корзинкой.

– Мне жена из Хеврона передала гостинцев, – радостно объявил он. – А сладкие, а вкусные, во рту сами тают. И пальцы после них облизывать хочется до утра!

Сели за стол. В полуоткрытую дверь врвался холодный ветер. Пламя в печке дрожало и билось под его порывами.

– Скажи, Мрари, почему ты не возвращаешься домой? – спросила Шейна. – Жена тебе гостинцы шлет, а ты застрял в Яффо.

– Сейчас ты поймешь почему, – произнес Мрари. Он ловко ухватил своими длинными тонкими пальцами руку Шейны и принялся покрывать ее поцелуями. Целовал жадно, страстно, врасос. Шейна испугалась и выдернула руку.

– Как ты можешь, я же нечиста?!

– Ну и что, у нас у восточных, правила куда более мягкие, чем у вас сумасшедших ашкентосов. Пойми, я не просто так, я жениться на тебе хочу.

– С ума сошел, я замужняя женщина!

– Шейна, посмотри правде в глаза, – голос Мрари звучал мягко и проникновенно. – «Гок» утонул во время шторма. В этом нет ни малейших сомнений. Погибли все, иначе бы за

полгода кто-нибудь да объявился. Увы, ждать тебе некого. И нечего. Что тебе тут предстоит, кроме одиночества и стирки вонючих шальвар? У меня большой дом, я богатый человек, у тебя будут служанки, ты сама пальцем не пошевелишь. Только когда будешь меня ласкать. Заживешь, как королева.

– Нет-нет-нет, – она решительно покачал головой. – Ребе Алтер сказал, что нужны свидетели гибели Айзика, а без них он меня не признает вдовой.

– Скажи, ты хочешь выйти за меня замуж? – проникновенно спросил Мрари. – Это самое главное. У нас раввины более мягкие, они разрешат. Если ты хочешь, собирай вещи и поехали. Прямо сейчас.

– Нет-нет-нет! – вскричал Шейна. – Я не готова, я даже думать об этом не могу.

– А ты подумай, подумай.

– О чем думать? – рассердилась Шейна. – Тебя жена в Хевроне ждет, шлет гостинцы. А ты голову мне морочишь.

– Шейна, Шейна, я же из Хеврона, а не из Курува. Вспомни, сколько жен было у наших праотцев? И мы так же живем.

– Ты предлагаешь мне стать второй женой?

– Первой! Для меня ты всегда будешь первой. И любимой.

– А Наама? Ты ее больше не любишь?

– Люблю, но по-другому. Сердце восточного мужчины большое, в нем хватает места для любви к двум женщинам.

– Уходи, – замахала руками Шейна. – Не хочу больше слушать твои глупости!

– Если гонишь, я уйду, – произнес Мрари, поднимаясь из-за стола. – Но это вовсе не глупости. Я понимаю, тебе тяжело сразу принять мое предложение. Подумай, поживи с этим. Я тут, я рядом, я готов ждать тебя целую вечность. Потому, – тут он сделал многозначительную паузу, – потому, что для меня ты прекрасней всех на свете, и за твою улыбку и поцелуи я готов отдать все, что угодно.

«Что мне с ним теперь делать? – думала Шейна, заперев за гостем дверь. – Гнать поганой метлой или вежливо

объяснить, что его предложение полная глупость, и ждать ему нечего? Вот же дурачок!»

Ах, женское сердце! Кто знает его тайны, кто может понять, что скрывается в его глубине? Первую неделю после предложения Мрари Шейна негодовала, вторую иронически улыбалась, третью посмеивалась, а на четвертую призадумалась. Мрари все это время не появлялся, словно чувствуя, какие подводные течения крутят сердце его избранницы.

Чем больше Шейна размышляла над словами хевронца, тем больше понимала, сколько правды в них заключено. О, если бы она могла вернуться в родной Курув, ее мысли потекли бы совсем в другом направлении. Но при одном воспоминании о качающейся палубе к горлу подступала тошнота, а от мысли найти свой конец в бушующих морских волнах, как нашел его Айзик, в чем она уже не сомневалась, по спине начинали бегать мурашки озноба. Надо было устраивать свою жизнь здесь, и предложение Мрари с каждым днем становилось в ее глазах все заманчивее.

Спустя месяц, возвращаясь с рынка с покупками для субботы, она услышала пушечный выстрел. Улица вилась вдоль склона холма высоко над морем и, подойдя к ограде, Шейна увидела турецкое военное судно, бросившее якорь у берега.

«Ничего интересного», – подумала Шейна и поспешила домой. До начала субботы оставалось еще много часов, но она любила встречать святой день с полностью приготовленной едой, вымыв посуду и приборов в доме после готовки.

Тесто уже подошло, Шейна ловко слепила халы, смазала их желтком, посыпала кунжутом, посадила в печку и принялась за рыбу. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Мрари. Его появление застало Шейну врасплох, но она не успела сказать ни слова, как он, презрев все приличия, подскочил и положил руки на ее плечи. Вид у Мрари был самый решительный.

– Все! – вскричал он. – Лопнуло мое терпение! Не могу больше ждать. Говори, ты выходишь за меня замуж, или нет?!

– Может, ты дашь мне смыть рыбью чешую с ладоней, – улыбнулась Шейна. Такая прыть и нетерпение льстили ее женскому самолюбию. Ведь нетерпение диктуется страстью, а страсть - порождение любви.

– Грязные руки - это ерунда! – вскричал Мрари, почему-то оглядываясь на дверь. – В жизни есть вещи, поважнее грязных рук. Отвечай же, ты согласна?

Он приблизил свое лицо и заглянул Шейне прямо в глаза. От его взгляда комната поплыла и закачалась, потолок, гардины на окне и само окно начали смещаться и плавиться, точно воск в кипятке. Единственной надежной, прочной точкой в этом водовороте были зрачки Мрари, чуть вытянутые сверху вниз, словно у кота.

– Да, – дрожащим голосом вымолвила Шейна. – Да, я согласна.

– Спасибо! Спасибо, родная!

Он обнял ее, чтобы поцеловать, прижал к себе, не стесняясь, от груди до бедер, губы потянулись к губам и...

Дверь распахнулась, и на пороге возник Айзик. Шейна вырвалась из объятий Мрари и бросилась к мужу.

– Все ж таки успел, – прошипел хевронец. Он кинулся вслед за Шейной, оттолкнул ее в одну сторону, Айзика в другую и выбежал на улицу.

– Айзик! – Шейна попыталась обнять мужа. – Айзик, ты вернулся, ты жив!

– Что все это значит? – возмущенно спросил Айзик, отстраняясь от Шейны. – Совсем не так я представлял себе нашу встречу.

Вместо ответа Шейна разрыдалась. Слезы ручьями текли по щекам, а из горла вырывался крик, похожий на вой затравленного животного.

– Выпей воды, успокойся, – холодно произнес Айзик. – Я жду объяснений.

– Это ты требуешь объяснений, ты? – обрела голос Шейна. – «Гок», на котором ты возвращался домой, затонул

больше полугода назад. За все это время от тебя не было ни весточки, ни слуха!

– Но я не плыл на «Гоке»! – вскричал Айзик.

– Как не плыл? А кто прислал письмо, что вернется именно на нем?

– Твой отец велел мне добираться до Аккермана, а оттуда на военном судне....

– При чем здесь мой отец! – затопала ногами Шейна. – Мой отец полгода не давал тебе написать жене письмо? Где твоя совесть? Безжалостный, бессердечный, жестокий!

– Хватит! – вскричал Айзик. – Я не мог! Я был на военном корабле, мы за эти полгода заходили только в военные гавани. А кто дал тебе право обниматься с Мрари?

– Я была уверена, что ты погиб, – осев на скамью, произнесла Шейна. – Он заботился обо мне, помогал. Предложил выйти за него замуж, уехать с ним в Хеврон. Я долго отказывалась, думала, может, ты все-таки появишься. А сегодня, – слезы снова потекли из ее глаз, – а сегодня согласилась.

Айзик повернулся и вышел из дома. Шейна не пыталась его удержать, а молча рыдала, спрятав лицо в ладони.

Раввин Алтер, уже переодетый в субботнюю одежду, при виде Айзика произнес благословение «воскрешающий мертвых».

– Ребе, я пришел спросить вашего совета. Не знаю, как быть и что делать. Похоже, жена была мне не верна.

– Ты же знаешь, Айзик, в Яффо скрыть ничего нельзя, все на виду. Могу тебя заверить, что Шейна вела себя самым достойным образом.

– Но я застал ее в объятиях Мрари!

– Кто такой Мрари? В Яффо нет человека с таким именем.

– Он из Хеврона, писец. Мы познакомились на «Гоке». Это с ним я передал письмо Шейне.

– Я знаком со всеми писцами, живущими на Святой Земле. Их не так много, как может показаться. Мне не знаком писец с таким именем. Ну-ка, расскажи свою историю, только во всех подробностях, до мелочей.

Рассказ не занял много времени. Выслушав его, ребе Алтер надолго задумался. Потом произнес.

– Думаю, это не человек, а демон по имени Кетев Мерири. Он специально уговорил тебя поехать на «Гоке», зная, что тот утонет. А Шейну хотел увезти и сделать своей женой, то есть превратить в демона.

– Демон! – поразился Айзик. – Но... я провел с ним несколько дней на «Гоке». Он мне столько рассказывал о своей семье, а я ему о своей. Мы подружились! Ребе, вы не ошибаетесь?

– Увы, нет. Мне хорошо знаком этот демон. Он из немногих, уцелевших на Святой Земле. Упрямый, заядлый, мстительный.

– Но что ему от нас понадобилось? Почему он сначала пристал ко мне, а потом прилепился к Шейне?

– Я думаю, все было наоборот. Сначала ему приглянулась Шейна, он решил известить тебя и завладеть ею. Демоны во многом подобны нам, они едят и пьют, как люди, размножаются как люди, и умирают как люди. Скорее всего, Мерири влюбился в твою жену. Случается, что демон или демоница похищают или соблазняют женщину или мужчину. Правда, на Святой Земле этого давно не происходит, демонов тут почти не осталось, наши мудрецы их изгнали много веков назад, поэтому она и называется святой. Зато там, откуда ты приехал, они водятся в изобилии. В Европе их много, очень много, куда больше, чем ты можешь предположить.

Раввин закашлялся и глазами показал на чашку с водой, стоявшую на противоположном конце стола. Айзик вскочил и подал ее раввину. Тот шепотом произнес благословение, сделал несколько маленьких глотков, отдышался и продолжил.

– Силы демонам даны немалые. Они могут принимать облик человека или животного, могут стать видящими, но невидимыми, знают будущее и летают от одного края света до другого. Единоборство с ними опасно и требует огромной затраты сил.

– А как же я спасся?! – воскликнул Айзик, когда ребе Алтер замолк. – Почему их планы провалились?

Раввин надолго замолчал. Потом негромко произнес:

– Демоны тоже ошибаются. И в этом еще одно их сходство с людьми. А помогли им ошибиться исполнение тобой и Шейной заповеди почитания родителей, и заслуга вашего проживания на Святой Земле.

Поблагодарив ребе Алтера, успокоенный Айзик поспешил домой. О, ему столько хотелось рассказать Шейне, о столь многом поговорить. А главное, хоть он и гнал от себя эти мысли, как недостойные и низкие, главное все-таки состояло в том, что он очень истосковался по женской ласке.

Шейна сидела на пороге открытой двери. Айзик издалека радостно замахал ей рукой. Она поняла, что буря позади и подняла руку в ответном приветствии.

– Теперь все будет по-другому, – шептал Айзик, невольно ускоряя шаги. – Ах, как мы заживем! Как славно мы заживем!

Шейна поднялась с порога и поджидала его с радостной улыбкой. Возлюбленная демона! Красавица! Женщина, о которой мечтает нечистая сила! Айзик словно увидел ее чужими глазами: высокие холмы груди, плавный изгиб бедер, выпуклые икры, аккуратные щиколотки, маленькие ступни. Но это была его жена, его единственная, любимая женщина, которую он не собирался ни уступать, ни делить.

Кот Вацек терся о юбку Шейны и сладко мурлыкал. При виде Айзика он выгнул спину, растопырил усы и недовольно сказал «мяу».

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Рубрику ведёт Александр Крюков

ШАБТАЙ ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ

«Яков Шабтай был влюблен в свой город – Тель-Авив».

Эдна Шабтай, вдова писателя

65 лет назад - в 1955 году – в газете «Ха-Арец» был напечатан первый рассказ тогда никому не известного молодого ивритского литератора Якова Шабтая «Дядя Шмуэль»... Так на небосклоне новой ивритской прозы началось восхождение будущей яркой звезды.

Яков Шабтай (1934-1981) - писатель, чье имя в литературных кругах Израиля окружает почти легендарная атмосфера. Литературоведы практически единодушно признают его виднейшим мастером среди писателей своего поколения. Многие видели в нем даже "великую надежду ивритской литературы". Оставив после своей преждевременной смерти (у него с молодости было большое сердце) немного произведений, Шабтай занял особое место в современной израильской литературе.

В 1977 году вышел в свет первый крупный роман Шабтая «Зихрон дварим» (по тексту произведения можно перевести как «Памятка», «Протокол» и как «Память вещей»).

...В конце 70-х годов XX века в израильской прозе окончательно обозначился отход от принципов реалистично-психологической школы, доминировавшей до этого времени. Поворотным пунктом этого процесса можно считать появление упомянутого романа Шабтая. Это

многоплановое произведение, главный конфликт которого строится вокруг отношений между экзистенциальной действительностью жизни израильской молодежи 60-х годов XX века и реальностью, которая составляла суть жизни поколения их родителей - польских евреев, приехавших в Палестину еще в 30-е годы.

Действие разворачивается в Тель-Авиве - городе, который был создан отцами, но к судьбе которого причастны и дети. Умело пользуясь разнообразными литературными приемами, важнейшими из которых для Шабтая являются языковые (внешне это выражается в виде длинных, порой лишенных знаков препинания групп предложений), автор как бы снимает покров за покровом в поисках глубинных причин и мотивов как в макрокосмосе романа, так и в его фокальных точках - жизни персонажей, у каждого из которых где-то в глубине есть надлом, шрам, оставленный эмиграцией. В романе показано влияние этой морально-психологической травмы на поколение детей, фактически - на весь социально-духовный облик последующего поколения израильтян.

Роман производит впечатление совершенно оригинального произведения, созданного без особого пиетета к образцам, израильским или мировым. Книга отличается явно модернистским духом, во многом близким манере Пруста, Джойса и Фолкнера. Хотя в ивритском названии книги «Зихрон дварим» нет слова "непрерывное", оно незримо присутствует на каждой из её 275 страниц, ибо все вместе они представляют собой по сути одну-единственную непрерывную повествовательную фразу. Не случайно вышедший позднее на английском языке на Западе, этот роман стал весьма известным именно под названием "Past Continious" («Прошедшее продолженное»).

Западные литературоведы также оценили книгу весьма высоко. Так, видный американский специалист проф. Роберт Альтер писал: "«Память вещей» - подлинный поворотный пункт, обозначивший окончательное повзросление израильской литературы", и далее: "С книгой

Шабтая израильская литература впервые по-настоящему вышла на авансцену послевоенной прозы".

Сегодня нас интересует важный аспект романа – Тель-Авив и отношение к нему Шабтая, явно считавшего город одним из главных персонажей. В этой связи мы публикуем перевод воспоминаний Эдны Шабтай о значении и месте Тель-Авива в жизни самого прозаика.

Эдна Шабтай

СЛОВНО КЛЕЩАМИ ВДРУГ СДАВЛИВАЕТ МЕНЯ ТОСКА...

Почти всегда, когда я выхожу на тель-авивские улицы, он идет со мной. В марте – месяце его дня рождения - он со мной во всем, к чему бы я ни обратилась. Как в то весеннее утро, когда я шла от пересечения улиц Жаботинского и Дизенгофа к Банку Апоалим, расположенному у площади (Цины Дизенгоф. – А.К.).

Идя по восточной стороне улицы Дизенгофа, немного дальше кондитерской "Угати", что напротив улицы ШИРа (Шломо Ехуда Рапопорт, 1790-1867, с 1847 г. - главный раввин Праги, известный еврейский философ и литератор. – А.К.), в которой сидят утренние посетители, пьют кофе и наслаждаются знаменитыми сдобными пирожками, выпекаемыми здесь (и я когда-то покупала и приносила домой эти пирожки), я быстро прохожу мимо тучного человека, стоящего неподалеку от угла улицы Йодфат. Перед ним страница с нотами, и он играет на скрипке. Это больше похоже на скрип, чем на музыку, и так отличается от игры струнного квартета, который в последние годы располагается на тротуаре у входа в пассаж "Ход" на улице Дизенгофа, дом 101, и из вечера в вечер, к удовольствию прохожих, наполняет всю улицу праздником чарующих звуков Моцарта и Гайдна. Однако именно этот скрипящий звук останавливает меня в потоке пешеходов и возвращает

назад к меланхоличному скрипачу, уставившемуся в нотный лист, что перед его глазами. В этот момент я вспоминаю, что сердце Янкеле всегда согревалось при виде уличных музыкантов.

"Спасибо вам", - говорю я и кладу монетку в футляр от скрипки, а на экране памяти, что перед моими глазами, вижу, как Яков идет рядом со мной по западной стороне Дизенгофа от улицы Фришмана к Гордона, мимо "Равеля", который тогда все еще был кафе, останавливается, ищет в кармане монетку. Я слышу его чуть смущенный, извиняющийся голос: "Именно вот такие, кто не умеет хорошо играть, кто пиликает, больше всего и согревают мне сердце". Словно клещами сдавливает меня вдруг тоска, когда я вспоминаю этот голос, в котором было столько оттенков, голос живой и теплый, обладавший богатым диапазоном настроений и чувств.

Я как раз прохожу перед пассажем на улице Йодфат, в этом месте в середине семидесятых годов размещался чудесный книжный магазин под названием "Лирик", в котором можно было посидеть, выпить кофе, шоколада или чаю за счет заведения и просто почитать. Мы заходили туда вдвоем взглянуть на книги, а иногда договаривались встретиться там и пойти погулять вечером, когда я обычно возвращалась из университета, а он выходил в перерыве между своей работой.

* * *

Одним летним вечером 1981 года – каникулы были в полном разгаре, и я со спокойной душой могла позволить себе с наслаждением устроиться на деревянных ступенях и погрузиться в чтение, кажется, это был недавно вышедший в свет сборник любовной поэзии Ехуды Амихая, – я вдруг услышала сзади голос девушки, очень молодой и бодрый голос, говоривший кому-то, кто был с ней: "Если хочешь настоящую книгу, книгу на все времена, то купи "Протокол" Якова Шабтая".

Это было удивительно. "Протокол" к тому времени уже удостоился нескольких глубоких критических статей,

признания писателей и литераторов, а также премии Ассоциации книгоиздателей за 1978 год, однако по-настоящему публика откроет роман для себя лишь после неожиданной кончины человека, который написал его. А тому предложению – "Если хочешь настоящую книгу, книгу на все времена, то купи "Протокол" - Янкеле поразился уже тем же вечером, когда я поспешила вернуться домой, чтобы рассказать ему об этом.

Он знал ценность книги, которую написал. В глубине души знал, что "это настоящая книга, книга на все времена", хотя никогда не высказал этого вслух. Даже когда Дан Мирон (профессор, крупный современный израильский литературовед, эссеист и редактор. Давний друг четы Шабтай. – А.К.), вернувшись из поездки в США весной 1978 года и лишь тогда прочтя книгу, опубликовал о ней большое эссе, в котором назвал роман "шумной неожиданностью", пришел к нам домой и целый вечер, не переставая, хвалил его, пока вдруг не умолк, помолчал и спросил, слегка пораженный: "Но скажи, как ты вообще написал такую книгу?!" – даже тогда Янкеле только смущенно улыбнулся.

В нем была неподдельная скромность. Скромность знающих. Как в стихотворении Авраама Бен Ицхака (Авраам Сона, 1883-1950, ивритский поэт, при жизни опубликовал лишь 12 стихотворений. Возлюбленный Леи Гольдберг, написавшей о нем мемуарную книгу "Встреча с поэтом". – А.К.) "Счастья сеющих не убудет".

* * *

Каждая прогулка по улице Дизенгофа снова и снова открывала мне перемены, происходящие в Тель-Авиве, без которых в нем не бывает ни дня. И тем утром, направляясь к восточному окончанию этой улицы, немного не доходя до ее пересечения с улицей Фришмана, я увидела завершение дней старого магазина игрушек "Ехуда", большая витрина которого всегда притягивала взгляд обилием медвежат, кукол, пестрых коробок с играми и прочих игрушек, радовавших сердце. Это был центр притяжения для детей, проходивших здесь, да и не только для детей.

В наши редкие приезды в Тель-Авив в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов (в 1955-1967 годах Эдна и Яков Шабтай жили и работали в кибуце Мерхавия. – А.К.) мы покупали в этом магазине подарки Хамуталь, нашей старшей дочери. Отсюда, когда ей исполнилось шесть или семь лет, мы привезли ей на день рождения набор "Юный ученый" с баночками и пробирками, о котором она мечтала с тех пор, как увидела его, навещая в тот год на Песах бабушку и дедушку, живших на улице Фруга. Возможно, это был первый толчок, который с годами привел к тому, что она стала изучать медицину. Сюда я приезжала, чтобы купить подарки Орли, нашей младшей дочери, когда мы уже жили на улице Лурии (Йосеф Лурия, 1871-1937, – педагог, публицист и редактор. Приехал в Палестину в 1907 г. и преподавал в гимназии "Герцлия". Был председателем Союза учителей и заведующим отделом образования Всемирной сионистской организации. – А.К.), дом 1, недалеко от площади (Цины Дизенгоф. – А.К.). Сюда же я снова приезжала в последние годы, чтобы купить подарки внуку.

Несколько недель назад, когда я проходила здесь и увидела табличку "Мы закрываемся", я зашла и купила маленькой Авигаиль большого медведя, который одиноко сидел на уже пустой полке.

"Мы закроем магазин еще до конца марта, - сказала мне хозяйка, жена Ехуды. – Мы вынуждены. Уже нет никаких сил".

А в то утро в конце марта, о котором я рассказываю, из витрины на меня смотрела только пустота, темная пустота. Пуста большая витрина, пусты полки. Улица лишилась еще одного магазина, который некогда был маленьким миром, полным жизни, - исчезло еще одно памятное место.

* * *

На обратном пути домой, а теперь я живу на севере Тель-Авива, я иду по его улице, улице Фруга (на улице Фруга, 15 – в доме его родителей, Яков Шабтай жил в юности. Этот дом также описан в обоих романах прозаика –

"Протокол" и "Эпилог". – А.К.). Если бы Янкеле действительно смог вдруг быть здесь, рядом со мной, он бы узнал ее. Здесь произошли лишь небольшие изменения, по крайней мере, что касается "домов для рабочих" (один из кварталов жилых домов, которые Гистадрут строил для своих членов. – А.К.), стоящих от угла улицы Фришмана до прохода на улицу Мапу. Однако на отрезке, расположенном ближе к улице Гордона (часть, которую он обычно называл "дома Габимы"), с оглушительным шумом реставрируют дом номер 34 – трехэтажное здание постройки тридцатых годов в стиле «баухаус». Надпись на большом щите гласит: "В охраняемом здании продается пентхаус 16 кв. м. + лоджия. Трехкомнатные квартиры, особый пентхаус с окнами во двор".

Я спрашиваю себя, хотел бы он жить здесь, вспоминаю его голос, исполненный грусти, в последнем интервью по радио, которое он дал незадолго до смерти: "По улице моих родителей, по этой улице я не хожу", - и отвечаю себе, что, если бы он был здесь, то возможно, очень возможно, что – да, хотел бы.

Послесловие переводчика

Благодаря появившемуся в 2003 г. на русском языке второму роману Я. Шабтая "Эпилог" (перевод с иврита Наума Ваймана), читатели могут еще более убедиться в том, какое действительно значительное место в творчестве этого одаренного прозаика занимал Тель-Авив.

На иврите «Эпилог» («Соф давар») был издан в 1984 г. - спустя три года после преждевременной кончины автора. Роман увидел свет благодаря большой редакторской работе Э. Шабтай и Д. Мирона, которые из 1100 страниц незавершенной рукописи подготовили целостное произведение, одно из сильнейших в ивритской прозе 70-80-х годов XX века. Смерть Шабтая вызвала чувство горечи у всех, кто ожидал от этого талантливой художника новых ярких книг.

Шабтай любил город, в котором родился, прожил немало лет в юности, до службы в армии, и в который вернулся в 1967 г. уже с семьей и прожил последние 14 лет своей жизни. Он умер от сердечного приступа ночью 4 августа 1981 г. в маленькой квартире на последнем этаже дома номер 1 по улице Ицхака Лурия в центральной части Тель-Авива.

И вот в конце 90-х годов прошлого века в средствах массовой информации в Израиле началась кампания за присвоение имени этого крупного писателя, драматурга и переводчика одной из тель-авивских улиц. Возникал естественный вопрос – почему 17 лет спустя после кончины Шабтая вдруг заговорили о необходимости увековечивания его имени в Тель-Авиве?

Причин, на мой взгляд, было несколько. Во-первых, отмечалось двадцатилетие со времени выхода в свет первого, так удивившего читающую публику романа Шабтая "Протокол". До этого - в 1994 г. книга была в очередной раз переиздана и снова тепло встречена критикой и читающей публикой. Во-вторых, в конце 1995 г. был издан двухтомник драматургических произведений этого автора под названием "Пьесы: Корона на голове и другие", также привлекая к себе внимание. В-третьих, в 1996 г. в Израиле был снят, а в 1998 г. показан и по телевидению художественный фильм "Вещи" по роману "Протокол". Режиссером и автором сценария был известный израильский режиссёр Амос Гитай. Популярности фильма содействовали и известные актеры, игравшие в нем: Аси Даян (сын Моше Даяна), Лея Кениг, Рики Галь и сам Амос Гитай. Наконец, театр "Гешер" в самом конце 1998 г. подготовил премьеру спектакля по пьесе Шабтая "Трапеза" (на иврите "Охлим", т.е. "Едящие") с участием нескольких своих ведущих актеров – Леонида Каневского, Евгении Додиной, Владимира Халемского, Евгения Гамбурга. В спектакле звучат также стихи Я. Шабтая. Отметим, что впервые эта пьеса была поставлена еще в 1979 г. в иерусалимском театре "Хен". Таким образом, в конце 90-х годов в культурно-художественной жизни израильского

общества наблюдался своего рода ренессанс интереса к творчеству Яакова Шабтая и самой его личности.

Инициатором идеи присвоения имени Шабтая тель-авивской улице был режиссер Дорон Цабари. Идею подхватила вдова писателя Эдна Шабтай: "Тель-Авив обязан называть улицы именами творцов, которые делают город заметным на карте литературы и культуры, и Яаков Шабтай, без сомнения, сделал это". Далее Э. Шабтай предложила, чтобы имя ее покойного мужа присвоили... улице им. Шимона (Семена) Фруга, ведь он-де жил в России и писал не на иврите, а на русском и идише... Зато на этой улице в доме 15, доме родителей Шабтая, будущий известный израильский писатель провел детство и юность.

В этой связи обратим внимание на слова самого Шабтая из вышеприведенного мемуарного очерка: **"По улице моих родителей, по этой улице я не хожу"**. Эдна Шабтай не объясняет эту явно звучащую странно фразу мужа о, казалось бы, любимой улице, на которой прошли детство и юность. У нас есть гипотеза для объяснения этой ситуации.

Отец Шабтая был строительным рабочим (не случайно семья Шабтай получила квартиру в "квартале рабочих", построенном Гистадрутом на ул. Фруга), человеком с сильно выраженным классовым пролетарским сознанием. Между старшим Шабтаем и сыном существовали сложные взаимоотношения - "узы любви вперемешку с горечью и гневом", как вспоминал последний. А вот свою мать Машу Я. Шабтай очень любил и глубоко переживал ее смерть. Когда умер и отец, в силу жизненной необходимости Шабтай был вынужден продать (с согласия своего младшего брата Аарона, ныне известного поэта) квартиру родителей на улице Фруга. Вот с этого момента, по нашему мнению, и могло измениться отношение писателя к этой тель-авивской улице. На это указывают и другие косвенные, но значимые факты. "Когда он (Я. Шабтай. – А. К.) был вынужден продать квартиру... - вспоминает близкий друг писателя Барке Харпаз (в 90-е годы прошлого века – административный директор тель-авивской Синематеки. –

А.К.), - он почти заболел от этого. Янкеле не мог простить себе..."

Так или иначе, но предложение о переименовании было передано на рассмотрение в комиссию по увековечиванию имен и наименованию улиц при муниципалитете Тель-Авива. Как это принято, тогдашний мэр города Рони Мило представил эту идею на заседании упомянутой комиссии и по истечении положенных десяти дней, при отсутствии возражений у членов комиссии предложение должно было быть утверждено.

Научно-творческая общественность сопротивлялась. Появились отдельные недоуменные статьи вроде "Шабтай вместо Фруга?" ("Едиот ахронот", 30.10.1998), а также пошли протестующие письма в газеты. Так, известный профессор-литературовед Нурит Говрин справедливо писала: "Новый писатель, каким бы значимым он ни был, не отменяет важности творчества своих предшественников... Я приветствую решение назвать улицу именем Шабтая, но ни в коем случае не вместо Фруга или кого-либо другого".

Э. Шабтай не сдавалась: "Улица Фруга заслуживает называться именем Шабтая, поскольку явно тяготеет к его прозе и особенно – к двум его большим творениям о Тель-Авиве – романам "Протокол" и "Эпилог". ...А имя Фруга можно перенести на другую улицу" ("Едиот ахронот", 27.11.1998).

Принятие решения неожиданно затянулось – в результате прошедших в Израиле всеобщих выборов в конце 1998 года произошла и смена мэра Тель-Авива: вместо Рони Мило ("Ликуд") муниципалитет возглавил Рон Хульдаи ("Авода"). Понятно, что у нового городского головы и его команды в первые месяцы были дела и поважнее, чем увековечивание имен писателей и других деятелей культуры.

Так или иначе, но почти год спустя после начала дискуссии – в июле 1999 г. - состоялось присвоение имени Якова Шабтая новой улице на самом северо-востоке Тель-Авива в микрорайоне "А-Миштала" ("Питомник"). У известного литератора там достойные соседи: улица его

имени соседствует с улицами имени Макса Брода, поэта-авангардиста Давида Авидана, лауреата Госпремии Израиля композитора-песенника Саши Аргова (друзившего с Шабтаем и написавшего на его стихи ставшую известной песню «Улицы Тель-Авива») и видного детского писателя Левина Кипниса. В итоге и Э. Шабтай довольна: "Я думаю, Янкеле Шабтай может чувствовать себя здесь спокойно, поэтому согласилась".

А мне все же немного грустно: я разыскал на самом севере Тель-Авива и побродил по неприметному, скромному пешеходному переулку имени Якова Шабтая, 200 метров длиной... В городе, ставшем одним из героев его рассказов и романов, талантливый прозаик мог бы удостоиться немного большего.

Число переизданий романа Шабтая "Эпилог" уже приблизилось к двадцати.

Статья и перевод – д.ф.н. **Александр Крюков**

ЭДИП В КОЛОМНЕ

* * *

теперь короткий рывок и уйду на отдых
в обшарпанном 6-motel'e с черного въезда
визг тормозов и время замирает в потных
послеполуднях жиже жить не сыщешь места
какой-то шибойген или пеликен-рэпидз
всплески цветных галлюцинаций на заборах
окно в бетон на стене трафаретом надпись
то-то и то-то паркинг в пыльных сикамомах
платишь индусу в субботу сколько осталось
или в календаре переставляешь числа
ящик на кронштейне звездный след это старость
годы которым в уме не прибавить смысла
солнце летит болидом за дальний пакгауз
точка где исчезну и уже не покаюсь

щелкнешь пультом и в кильватер ток-шоу теннис
а поскольку лето в календаре постольку
звон цикад я вчера через дорогу в denny's
слышал про озеро в пяти часах к востоку
взглянуть бы раз но движок у доджа ни к черту
ремень вентилятора источили черви
пергидролевая за стойкой взбила челку
не для меня конечно да и мне зачем бы
кофе разит желчью носок изъездил вену
запор на заре потом понос на закате
озеро-шмозеро вообще не шибко верю
ничего не бывает витгенштейн в трактате
написал как отрезал каждому известно
правило мир это все что имеет место

озеро мичиган заветный берег жизни
так далеко на сушу отшвырнуло бурей
не был в йеллоустоне где медведи-гризли
в сущности то же что и европейский бурый
где-то америка башни вновь по макету
гадай в шибойгене переживут ли зиму
нынче было знаменье как баньши макбету
на коре кириллицей костя сердце зину
дрогнуло перед взрывом что земля большая
сердце истекло любовью к родному краю
но уже все равно потому что вкушая
вкусих мало меду и се аз умираю
в городке которого не припомнит карта
на крыльце мотеля в подтяжках из k-mart'a

* * *

толпа не знала времени отъезда
окрестными теснима небесами
откуда башня падала отвесно
с мерцающими как ручей часами

толпа листвою шумела и дышала
она жила бегом как от пожара
но нашему прощанью не мешала
пока ждала и время провожала

благословенны юности руины
в районном центре солнечного круга
на станции где мы тогда любили
без памяти и все еще друг друга

там пел в толпе один невзрачный видом
с гармошкой и в нестиранной тельняшке
прикинувшись вокзальным инвалидом
эскизом человека на бумажке
пускай тогда он не глядел на нас но

отсюда видно чьих коснулся судеб
поскольку пел о том что все напрасно
что все пройдет и ничего не будет

но мы ему не верили конечно
а солнце дни усталые верстало
чтоб доказать как утверждал калека
что все прошло и ничего не стало

так все сбылось и ничего не страшно
остался свет но он горит не грея
и там на площади осталась башня
с дырой откуда вытекло все время

* * *

когда пора мастерить кофе или яйца
всмятку а в ванной пульсирует дробь из крана
в дверь вопросительно постучат сгибом пальца
чуткой костью хотя звонок дециметр вправо
назад в постель изловчиться что только
встанешь
с кем еще натошак когда во рту ни слова
с тыльной стороны сна день распростерт как
залежь
небольшой тишины но черт стучатся снова
рассчитайся попарно вот который в душе
тупо тычет в ухо щетку щурится слепо
может туда и спишь а просыпаться лучше
строго обратным курсом по абсциссе влево
вокруг океаны сна тут только каюта
суша мерещилась дань глупому поверью
с какой стати идти и открывать кому-то
там кроме страшных рыб нет никого за дверью
мешает муляж окна дырки в снежной вате
чья ты кукла забытая на зимней даче
допустим и правда стучат войдут и нате
все рассядутся и что с ними делать дальше

трудно что ли склеить остовом рыбы кости
вот их обтянули кожей налили кровью
а те решили что существуют и в гости
не стучите вас никого нет не открою

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

I

подобно пифагорову бедру
в парилке где попутала харизма
стальные слитки выпали в бреду
из бережно живого организма
тот кто летит пока пунктирно цел
но в паузах сквозит как древний гений
лицо его луны светло как мел
сталь вниз влечет но вверх вздымает гелий
скрипи нейлоновое полотно
гроза и небо в голове громадно
ни взгляда вниз там на земле пятно
там кровь аэроавта

II

сегодня вахтенный инспектор звезд
вершитель абсолютного полета
а чуть вчера не менее чем хвост
бригадой теребили из болота
пусть пряжками определяют ремни
дыру меридианам где съезжаться
едва верньер такому поверни
и горизонт шипя пошел снижаться
чу кычет в ночь снаряд из полотна
где вон какие ястребы ристали
кисть из запястья брызжет холодна
из гелия и стали

III

весь горный ум космический полип
любитель тайн в слоях фольги и ваты
шумел как миленький когда погиб
но в радиусе кляксы маловаты
вот если мозгу голова вредна
или бокам топленая лежанка
другие не настанут времена
но прежние здесь уважать не жалко
брать крайнюю и в мертвую петлю
кем в устье ног ей приспособлен листик
здесь отвинтить *gluteus* на лету
лови античный мистик

IV

весь компас вверх а в сторону нигде
пусть небо врозь на четверть радиана
там дева тверди в кварцевой воде
двуного спит откинув одеяла
краса небес всей радости жена
мир дар тебе в нейлоновой авоське
он выстрелен как жернов из жерла
прав хайдеггер в парилке на помосте
уже дрожат форсунки на борту
они умрут но не погаснет разум
гвоздями истекая в темноту
и благородным газом

V

раз в животе у прежних дев поет
всех поколений точная рассада
все вспоминай пиши пока пилот
как с гравия нас вечно вверх бросало
жизнь сведена к последнему звену
здесь на излете сталь а плоть прекрасна
и в горле речь и эта кровь внизу
твоя что человеку не напрасна
он лепетал из плена до сих пор

вбивай урок в пустую память чью-то
свети слепому огненный прибор
пльиви ночное чудо

* * *

наутро на смертной постели
приснятся в последней стране
красивые листья растений
укромные твари в траве
свинцовым затылком в подушку
следить целиком отболев
как странника сонную тушку
съедает задумчивый лев
недолгая в лютне соната
к луне вековое лицо
такую картину когда-то
рисует художник руссо

так жалобны кошки и люди
секрет этой жалости прост
у них обгаренные руки
мечтательный по ветру хвост
поэтому люди как дети
их совесть стремится к нулю
других бы придумать на свете
но все-таки этих люблю
я сам этот странник усталый
босые ступни без стремян
но стоит расслабить суставы
как тут же с костями съедят

подбив свои пени и льготы
спасибо светилам втроем
что времени лучшие годы
я может быть кошкой провел
внемлите олень и волчица

что ссориться больше нельзя
нам только любить наловчиться
и будем навеки друзья
допустим природа прекрасна
забудем тревогу и стыд
а камень бессмертен напрасно
хоть сам ни о чем не грустит

ЭДИП В КОЛОМНЕ

шумно вздохнуло чудище и отвечало
рассуди сам по науке если философ
в термодинамике есть второе начало
и число ответов меньше числа вопросов
вот на эту разницу и живем с супругой
с утра наличных ноль но на кон ставлю смело
пораскинь чем бог над этой правдой сугубой
и взмахнуло лапой и убило и съело

жалко ослепнуть в зобу не прозрев ни разу
плохо кончить век дичью без избытка знаний
человек не чета идеальному газу
раз передний ум тормоз не вывезет задний
страшно когда среди природы постепенной
суслик пополам плугом с небес камнем птица
тепловая други мои гибель вселенной
по ту сторону шанса налить-похмелиться

домик допустим в коломне за вином прямо
ответ или-или судьба обыкновенна
здесь кто папу зашиб кому дала чья мама
вопрос не острый не австрия чай не вена
выиграет на солнце льдинкой прозвенит фикса
о берега стакана и в путь ко второму
а какие и гибнут то не в пасти сфинкса
с константой больцмана на устах в дар харону

СКАЗКИ ПУШКИНА

на руслане росли в ковылях на людмиле
чуди с водью в ботве учиняли отлов
а чужих чародеев уволь не любили
тут своим не наплотничать дыб да колов

лейся в песне содом если в сердце гоморра
но чем шире душа тем темней города
бей своих чтоб чужие на борт черномора
то-то ряби в очах и в руке борода

тридцать три из трясины в торфянике вязком
в пользу мужней науки жена сражена
булаву в чистом поле на голову с лязгом
раньше думал такой а потом не нужна

с фсб на васильевском спуске в повозку
больно все напоследок русалку хотят
и баюн ваш ученый пейсатый в полоску
пусть попляшет покуда мы топим котят

расстилайся славянская в банях услада
близко музыка сфер репродуктор в метро
спой нам оперу глинки о брани руслана
с головой если сердце на рельсах мертво

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ

* * *

Вот бы мне такую квартиру, чтобы
из одного окна восход был виден,
а из другого – закат, ещё отчётливей, шире.
Чтоб не просто жильё, а целый день,
что там день – чтоб целая жизнь
помещалась в квартире!

Да ведь это душа моя, именно в ней
всё – и детский восход, и закат внезапный.
Понимаю, надёжней квартиры нет.
Погляжу я в окно ближайшее
и увижу чёрные тучи, а между ними –
отчаянно розовый свет...

* * *

Старость – ребёнок. Он вырастает,
будь ты хоть умным, хоть глупым.
Не разбирая дороги,
время идёт по трупам.

Нынче старушка юная,
чувствуешь сквозь усталость:
взрослая старость явится,
за нею – старая старость.

Прими все старости сразу,
от ужаса не мертвей.
Старость – проверка здешняя
нездешней души твоей.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Долина оленей в городе вечном.
Стоят оленёнок и олениха.
Деревья, кусты... Как зелено, тихо!
Вдруг ветром подует – бензинным, аптечным...

ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ

В ресторанчике этом летнем
крыша вдруг взяла и поехала!
Крышей сделалось небо,
крышей сделались звёзды.

Как бы мне не лишиться крыши
над моей головой напоследок!..
Как бы мне не лишиться неба,
как бы мне не лишиться звёзд...

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ

*Работоспособно на зависть.
На стрелках не видно пота.
Ах, как бы его заставить
Чуток на меня поработать!
«Время», 2002*

Эврика! Способ найден!
Время – деньги, все это знают.
Значит, деньги, соответственно, – время.
И если с умом подойти к проблеме
и откладывать, пусть совсем немного,
но регулярно, спокойно, строго,
то время – ура! – начнёт на меня работать,
и вспыхнут на стрелках капельки пота.

Эврика! Этим утром вешним
я открою тебе, читатель, простой секрет –
как можно пользоваться временем здешним,
применяя временный белый свет...

* * *

Коронавирус, коронавирус...
Сидим в домах, в компьютерах сидим.
Лес памяти внезапно вырос –
от детства до сегодняшних седин.

В нелепую беду я угодила
со всеми карантинными людьми.
Перебираю тех, кого любила, –
от детской до сегодняшней любви...

Но это по ночам, когда не спится,
а днем сижу послушно взаперти.
Пью понемногу. Не успею спиться!
Живую душу я должна спасти.

Затягивает карантина тина.
Я не поддамся, не поддамся ей.
Есть у меня, счастливицы, квартира.
Всю вылижу – от окон до дверей!

Я представляю: чистота в квартире,
я пью за жизнь в обители земной,
и вируса как не бывало в мире.
Лехайм! И человечество – со мной.

* * *

Наша первая общая собственность –
книжку нам подарили с тобой.
Просияло пространство мига:
нет у нас ни общих детей, ни квартиры общей –
есть книга.

УЛИЦА ИМЕНИ ПЕТЛЮРЫ

я лис,
я плыву в армаде
сонных камней,
которые ничего не сказали мне.
я лис,
я приставлен к награде
за сто ночей,
но не был живым ни в одном,
ни в единственном дне.
я лис,
я смотрю на небо
сквозь дым и стекло,
знаю, что моя лишь вина –
моя слепота.
я лис,
я иду сквозь пепел.
мне повезло –
я не выпил тот яд до дна,
не остался там.
я лис,
я мерцаю в небе
тусклой звездой
в надежде, что кто-то увидит,
придёт, найдёт.
я лис,
я слепой, глухой, немного немой
бессмысленный камень
в виде лиса,
нелепый плот.
я лис,
я плыву в армаде сонных камней,
среди них я один

уже три века не сплю.
очнись.
посмотри на меня.
через сто долгих дней
я сдамся, наверное.
и горький яд свой
допью.
я лис,
я иду по кругу,
я в нём плыву.
я прокладываю
очень долгую магистраль.
открой
где-то там, вдали, мой земной приют,
и тогда буду плыть я
не просто по кругу,
а вдаль.
я лис,
я дышу кострами
на берегу,
я играю в прятки
с тенью чужой.
я лис,
я, наверно, больше так не могу,
забери меня,
вытащи,
и отнеси
домой.

учёные доказали,
что не существует ни собак, ни волков.
в зрительном зале
хлопали молча, без лишних слов...
впрочем, на дворе двадцать первый, и этот зал
был просто ютубом.
ютуб нам вот так сказал.

лисы, что дружат с людьми – рожают собак.
лисы, что с ними враждуют – только волков.
значит, и на ковчеге – без лишних слов
не пара лисов плыла, а шесть, разве не так?
впрочем, нет. это понятно - впервые за много лет.
много было лисят, и потом они
разбились на кучки. стали волками в те дни
те, кому был не по душе ковчег.
те, кто любили Ноя - собаки навек.

выбор прост у всякого лиса, знай.
будешь любить ковчег – так собачий рай
тебе открывается. будешь Ноя кусать –
станешь ты волком, будет вас бегать рать,
и, вестимо, из ружей в людей стрелять.

вот двадцать первый век, и волки бегут –
ищут людей. кого-то если найдут,
будут кусаться, будут злобно рычать...
так создаётся война. приходит – опять.

тех, кто любить пытается, не поймут.
шавки! вы лижете руки! зачем вам корма?!
лучше стойте за правду, за веру! на –
вот автомат, беги же, собака, тебя там ждут!

только лисы сидят в шальной темноте.
да, их когда-то принял Ноев ковчег.
только, хотя уже двадцать первый век,
не полюбили людей они – все не те,
но ненавидеть не стали их тоже, нет.
лисы прекрасно знают: ненависть – бред.
лисы горько молчат или тихо фырчат,
лисы нам ничего сказать не хотят.

как же так получилось, скажи нам, Ной,
что на твоём ковчеге было порой,
что обижали бедных глупых лисят,

и получились полчища... из волчат?
как же так получилось, скажи, пророк,
что ты щенят своих защитить не смог,
давят их волки и нещадно грызут...
лисы молчат. они пути не найдут.

лисы, увы, давно не ищут пути.
знают, что им ничего самим не найти.
может, придёт в двадцать первом наш нео-Ной?
мы ему скажем тогда: дверь в ковчег открой.
мы уплывём с тобой, уплывём туда,
где шансы есть стать собакой спустя года,
только не волком. люби нас. люби сильнеей.
Господи, ты ведь любишь своих детей?..
Ной, ты скажи, ты любишь своих лисят?
мы на ковчеге плыли годы подряд,
мы за тобою шли, так подай нам знак,
просто скажи, что с нами вышло не так?

дай нам ковчег, и дай нам свою любовь.
знаем, что ты не Бог, ты лишь только Ной,
но мы – мы, лисята! – верим, что мы с тобой.
пусть отплывёт ковчег – дальше от волков.

говорят,
евреи шли сорок лет?
а на сорок первый была война.
говорят,
в апреле приходит свет?
ну а в мае?
память про ордена?
у кого-то Песах, апрель в цвету,
из пустыни всех выведет Моисей...
ну а кто-то помнит, как там и тут
был чужим,
изгнанником был еврей.

что изгнанником!.. жертвой. концлагеря
тоже, так сказать, зажигали свет...
только страшной жутью была заря,
говорила вести: выживших – нет.
а ещё – свет выстрелов. Бабий Яр.
гордый фолк: петлюровцы, мол, в аду!..
да, погромы – раньше, всё знаю я,
но по улице с именем я иду
все того же Петлюры. огни Москвы
объявили проклятьем, горем, войной.
понимаю, что же. но как, как вы
говорить смогли, что фашист – герой?

что герой – Петлюра. Бандера. и
хорошо, не Гитлер. эй, Моисей,
ты евреев вёл до Святой Земли?
но в Израиле так же кричат «убей».
что еврей, что русский, что... ну... метис,
в этом городе боль, в этом мире – тьма.
где-то флаг печально, горько повис,
словно эшафот. словно жизнь – тюрьма.

я не знаю, как здесь сегодня жить.
слово против – вата! а за – укроп.
и о чем мне небо теперь молить?
чтобы снова смыл всех кругом потоп?
вся планета нынче – вроде войны.
говорят, евреи шли сорок лет?..
нам навек скитания суждены...
проливает ночь предрешённый свет.



Кот Аллерген

Картина Елизаветы Михайличенко

ЕСТЬ У КОТА ПЕРИОД ОСТРАКИЗМА

Пушистые кошки живут в богатом районе.
А лучшие кошки живут на весеннем пляже.
Пушистой - я почитаю с надрывом Вийона,
а с лучшей - мы у нагретого моря ляжем.

Сотней кошачьих глаз за нами следят отели.
Миллионами глаз с неба - кошачьи души.
Нам хорошо на этой песчаной постели.
Возьми мое сердце и съешь мою порцию "суши".

Рыжая кошка - огонь, пепелище. Шрамы
картой дорог на теле твоём, морячка.
В этом я, мальчик, вижу источник шарма.
А для поэта в этом - хмельная качка.

Мы отряхнемся, может быть чуть брезгливо.
И разбежимся, может быть чуть поспешно.
Серые волны тушат огни Тель-Авива.
Звездная пыль оседает на город грешный.

НЕ ТОЛЬКО...

Я пью не только молоко,
я кот, а не монах.
Когда подружка далеко,
и в четырех стенах,
со шкафа уроню бутылъ,
меж острого стекла
я буду пить вино и пыль,
чтоб грусть была светла.

Курю я не один табак,
а раз, и два, и три.
Хозяин мой, такой чудак,
не держит взаперти
ни сигареты, ни гашиш,
ни прочие дела...
А после я поймаю мышь -
чтоб грусть была светла.

Я нюхаю не только след
подружки на песке,
а то, что нюхать вам не след,
что так стучит в виске,
что превращает кошку в льва,
но дух сожжет дотла...
Я в рифму выстрою слова,
чтоб грусть была светла.

Колюсь не только о репы,
колюсь шипами роз,
тех, что хозяева мои
припрятали всерьез.
И звезд бездарный хоровод
рассеялся, погас.
И Млечный путь лакает кот,
открыв на кухне газ.

НЕ БОЙСЯ

Я пропил дорогую корону.
Я свой трон разместил под мостом.
И упала на землю ворона
обгоревшим осенним листом.

Я смотрю на течение Темзы,
полной непотопляемых звезд.
Я сегодня усталый и трезвый.

Я сегодня доступен и прост.
Вся вселенная узким мосточком
протянулась над умным котом.
Я себя ощущаю лишь точкой,
завершающей текст. А потом...

О ГЛАВНОМ

Есть у кота период сволочизма.
А у кого такого не бывает?
Быть сволочью среди постмодернизма.
Конторы едят, а собака лает.

Есть у кота период подыхания.
А у кого такого не бывает?
Быть изгнанным. Свобода и таскание.
Свобода выбора.
Назло - невыбирание.

Есть у кота период остракизма.
Принадлежать не дому, а свободе.
Мой предок в сапогах - больших и кирзовых
топтал свободу при любой погоде.

Я не люблю периода любви,
поскольку он сменяется расплатой.
Но март зовет. Жалей ее, зови,
потом носи ей курицу в палату.

ПОКА НЕ ТРЕБУЕТ

Несите мне колбасное варенье.
И рыбный мед. Сметанные обрезки.
Обожествляю не пищеварение,
а счастье обладания недетское.

Как жизни ощутить непустоту?
Вот так и действуй. Жри, люби, надейся,
что ты еще не пересек черту
меж лицемерием и лицедейством.

Я не люблю голодного стекла,
блистающего нам из глаз пророка.
Я - сын поэзии, цинизма и порока,
и мать моя такая же была.

Я все отдам за красное словцо.
И за него же - все возьму трехкратно.
Я всех делю на самок и самцов,
и на творцов, но говорящих внятно.

Пока меня не ищет Аполлон,
о нем я тоже честно забываю.
Я караюлю мышь, ворон считаю,
и зажигаю с четырех сторон!

ВОКРУГ РОССИЯ ЛУБЯНАЯ

Янушу Корчаку

И опять по новой. Золотые фески.
Па'нове пано'ве, ты ли иудейский?
Им не будет места. Списаны, гонимы.
Ты ли иудейский?
не ходи за ними.
Хочешь передать им крошечку покоя?
Тёплыми руками обхватить живое?
Полегчают волны лёгочного кашля.
Может, будет больно, но почти не страшно.....

А вокруг природа!
Ты не понимаешь.
Память не колода, память уломаешь.
Будет и дыхание, и пищеварение,
Будет Матке Боске душеотмоление.
Фетровая шляпа.
Фетровая совесть.
И пальто из драпа, и потомкам повесть.
Мемуары даже про любовь и милость.
И никто не скажет!
Что? Договорились?
Так какого чёрта! Bardzo źle nagroda!¹
Почему аорта просит кислорода!
Почему лишь ветер чёрная короста

Потому
Что
Пепел

¹ Bardzo źle nagroda! - Очень плохой приз (пол.)

Тяжелей
Чем
Воздух....

МАЛЫМ СИМ

как дела сегодня у Бога
а у Бога и смерти нет
и до тёсанного порога
мне орешник несёт привет

а дитя воды водомерка -
это тоже его дела -
иноверка и баядерка
заболела и умерла

и на очень большой планете
оказалось что никого
никого кто хотя б приметил
баловство её озорство

и теперь останется ль пусто
водомеркино то жильё
не об этом танцует грустно
водомер
про своё
своё

Сколько басен о радостях мира,
Сколько правды о дальних мирах,
И всё кажется, терция лиры
Прозвучала не в этих краях,
А в созвучье далёкого неба
В хлорофилле зелёной звезды,
Где я в снах неприкаянных не был
И не пил изумрудной воды.

Почему же, мой свет, почему же
Тот убогий закатный погост
Оказался причастен и нужен
Больше всех молибденовых звёзд!

Видно, только придумано, будто
Где-то сеет чужой листопад,
И что лира чужого уюта
Столь же ладна на греческий лад....

Граф неподкупен.
Снег некрупный на львиных гривах.
Шпиль блестит.
И броненосец пятитрубный
В Кронштадтской гавани стоит.

Окрест Россия лубяная,
Цветной, цыганский шумный стан,
Молчащая, глухонемая,
Одета в онуч и кафтан.
А в ней живут мещане рая,
В столицах, сёлах, по углам,
Волошин, Тэффи, Вересаев,
И разночинец Мандельштам.

И нет такой на свете скуки,
И неизменен ход планет.
И не падут бессильно руки.

Молчи.
Так будет тыщу лет.

Запах снега с уличной брусчатки
Из окошка на слепом ветру
Дополняет ауру осадка
Кофе, выпитого поутру.

Ключ в замке. Неслышно запереться,
Слушать звуки дома и покой,
И ещё неровный синус сердца
В клетке между грудью и спиной,

И баюкать тихий свет фавора,
Сущего повсюду и нигде,
Словно утонувшая Матёра
В восковой непрошенной воде.

Словно еле слышный голос песни,
Что тайком присутствует с утра.
Что смолкает.
И сейчас исчезнет
В завитках персидского ковра.

ВАСИЛИСК

Во взгляде синем василиска
Я вижу жертвенный уклад.
Когда рука над ним зависла,
Он рухнул, пораженью рад.

Он что-то телом прикрывает
От суеты чужих утех
В пустыне, милом ему крае,
Бесплодном рае не для всех.

Его поверг я первым взмахом,
И жалость разметала гнев,
Мне грязная его рубаха
Привиделась – как первый снег.

Он взглядом породил пустыню,
Он вздохом обошел ее,
И яд в глазах под небом стынет,
Как василек отброшенный.

Это – как увидеть город
Из штормовых волн.
Или же – по своей ли, чужой воле
Переживать в этом городе голод

Без еды или без любви, без дружбы.
Или по делам службы
Жить в стесненных обстоятельствах.
Еще это называется – швах,
Особенно если погрязнуть в мечтах.
И вот идешь так в голубой тени,
Потом – по солнцу.

И губы соленые. Они
В ее блаженном поте,
Или в морской соли,
Или в собственной крови.

СЛОН

И с обеих сторон переносицы –
Явь с одной, с другой сон,
То туда то сюда переносится
Хобот. Идет по саванне слон.

Так легко ему. Пить очень хочется,
Правда, – впадают бока.
Слон не назван по имени-отчеству,
И саванна, как день, глубока.

Миражи перед ним поднимаются,
И трубит он, приветствуя их,
Сам не знает, ликует он, мается;
Вот опять он, как небо, притих.

Непрестанно рождается заново
Яркий, нежный и ласковый цвет.
Что же это? Вода или марево?
Что же это? Уж близок ответ.

ЗАВСЕГДАТАЙ

Он пьет под крик чаек,
Живет в прибрежной хибаре.
Иногда что-то читает,
И то и дело появляется в баре.

Он, наверное, великий писатель,
А может быть, журналист,
Или бывший спасатель,
Или авантюрист.

Никто точно не знает.
Хотя его знают здесь все;
И когда он у стойки зеваает,
Кажется, что он умрет к весне.

Кажется, что кричат чайки
Именно над его головой,
Когда, словно после качки
бешеной, он бредет сам не свой.

АЛЬБАТРОС

Дует шторм на блюде с чаем,
Шторму мы не отвечаем.
А ответим, он – заглушит,
Стройную волну обрушит

На звенящий галькой берег.
И – плывет проливом Беринг,
Тянет снасти древний грек,
В капле соль свежа вовек.

В этом гуле смоем горе
Вечно царствующее море,
Бьющее с плеча в причал.
Там его перекричал

Лишь белесый альбатрос,
Скрипнувший, как ржавый трос.
Моря он любимый шут,
Полуптица-полуспрут.

SMOKE ON THE WATER

несколько стихотворений в прозе

Вчера, по дороге на работу видел аварию. Точнее, само столкновение трех машин на шоссе я пропустил. Проехал это место минут через сорок после удара, не остановился, но притормозил. Я - не любитель подобных зрелищ, но у меня не было выбора. Все до одной машины передо мной притормозили, так что моментально образовалась небольшая, но малоподвижная пробка. И у меня нашлось время всё как следует рассмотреть. Как я сказал, столкнулись три машины. Первая, судя по всему, виновница торжества, лежала на боку, две другие, искореженные, повернутые по часовой стрелке, застыли в непосредственной близости от первой. У одной весь водительский бок был вмят, так что шансы на светлое будущее у рулевого ровнялись нулю. У третьей колесницы сильно пострадал радиатор, и правый фонарь был вывернут с мясом. В салоне этого авто царило безлюдие, и было трудно понять, как обстоят дела у пострадавших, их уже увезли на "скорых" или они, отделавшись легким испугом, стоят тут же, пополнив ряды зевак. На каталке лежало лишь одно завернутое с головой тело, и его собирались уже грузить. Блистали на солнце мелкие, как бриллианты, осколки разбитых стекол, там и сям виднелась пролитая кровь. Две полицейские машины стояли поперек полосы, вычлняя сцену. Полицейские чины недалеко от меня тоже смотрели на следы аварии, и о чем-то совещались. Я выключил радио, опустил окно, в надежде услышать их беседу, узнать подробности, но жаркий ветер залетел в машину и не дал мне ничего разобрать. Один из полицейских, наверное,

патрульный, повернулся к нам и интенсивно махал рукой, призывая водителей пришпорить лошадей под капотом. Понятно, что пассы его впечатления не производили. Кто-то в голове импровизированной колонны не мог расстаться с полюбившимся зрелищем.

А я поймал себя на том, что думаю о давнем своем приятеле, Вене Ловицком, с которым учился на одном курсе института. Это был своеобразный парень 35 лет отроду, перестарок в нашей среде. Он позволял себе многое, на что не решались другие студенты, и мы несколько раз ходатайствовали в деканат, чтобы его не трогали. Одной из особенностей Вени было свойство исчезать на некоторое время из поля зрения, на 2-3 дня, иногда на неделю. Где он, что с ним, никто не знал. Потом мы узнавали, что где-то за городом или даже в другой области происходила какая-нибудь катастрофа. Сталкивались поезда, или разгорались пожары, или взрывались промышленные объекты, неважно, он оказывался там. Постепенно все привыкли к этой его особенности, даже декан, а кое-кто шутил: Чип и Дейл идут на помощь. За ним обычно увязывался кто-нибудь из новичков первокурсников. Кто-то шутил, а я знал, Вена - эмоциональный вампир, его согревают и питают зрелища, связанные со смертями и болью. Я не осуждал его, не презирал, поскольку догадывался, что это от него не зависит, это - сильнее его,

Тем временем мешок с трупом погрузили, и "скорая" тронулась без мигалок. Куда теперь спешить? Полицейские тоже споро расселись по машинам, представление закончилось.

Наша пробка начала рассасываться. Подумалось было о покойнике, что на его месте мог бы оказаться кое-кто другой, но я постарался эту мысль отогнать. Зачем себя накручивать в

начале трудового дня? Поднял окно, включил радио, там звучала старая песня из моей юности, Smoke on the water.

Сегодня опять той же дорогой катил, мимо места вчерашней заварухи. Притормозил, по старой памяти. Никто и ничего больше не мешало обзору, правда, смотреть было не на что. На асфальте остались только тёмные следы крови и стеклянная крошка.

Вспомнил, казалось бы, без всякой связи о шоу-бизнесе. Подумал, что никому не придет в голову обвинять любителя кровопролитных и зубодробильных сцен в кино- теле- и театральном шоу, в нечувствительности и в эмоциональном вампиризме. Устроители из кожи вон лезут, приближая свои симуляции к реальности, чтобы зритель забыв обо всем, принимал их за чистую монету. И кто кого после этого заставляет крутиться, зритель, который знает, что Карфаген должен быть разрушен, или продюсеры зрелищ, которые знают, что ожидание зрителей должно быть вознаграждено? Этим и отличается искусство от реальности. Ружье на стене должно выстрелить, и вылетевшей пуле желательно в кого-нибудь попасть. А иначе зачем ружью висеть на стене?

У этой монеты есть еще одна сторона. Зрители так привыкли к жизнеподобному шоу, что уже сами, без помощников, ищут повсюду шоуподобную жизнь.

Внезапно из притихшего было радио полетели звуки саксофона, заставившие меня вздрогнуть: Чарли Паркер - птаха, сгоревшая на лету.

«Точно, - подумал я, прислушиваясь к музыке, - дым над водой». И нажал на газ.

ПЕРВЫЙ ГОЛ

Я рос в городе, где основным народным слоганом была такая фраза: курица - не птица, «Черноморец» - не команда, одесситка - не жена. Комбинация этих самоуничижений могла меняться, но суть её оставалась неизменной, она символизировала негибемый, патриотизм южан, выраженный всего в двух речевых эмблемах: Одесса-мама и, вошедшее в легенду, портофранко. Но вернусь к фразе о «Черноморце». Не знаю, кто её изобрел, но так случилось, что моя жизнь выявила всю иронию данных умозаключений. Достаточно сказать, что я давным-давно женат на одесситке, и ещё ни разу об этом не пожалел.

С курицей тоже не всё гладко. Великий Рим спасли гуси, но наш город-герой на пороге девяностых тоже спасли пернатые. Правда, это были не гуси, не куры, и даже не синие птицы, это были синие цыплята, ими латалась дыра в продовольственной программе области. Ходили глухие, капитулянтские, по сути, слухи, что цыплята эти выпорхнули не из пьесы Метерлинка, а из стратегических запасов СССР. Я сам пробовал тогда их на вкус, и готов поклясться: это - птица!

С футболом дело обстояло еще сложнее. Меня никогда не волновала судьба «Черноморца», и футбол вообще меня интересовал ничтожно мало.

В детстве отец пару раз водил меня на стадион причащаться, но святых даров футбола я так и не вкусил.

Руку на отсечение не дам, но предположу, что ни разу в жизни, в эпоху детства или юности я не участвовал в этой благородной игре, и даже не был её болельщиком. Наблюдал матчи вчуже, по телевизору и на природе, понимал, что находили в игровых хитросплетениях беснующиеся толпы на трибунах, но меня это никогда не трогало. Я

находил интерес и вкус в других хитроspлетениях, другие вымыслы меня влекли.

Только однажды я подпал под обаяние футбола, случилось это глубокой ночью, в 1978 году на привокзальной площади не-то в Кишиневе, не-то в Тирасполе. Наш поезд, везший призывников в северном направлении, сделал небольшой крюк, как я потом узнал, чтобы забрать и забрить молдован. Вероятно, что-то не заладилось в военкомовских верхах, и поезд наш простоял на пустынной станции часа три.

Сидеть в душных вагонах было невмоготу, и наэлектризованный народ высыпал на площадь. Не знаю как, но очень скоро завязалась футбольная баталия. Кожаного мяча не было, и мы взяли на замену первое, что подвернулось под руку - банки с тушенкой. Дело в том, что в пункте отправления каждый призывник получил в руки из стратегических закрмов сухой паек: пачку сухарей, две банки тушенки и банку сгущенного молока. При этом практически каждый, уезжая от папы и мамы, получил от них некое количество разнообразной еды и питья. Короче, той ночью банки с тушенкой очень даже пришлись кстати.

Не помню, насколько технично катали 'мяч' участники, но кое-что роднило эту игру с матчем в высшей лиге. Никто не разыскивал 'мяч' за пределами поля. В игру вбрасывался новый 'инвентарь'.

Я смотрел на игру, орал вместе со всеми. В голове моей пронеслись разные мысли, смутные и неотличимые одна от другой. Вероятно, одна из них могла звучать так: заканчивается детство, начинается другая, взрослая жизнь, и сейчас эта жизнь забьет в ворота юности свой первый гол.

КРЕЩЕНИЕ

Александр Сергеевич Пушкин в 1836 году написал следующее:

...И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Он как будто уже о чем-то догадывался, о том, например, что поэты, кроме собратьев по перу, в будущем никого интересовать не будут.

Это случилось гораздо позже, как бы в подтверждение его слов, в 1978 году.

Меня увозили к первому месту срочной службы, увозили из южного города. Мои разлуки с родителями, приятелями, друзьями до того момента особо не затягивались. А тут речь шла о двухлетнем куске жизни. Ехали мы долго, более двух суток. На второе утро поездки по нашему вагону, куда, словно сельдей в бочку, военком запихнул призывников, прошел какой-то лейтенант, почему-то напомнивший мне об Иоанне Крестителе. Не знаю, почему, может быть потому, что в вагоне было не продохнуть, томила жажда, хотелось в душ.

- Художники есть? - вопрошал он, заглядывая в каждый отсек. Он как бы пробирался сквозь дремучий лес, отовсюду торчали, свисали, вываливались разнокалиберные ноги в гражданских носках. Следовало быть настороже.

- Художники есть? - просунулся он к нам в закут, косясь и пригибаясь, словно и впрямь предчувствуя грядущее усекновение.

- А поэты вам не нужны? - неожиданно для самого себя обратился я к нему.

- Не нужны, поэты не нужны! - отрезал лейтенант, навсегда, словно самый настоящий человек из легенды, исчезая в проходе.

Хотя нет, следующей же ночью он явился ко мне во сне. На этот раз он тоже был при погонах, но

вихрастую голову свою прижимал к груди. Нетрудно догадаться, что взгляд её был устремлен на меня. Угрюмое лицо молча смотрело на меня, словно в чем-то упрекая. Наконец оно разлепило губы.

- Поэты есть? - спросило оно.

- Есть, есть! - радостно залопотал я, но голоса своего не услышал. Замполит тоже меня не услышал, потому что, дернув кадыком, сказал:

- Кому нужны поэты?

Почему я вспомнил об этом? Столько воды утекло.

Возможно, дело в том, что именно эту встречу с загадочным лейтенантом стоило бы считать моим поэтическим крещением. И правда, кого, в гроб сходя, благословил сановный Державин, кого - обезглавленный замполит в душном вагоне.

ВОРОН

Как-то в тишине полночной, костью чувствуя височной
Книги, кажется восточной, кожаное вещество,
Я услышал отдалённый звук невнятный, монотонный
И подумал, полусонный, робко вслушавшись в него-
Это может быть и вздорно, что стучатся так упорно,
Но узнать мне не зазорно, гость ли там, впустить его,
Гость ведь, только и всего.

Да сейчас я вспоминаю, тьма декабрьская, ночная
И как проволока стальная, красный блик на простыне.
Древний вымысел листая, понял – истина простая
В том, что ты всего лишь стая тонких линий на стене,
Незабвенная святая там, в сердечной тишине,
Ты – Линор, и ты во мне.

Колыханье штор багровых, хоровод фигур лиловых,
В сокровеннейших основах страх проснулся от чего?
Фантастические грёзы, бессловесные угрозы...
Выйдя как из-под наркоза, я отринул волшебство.
Там ведь гость и ждёт, наверно, он ответа моего -
Должен я впустить его.

Чувствуя ночную стужу, дверь я распахнул наружу.
Сэр иль леди, извините, я не слышал ничего.
Слишком тихо вы стучали, и не понял я в начале,
Что вы просите ночлега - я готов вам дать его,
Я, конечно, предоставлю вам, коль просите его,
Оглянулся - никого.

Я один был в полном мраке, ни звезды на Зодиаке,
За ступенчатым порогом только грёз волшебный флёр.
Ждал, чего и сам не зная, но густела тьма ночная,
Вдруг как будто бы из рая, донеслось ко мне – Линор,
Это я шепнул , и эхо мне ответило – Линор,
Краткое, как приговор.

Дверь закрылась за спиною, и сквозь марево ночное
Стук всё тот же повторился, но на этот раз в окно.
Ветер, может быть, стучится,
В щель стараясь просочиться,
И от ветра шевелится древней ставни полотно.
Да, конечно, шевелится древней ставни полотно.
Это ветер – всё равно.

В эту самую минуту появился ворон, будто
Вылепился он из мрака, чёрной сущности всего.
Величаво выступая, как пророчица слепая.
Цель единственную зная – быть, как злое божество,
Он взлетел на бюст Паллады и уселся на него,
Чёрной силы торжество.

Вмиг очнувшийся от бреда, словно старого соседа
Поприветствовал я птицу и отвесил ей поклон.
Я сказал – твой вид отважен.
Из каких подземных скважин
Прилетел ты, древний ворон, из каких глубоких нор?
Как ты прежде назывался в королевстве чёрных нор?
Каркнул ворон – невермор.

Я застыл как изваянье, словно некое зиянье
Возле ног моих отверзлось, и оттуда грянул хор.
Право, было слишком странно, чтобы ночью окаянной
Вдруг негаданно-нежданно, как внезапный приговор,
Появилась эта птица и вступила в разговор,
И звалась бы "невермор".

Замер он на бюсте белом, словно занят важным делом,
И своим коротким словом завершает давний спор.
Я подумал – это снится, стоит мне поднять ресницы,
Он исчезнет, испарится, будет вышвырнут как сор,
Как сгоревшая страница, как надежд бессильный вздор.
Каркнул ворон – невермор.

Да ответ предельно точный
Прохрипел мой гость полночный.
Это слово он усвоил может быть с тех самых пор,
Как подслушал у бродяги, что, хлебнув вина из фляги,
Повторял при каждом шаге,
Чтоб забыть про свой раздор,
Как затертая пластинка, вечный горький свой раздор
Заглушал тем невермор.

Словно тяжкая работа, мысль вертелась, и дремота
Вдруг окутала сознание, свой усилила напор.
Что хотел сказать той фразой этот идол черномазый,
Жгущий сердце, как проказа, этот призрак или вор,
Что же он хотел открыть мне, этот чёрный прокурор?
Каркнул ворон – невермор.

В то мгновенье без причины, из-под траурной личины
Взгляд его прямой и жёсткий в мозг мой врезался, остёр.
Люстры жёлтый свет сгущался,
Страх в душе не помещался,
неужели я встречался здесь когда-нибудь с Линор,
неужели мир качался от любви моей к Линор?
Невозможно, невермор.

В это ж самое мгновенье всё вокруг пришло в движение,
Словно ангельское пенье, зазвенел беззвучный хор.
Я воскликнул – это чудо, бог покой мне шлёт оттуда
От страданий. Я забуду имя нежное Линор.
Неужели я забуду имя нежное Линор?
Каркнул ворон – невермор.

Закричал я – слушай, птица,
Смысла больше нет молиться,
Сатана ли, твой владыка, в мой занёс тебя притвор,
Чтоб твой клюв души коснулся,
Чтобы я в поту проснулся,
Проклиная божье имя, принял вечный свой позор,
Чтоб избавиться от муки и забыть тебя, Линор.
Каркнул ворон – невермор.

Вновь я крикнул – слышишь, птица,
Больше не могу молиться,
Даже если царство бога - это чёрный коридор.
Сможет ли мой дух скорбящий,
В прорве огненной грозящей,
В бездне, всем нам предстоящей,
Встретить светлую Линор,
Ту кого я звал когда-то нежным именем Линор,
Каркнул ворон – невермор.

Это значит, я не буду твоему верить блуду,
Лживый, дьявольский Иуда, ты покинешь этот двор.
Ты не можешь здесь остаться, безымянно распластаться
Должен ты, могу поклясться, в темноте глубоких нор,
Там, откуда прилетел ты, в темноте глубоких нор.
Каркнул ворон – невермор.

И застыл он чёрным клином там, на бюсте за камином.
Над божественной Палладой траур крыльев распростёр.
Словно демон гладкий, ловкий,
На меня глядит с издёвкой,
Только тень его воровкой заползает на ковёр,
И из этой грязной тени выбраться мне с этих пор
Невозможно - невермор.

КАК БЫ Я С ВАМИ ВЫПИЛ

Аркадий Натанович, знаете, как бы я с вами выпил!
Вы – мастер принять на грудь, и я, уверяю – тоже.
А вот вам подарок — возьмите на память вымпел,
На нём магендовид, не очень большой, но всё же...
О, как бы уютно сидели мы, лихо начав спозаранку,
Прижав корабли наши бортом вплотную к борту!
Рычит там, за окнами, мир, что всегда наизнанку,
Мы лишний раз чокнемся — и пусть он отвалит к чёрту.
Прекрасная мысль — разговоры
чередовать с алкоголем,
Тогда все слова выходят нагие и без прикрас.
Незримо на кухне присутствуют Банев, Кандид и Голем,
И тоже стаканы сводят, не отставая от нас.
Я вновь принесу флакон, прошу,
не вставайте со стула вы,
Какая высокая ценность — смеющееся лицо!
Так будут захлёб беседовать Натанович и Саулович.
И никакому поцу не вставить сюда словцо.

ЕССЕ НОМО

Небогато жил скрипач, небогато,
И легато у него – как стаккато,
И квартира чуть побольше сортира,
Да и в жизни чаще майна, чем вира.
Сам Витачек смастерил эту скрипку,
И хоть дека вызывает улыбку,
Но, как только звук вскипит под смычком,
Примиришься с облезлым лачком.
Расцветает Мысливечка пьеса,
Словно поле земляники средь леса,
И по шейке пальцы быстро скользят,

А иначе им, поверьте, нельзя.
Два кефира, и московская булка,
И дорога по камням переулка,
Скрежет лифта и замка унисон,
А потом луной осыпанный сон.
На подушку слюнка капает тихо,
Улеглась дневная неразбериха.
И приходит Крейцер в гости во сне,
И этюды точит, стоя в окне.
Так идут за днями дни, год за годом,
И закат спешит вослед за восходом.
Изолентой скрыта дужка очков —
Мастер звука, бог ночных светлячков.
А когда навек закрылись глаза —
Началась во всей вселенной гроза.
Грохот грома бил в лицо, как кистень...
Сам Господь был дирижёром в тот день.

В. Брайнину

Да, мой дружок, аэропорты
Сомкнули челюсти разлук.
Закрыто небо. Casa morte
Рисует мелом скорбный круг.
Боюсь, увидимся нескоро,
Но, несмотря на страшный сон,
Я буду верить до упора —
Ещё не рвётся связь времён.
Да будет день твой скуп и светел,
Скуп – на сюрпризов круговерть.
И, что б Господь нам ни наметил,
Поддержит нас земная твердь.

ДЕД

Дед Мордхе работал в совхозе,
Дед Мордхе там был бригадир.
Ходил и в грязи и в навозе
В кривой деревянный сортир,
Где ржавым гвоздём пришпандорен
Газеты вчерашней кусок.
Был дед не силён, но упорен,
Не сыпался с деда песок.
На красную Доску Почёта
Коль выпало глянуть и вам —
Там дедово мутное фото
Висело на зависть врагам.
Он вымпельщик был и ударник,
Попробуй так поднаторей!
«Хорош дед» - судачили парни:
«Хотя безусловно еврей».
Был труд не за пай, не за шмотки,
За что же? Не знаю, бог мой...
С работы на чёрной пролётке
Его привозили домой.
Читал перед сном он страницы
Залистанной книги ТАНАХ,
Ермолка под лампой лоснится,
Дед в белых домашних штанах...
В молитве качался он мерно
К стене и опять от стены,
Он думал, что Богу, наверно,
Такие движенья нужны.
Болела грудина, и деда
Лечили врачи делово.
Что делать, Большая Победа
Прошла через сердце его.
Он был похоронен в исподнем,
С тех пор пролетели года.
И кто его вспомнит сегодня?
Ну, я. Да и то не всегда.

* * *

Проживаю на Святой Земле,
В святости ни разу не замечен.
Век мой неуклюж и быстротечен,
Но зато я первый на селе!

Я собой доволен, даже горд,
Хоть тому причин не так уж много,
Но я счастлив, что моя дорога
Пролегает меж любимых морд.

О, знакомый с детства мне дружбан!
Страшно предавать свои мечтанья?
Грустно отменять свои скитанья
И опять ложиться на диван?

А давай, подщёлкнем вверх пятак,
Чтобы угадать грядеши камо,
Если не получится, то мама
Объяснит, что плохо и не так.

Да, привычны пляски на краю,
Просто, понимаете, ничей я.
Армия лохматых книгочеев
Прочно оправдает жизнь мою.

Где-то есть в горах Иерусалим,
Где-то тень колышется от храма.
Я же говорил – зовите маму,
И умрёт взалкавший славы Рим.

* * *

Разбило ветрами в куски апрель,
Не на что смотреть.
Корабль с разгона уткнулся в мель,
Затонув на треть.
Вернуться не тянет, идти нет сил,
Пугает чайачий крик.

А помнишь, как ветер слова носил,
Пока совсем не сник?
Неполной колодой смешно играть,
Потухшим кострам - не греть.
Давай совершим ошибки опять,
Чтобы не ржаветь,
Чтоб снова дышать ароматом трав,
Лиловых и седых.
И сколько бы гром ни вмещал октав —
Не теряться в них.
Известна концовка, начала нет —
Таков порядок слов.
Открой глаза, посмотри на свет
Мигающих маяков.
Уходят чужие стаи в полёт,
Но там, где дни тихи,
Сидит человек и песню поёт
На мои стихи.

* * *

Желтый сумрак, чёрный свет –
Всё неправильно и сложно,
Оглянуться невозможно,
А вперёд дороги нет.
Снег ложится, плачь не плачь,
На промёрзшие каменья
От посёлка Вознесенье
И до острова Вайгач.
Но спасенье всё же тут,
В этом вязком полумраке.
Хоть и гавкают собаки —
На камнях цветы растут.
Серповидная луна
Жнёт колосья звёзд лохматых,
Облаков аэростаты —
Всё, что вижу из окна.
Стук колёс в седой дали –

Это эхо метронома,
Это фото из альбома,
Это судно на мели.
Разбуди меня, дружок,
Когда кончится сей морок.
Мог я быть любим и дорог,
Но мой ангел крылья сжёг.

Игорь Губерман

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ДНЕВНИК

из последних записей

*

Нет, я не стал неразговорчив
и не замкнулся я в молчании,
я просто сделался разборчив
в любом расхлябанном журчании.

*

Евреи нарушают все границы,
в черте любого знания скучая,
и ясно, что никак нельзя не злиться,
еврейские прорывы замечая.

*

Что делал я? Гулял, писал,
грешил когда-то и не каюсь,
я звёзды с неба не хватал,
да и сейчас остерегаюсь.

*

Неброскую влачу я жизнь мою,
я сам себе истец и сам ответчик,
я никому советов не даю,
и в этом смысле я антисоветчик.

*

Текут и тают дивные года,
когда струится Божья благодать;
покаяться не поздно никогда,
а согрешить – легко и опоздать.

*

Когда-то я шутил удачно,
всех веселил,
а нынче так пишу я мрачно,
что жаль чернил.

*

Не первый в истории случай такой –
напрасно к ней мало доверия:
уходят евреи несметной толпой –
и сразу скудеет империя.

*

Сегодня всё смахнуть с земли –
уже простого проще,
и зря тогда сады цвели
и зеленели рощи.

*

Не торможу я времени течение
и не бегу, как некогда, стремглав,
я погрузился в медленное чтение
последних глав.

*

Быстро годы тают,
тихо гаснет пламень,
жизни утекают
под лежащий камень.

*

Себя я творчеством не мучаю
и над бумагой не корплю,
стишки пишу я лишь по случаю,
а время прочее – дремлю.

*

Нет, я хулить и хаять не возьмусь,
но я виню правителя – уroda,
что выплеснулась почвенная гнусь
у глухо зачехлённого народа.

*

Напрягши волю коллективную
и проявив любую прыть,
патриотизма блажь интимную
нельзя посеять и внедрить.

*

А мой мыслительный процесс
теперь похож на кляч унылых,
и весь технический прогресс
ему помочь уже не силах.

*

Ко мне пришла благая весть
от честной нынешней науки –
что в алкоголе польза есть –
а раньше ввали эти суки.

*

Люблю российский сочный мат
с его игрой неприхотливой –
в нём есть высокий аромат
народной жизни терпеливой.

ИНТЕРВЬЮ

«НАША ЦЕЛЬ – ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ»



*С создателями литературного агентства и школы «Флоберуум» писателем **Татьяной Булатовой** и редактором **Ольгой Аминовой** беседует **Яков Шехтер***

В чем уникальность вашего агентства?

О.А.: Мы первая в России компания, под крышей которой объединились литературное агентство и школа писательского мастерства. Они сосуществуют не автономно друг от друга, а в тесной зависимости. Авторы, которым не хватает мастерства, приобретают его в нашей школе. Писатели, которым мы оказываем агентское сопровождение, часто выступают мастерами тех, кто делает первые шаги в литературе.

Слышал, что уникальность этим не исчерпывается. Вы, оказывается, берете деньги за чтение. Так ли это?

О.А.: Возмущению некоторых авторов нет предела: «Я дарю вам сладость чтения, радость соприкосновения со своим талантом, душой и должен за это деньги платить? Увольте!». А если серьезно, то давайте посмотрим, как строится работа нашего агентства. В день нам присылают

десятки рукописей. Все – с сопроводительными письмами, главная тема которых – «устройте, пожалуйста, в издательство». Не знаю, было ли так всегда или это особенность нашего времени, обусловленного сменой культурных парадигм: большинство считает, что нет ничего проще, чем стать писателем; мол, издают же соседа Васю, а я чем хуже? Издательств в России, увы, становится все меньше, а количество пишущих растет. Соответственно, конкуренция – напряженнее, требования к отбору авторов – выше. Как литературный агент может понять – хорошая перед ним рукопись или плохая? Конечно, прочитав ее. Вы скажете: для того чтобы понять, привлекателен текст или плох, достаточно первых страниц. А вот и нет – ответим мы. И дело тут не только в том, что иногда в безграмотной, с неказистым началом рукописи вдруг ставится инновационная проблематика или возникает такая развязка, которая вызывает катарсис. Дело – в запросах самих авторов. Каждому важно быть прочитанным. Не поверхностно – а целиком. Причем не мамой, племянником или другом, а профессиональным редактором, литературным критиком, писателем. А в нашем агентстве анализ рукописей осуществляется не ридерами, не студентами, приобретшими первые навыки рецензирования, не писателями или редакторам-неудачниками – только профессионалами! Мнению моей коллеги – Татьяны Булатовой – трудно не довериться: она – кандидат филологических наук, преподаватель филфака университета с 25-летним стажем, писатель, у которого опубликовано в крупнейшем издательстве страны 11 книг.

В нашем агентстве чтение и анализ всех уровней художественной структуры текста, его эстетического и коммерческого потенциала называется ЭКСПЕРТИЗОЙ. Она отличается от рецензирования исключительно тем, что проводится устно – через непосредственное общение с автором. Длится диалог от часу до двух. Как правило, за это время автор получает от нас ответы и на вопрос о том, почему он, отправив свою рукопись в десятки издательств, не получил ни одного предложения; и на вопрос о том, что с

его опусом не так; какие сильные стороны могут привести его к будущему успеху и какие слабые стороны ему необходимо преодолеть. И т.д..

Ни издатели книг, ни редакторы литературных журналов рукописи не рецензируют. А как понять начинающему писателю, в чем причина его не востребованности? – Только через честный конструктивный ответ – экспертизу или рецензию.

Чтение и анализ рукописей – это труд, который, на самом деле, занимает не 2 часа диалога, а иногда несколько недель. Мы тщательно готовимся к оказанию данной услуги. И этот труд должен быть оплачен.

Каков процент одобренных вами рукописей? Сколько из обратившихся в агентство получают агентское сопровождение?

О.А.: Десять из ста. Все авторы, чьи рукописи мы одобрили – иногда с доработкой или переделкой, – получают агентское сопровождение.

А если к вам обращается автор, уже издававшийся, вы тоже подвергаете его процедуре экспертизы?

О.А.: Бывает по-разному. Безусловно, не требуется никакой экспертизы авторам, которых мы прекрасно знаем, читали, понимаем высокий художественный уровень их текстов. Как правило, это писатели, с которыми мне посчастливилось работать в качестве редактора в издательстве «Эксмо». Многие из них – лауреаты литературных премий, их портфель насчитывает десятки изданных книг, получивших высокую оценку у критиков и читателей. Но бывает и так, что автор нам неизвестен, мы не понимаем ни жанра, в котором он работает, ни уровня его мастерства. И тогда мы тоже проводим экспертизу новинки, с которой он обратился к нам.

Если вы понимаете, что перед вами графоман, каково ваше отношение к нему и к его тексту?

О.А.: Помню, как Владимир Николаевич Войнович, имеющий большой опыт по возвращению талантов, сокрушался о том горе, которое себе и своим близким наносит графоман. О том, как трудно сказать человеку: «Не

пиши!» «Флобериум» принял для себя решение: мы АНАЛИЗИРУЕМ литературный текст, а не критикуем, не вешаем ярлыки. Умный человек, соприкоснувшись с конструктивным анализом, в процессе которого выявлены проблемы на всех уровнях художественной структуры, скорее всего, поймет, что писательство не его призвание. Неумный... Неумные, как правило, отпадают от нас сразу же, как только мы озвучиваем, что экспертиза рукописи – услуга платная. Они не в состоянии оценить наш труд исключительно потому, что не понимают и писательского труда, его мук.

Какими бы вы ни были прекрасными, есть ли недовольные вашей работой?

О.А.: Опыт показывает, что те авторы, которые получили экспертизу, но при этом не влились в литературное агентство, остаются довольными сотрудничеством. Перед ними есть план доработки рукописи, они набираются опыта, перестраиваются, преодолевают проблемы. А это рост. Прежде всего над самим собой. И он не может не радовать. Некоторые впоследствии становятся авторами «Флобериума», некоторые оказываются востребованными издателями. Расскажу один случай. Одна дама – высокообразованная, титулованная – прислала нам свой роман. Мы его прочли, проанализировали. Позвонили ей, чтобы договориться о времени проведения экспертизы. Она сказала следующее: «Мне нужен только ответ – да или нет, окажете агентское сопровождение или откажетесь. А о том, как хороша моя рукопись, я и без вас знаю!». Мы посчитали оскорбительным для себя такой тон и вернули автору деньги. Она написала нам: «Не ожидала. Благородно». Должно быть, тоже осталась довольной.

Если систематизировать все обращения в агентство, можно ли говорить о доминирующих жанрах предлагаемых на рассмотрение рукописей?

О.А.: Две доминанты: 1) фэнтези, 2) психоделическая проза.

В чем особенность обращений в агентство известных авторов?

О.А.: Есть писатели, которые живут в другой стране, не могут разобраться в устройстве книжного мира в России и поэтому нуждаются в проводнике. Есть те, для которых коммуникация с финансово-договорными отделами издательств, бюрократической машиной оказывается токсичной, поэтому им не обойтись без агента. Есть и такие, которые недовольны своим позиционированием, не могут понять причин низкой оплаты своего труда, испытывают потребность в компетентности агента.

Тяжело ли работать с известными писателями?

О.А.: Чем масштабнее личность, тем легче и проще с ней работать. Это общее правило. С известными писателями нам сотрудничать – сплошное счастье.

Я видел ваши вебинары и мастер-классы и обнаружил следующее противоречие: вы беретесь учить писательскому мастерству, а приглашенные вами мэтры утверждают, что токмо талант может привести человека к профессии «писатель». Вам не кажется это странным?

Т.Б.: Не кажется! Особенно если исходить из того, что «приглашенные нами мэтры», например, Дина Рубина, Александр Мелихов, Анна Берсенева, – это авторы, всерьез размышляющие о писательском мастерстве, о чем свидетельствуют их тексты – как публицистические, так и литературоведческие. Для нас очевидно, что талант – это явление, подобное индивидуальному набору хромосом, в лаборатории оно не выращивается. Поэтому задача литературной мастерской не рождасть таланты, а помогать их развивать. И в этом смысле опыт «Флобериума» очень убедителен: мы видим, как по-разному осваивают навыки наши слушатели. Кто-то так и остается в пределах наивного «использования литературного приема», а кто-то известный всем прием обогащает и движется дальше, к очередной находке.

Вы обещаете лучшим слушателям литературной мастерской «Флобериум» агентское сопровождение. Это рекламный ход или правда?

Т.Б.: Пока вы не слушатель нашей школы, фраза – «самым талантливым – агентское сопровождение» – действительно кажется рекламным трюком. Но как только вы становитесь участником «литературных студий», у нее появляется объективный практический смысл. За несколько сессий мастерской литературное агентство «Флоберיום» пополнилось новыми авторами, чьи книги вы увидите в ближайшем будущем.

На российском рынке появилось довольно-таки много литературных школ. В чем ваше преимущество?

Т.Б.: Безусловно, в том, что самые талантливые выпускники «Флобериюма» получают агентское сопровождение, и их литературными агентами становятся те, кто понимает природу их таланта, его сильные стороны и точно знают, как рассказать о нем издателю таким образом, чтобы последний оказался заинтересован.

Но это, разумеется, не все. Как нам кажется, мы нашли то самое оптимальное соединение теории и практики, которое позволяет слушателям не просто понять, как надо, но и опробовать это на своих текстах.

Кроме того, мы работаем вживую – не в записи, а значит, всегда готовы вступить в реальный диалог со своими слушателями. И, поверьте, этот диалог не ограничивается временем эфира, он обладает гораздо большей длительностью. И по-другому нельзя, потому что одно из важных требований нашей мастерской – это объективная и вместе с тем корректная обратная связь по поводу каждой работы, отправленной нам слушателями. Разборы домашних заданий, по мнению участников мастерской, это, как правило, самые волнительные и подчас самые долгожданные минуты общения с преподавателями.

У вас необычная подача материала: вы в кадре вдвоем. Есть ли у этого обоснование?

Т.Б.: Конечно, есть. И поверьте, оно связано не только с возможностью сделать процесс обучения интересным и легким по восприятию. Гораздо важнее показать слушателю мастерство диалога в оценке художественных явлений, продемонстрировать умение видеть тот или иной

литературный прием (факт, феномен) с нескольких сторон – с позиции писателя, редактора, литературоведа, издателя. А еще участие двух преподавателей-экспертов в оценке работы каждого слушателя позволяет добиться объективности и выйти на уровень поиска совместных решений. Поэтому точнее будет сказать, что в работе мастерской очень часто оказывается востребован командный метод, благодаря которому возникает не просто эффект доверия, а подлинное взаимопонимание, без которого настоящее обучение немислимо.

Как складываются отношения с вашими выпускниками?

Т.Б.: В большинстве своем они превращаются в долгосрочный проект. Например, некоторые выпускники литературной мастерской становятся авторами агентства и, как вы понимаете, наше общение продолжается в иной плоскости. Но, кстати, это не мешает им принимать участие во всех наших мероприятиях (мастер-классы известных писателей, открытые вебинары, выставки) и продолжать обучение, но уже в программах, узко специализированных. Кстати, наш спецкурс по эротической прозе на 50% состоял из тех, кто прошел «большую» литературную школу. Но есть и еще одна, не менее для нас дорогая, сторона в отношениях с выпускниками мастерской. Это уникальное поле общения, в основе которого – обретенная духовная близость. Мы встречаемся, мы обсуждаем книги, фильмы, следим за достижениями друг друга. И, знаете, это касается не только взаимоотношений преподавателей и выпускников, это распространяется и на общение бывших слушателей друг с другом.

О чем мечтают преподаватели и агенты литературной мастерской «Флобериум»?

Т.Б., О.А.: Все очень просто! У преподавателей и агентов «Флобериума» одна цель – **ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТКРЫТИЕ.**

*С поэтом и редактором Борисом Камяновым
беседует Давид Шехтер*

Боря, а ты сам-то веришь, что тебе уже 75?

Б.К.: На этот вопрос отвечаю одним из последних своих офонаризов: я чувствую себя мальчиком, впавшим в дедство. Не верю, когда перед сном смотрю на пустой графинчик, в котором с утра было поллитра пятидесятиградусной спиртовой настойки; не верю, когда по-прежнему реагирую на женские чары (прежде всего собственной жены, разумеется); не верю, когда вспоминаю свою молодость и убеждаюсь в том, что переживания тех лет так же сильны и ярки, как тогда.

Но не могу не поверить в это, когда узнаю о рождении очередных внуков и правнуков, когда вынужден посещать врачей, когда вижу, что ровесников вокруг становится все меньше...

Ты поэт, пишущий на русском языке. Бывал ли ты в России после репатриации? Не возникло ли хоть раз сожаление, что ты оставил добровольно многомиллионную армию читателей и уехал в страну, где на русском языке тогда говорили несколько десятков тысяч человек?

Б.К.: За сорок четыре года своей жизни в Израиле я побывал в России лишь однажды, летом девяностого года, проведя в Москве месяц. После этого никакие соблазны не смогли заманить меня туда еще раз. Прочитую фрагмент из своих мемуаров «По собственным следам», опубликованных нью-Йоркским издательством «Liberty»: «Если и была у меня в Израиле ностальгия по “малой родине”, то после этого визита она прошла, как будто ее и не было. Редкие нотки узнавания, тонувшие в архитектурной какофонии последних десятилетий, не составляли мелодии, напоминавшей о прошлом, но лишь раздражали своим трагическим звучанием и явной

неуместностью в обстановке общей торжествующей бездуховности».

Никаких сожалений о своем отъезде из России в Эрец-Исраэль у меня никогда не было, да и никакой «многомиллионной армии» читателей там в семидесятых уже не было, а сейчас – тем более. Немногие россияне, интересующиеся поэзией, находят мои стихи и в Интернете, и в коллективных сборниках стихотворцев обеих наших стран, да и книги мои многие гости Израиля увозят с собой на родину. Кстати, одним из итогов моей тогдашней поездки в Россию стало издание сборника стихотворений «Исполнение пророчеств» невероятным по тем временам тиражом: десять тысяч экземпляров, из которых восемь тысяч остались в России. Сегодня о подобном можно только мечтать: стихи и в России, и в Израиле, и в странах Запада читают единицы...

Ты не просто религиозный, а практикующий еврей. Каковы взаимоотношения между твоей русской Музой и еврейским Богом?

Б.К.: Я не очень понимаю, что такое «практикующий», – по-моему, это то же самое, что религиозный. Тот, кто признает существование Всевышнего, но не исполняет Его заповеди, может называть себя верующим, приверженцем традиции, но не более того.

Моя Муза может считаться русской только по той причине, что я пишу по-русски. На самом деле стихи мои – стихи еврея, и не только потому, что я исповедую иудаизм, и еврейская тема – одна из основных в моих писаниях. Мне кажется, что они еврейские на генетическом уровне: точно так же, как, увидев меня, любой непременно признает во мне еврея, он безошибочно определит это и по моим стихам. Так что у них есть шанс остаться на какое-то время фактом одновременно и русской, и еврейской литературы, и оба этих начала уживаются в них, по-моему, вполне мирно.

Если бы ты мог вернуться назад, что бы ты исправил в своей жизни, какие поступки изменил, какие стихи написал или не написал?

Б.К.: Как каждый обычный человек, не являющийся праведником (а я – последний, кто стал бы претендовать на такое определение), я совершил в жизни немало грехов и, конечно, в римейке постарался бы их не допустить. Все остальное сказано в одном из моих последних стихотворений.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОПЫТКА

из новой книги избранных стихотворений "От и до"

Я давно сошел с дороги к раю,
Жил вслепую долгие года.
И одно определенно знаю:
Праведником не был никогда.

В старости я обречен на муки:
Хворями плачу я за грехи.
В радость только маленькие внуки
Да еще – внезапные стихи.

Пусть в итоге прибыль, пусть – убытки.
Сможет ли Господь меня простить?
Но вот скидки для второй попытки
Я не стану у Него просить.

Изменить себя я не сумею.
Прошное забвенью не отдам.
Если в нем о чем-то пожалею –
Значит, всю судьбу свою предаю.

Что касается стихов, то все, что хотел, я уже написал и продолжаю в том же духе.

Чем ты больше всего гордишься и чего стыдишься?

Б.К.: Горжусь сыном и дочкой, пасынком и падчерицей, тринадцатью внуками и двумя правнуками. О том, чего стыжусь, – в предыдущем ответе.

Перед тобой еще долгий путь в 45 лет. Каковы творческие планы?

Б.К.: Издать свой перевод Пятикнижия, книгу иронических стихотворений, пародий и эпиграмм «Интер-ДА!», сборник офонаризов «Камяндовать парадом буду я!», а также вторую мемуарную книгу «Колоски памяти», которую постоянно пополняю в ожидании чудесного появления издателя-авантюриста, который мог бы взять на себя выпуск в свет и всего остального.

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ИЗБРАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ «ОТ И ДО»

* * *

Везет на матерей на одиночек,
На их сопливых пацанов и дочек,
Что поутру, вползая ко мне в кровать,
Все норовят папашею назвать.

Колеблется на этих женщин такса:
Цена им – от бутылки и до загса.
Боюсь я загса. С загсом не шучу.
Да и бутылкой не всегда плачу.

Но все же – любят. Все же – привечают.
Субботу четвертинкой отмечают,
Латают куртки, штопают носки,
Всегда мягки и никогда – резки.

Им главное, чтоб в дом принес получку,
Чтоб детям-шалунам устроил взбучку,
А если нет получки – не беда,
Ведь молодой, не может экономить...
Зато – еврей. И как же тут не вспомнить:
Евреи с бабой ласковы всегда.

В конце концов от них я ухожу.
В глаза им виновато я гляжу,
И вот мне Бог, и шапка, и порог,
И, как пинок, – вослед немой упрек...

Постиг я много. Малого достиг.
И не женат. А одному – неловко.
И потому-то длинным вышел стих,
И потому – не удалась концовка.

1966

* * *

Я – зверь затравленный. Я худ
И горбонос. Я – сын еврея.
Все от погони я бегу
И оттого лишь не жирею.

Спасибо, хищники! Ваш пыл,
Оскаленные ваши рожи –
Чтобы я жиром не заплыл
И потому подольше прожил.

И если вдруг наступит век
Вселюбия и всепрощенья –
Раскрепощенный человек
Придет к началу вырожденья.

И вот я в драке. Грянул бой,
Идем с противником по кругу...
Заклятый враг мой! Мы с тобой
Живем благодаря друг другу.

1970

* * *

Душа моя, печальная душа!
Давай с тобой побродим не спеша
По молодым весенним перелескам.
Давай-ка отрешимся от забот –
Прислушайся: порхающий народ
Встречает нас и трелями, и треском.

Давным-давно мы вышли из лесов.
Отвыкли от веселых голосов

Своей забытой бабушки-природы.
Привыкли к жизни шустрой, городской...
Душа моя! Как редко мы с тобой
Бываем вместе! Ссоримся – на годы...

Давай с тобой тихонько говорить
О странном даре – красоту любить
И в яркой птице, и в негромкой строчке,
О Вечности, мигающей из тьмы...
И лишний раз пойдем с тобою мы,
Что ты, душа, – кольцо в ее цепочке.

1973

* * *

Был женат. Обзавелся жильем.
Разошлись. Повторенья не хочется...
Жили мы в этом браке втроем:
Я, она и мое одиночество.

Вот уж стал осторожней с вином.
Дочь растет. Называюсь по отчеству.
Мы теперь существуем вдвоем:
Я и мое одиночество.

Я уйду, растворившись во мгле,
Когда сердце до капли источится,
И останутся жить на земле
Дочь моя и мое одиночество.

1974

* * *

Руси веселие есть пити и блевати.
Лежит мой друг в заблеванной кровати,
Мохнатый бородатый берендей,
Ассимилированный иудей.

Его мутит. Он вновь клонится к полу,
И стонет он, и требует рассолу;

Ладонь его трясется на весу...
И я рассол товарищу несу.

Вчера мы много пили. Пели песни.
А нынче – приступы асфальтовой болезни,
Печать стыда и боли на лице,
Похмельная забота о винце.

Где наша вера? Поиски? Идеи?
Пьют по-российски нынче иудеи.
Естественно: чем больше водки пьем,
Тем легче нам мириться с бытием.

Ах, родина! Ты нежно нас растила,
Обрезанные члены нам простила,
Но строго приказала: иудей!
Ничем не отличайся от людей!

...Гудит пивная. Друг мой лезет в драку.
Вцепился он в какого-то бродягу.
Шумит толпа. Свершается судьба.
Мой милый друг! И мы с тобой – толпа...

Домой плетемся пьяно и нелепо.
Над нами виснет пасмурное небо,
Роняя капли горьких Божьих слез.
Ты плачешь, Бог?
Ты – Саваоф?
Христос?

1974

* * *

К величайшей вершине мира,
Над которой – лишь только Бог,
С иноземной своею лирой
Дотащился я, одинок.

Наседало на пятки время,
Злобным зверем в ночи сопя.
По дороге я, словно бремя,
По частям оставлял себя.

Дочь покинул и мать оставил,
Тридцать лет отшвырнул к шутам.
Землю-мачеху я ославил
Черным дегтем – по воротам.

Только память свою да лиру
Я спасти по дороге смог.
И стою на вершине мира,
Над которой – лишь только Бог.

Жадным взором весь мир объемлю,
Вновь рожденный, я нищ и бос.
В обретенную эту землю
Я по самое сердце врос.

Все оставил я за порогом.
Все отдал я чужой стране.
И остался я только с Богом.
Только с Богом
Наедине.

1977

* * *

Седьмые классы. Кипы всех расцветок.
Галдеж на перемене, беготня...
И среди этих сумасшедших деток –
Ушастый шкет, похожий на меня.

Они – призыв двухтысячного года –
Своею кровью оплатить должны
Безумие избранников народа,
В рулетку промотавших полстраны.

Любимые! Простите нас, отцов, –
Лихих бойцов, глухонемых слепцов,
Своих детей отдавших под начало
Преступников, маньяков, подлецов.

«Гатикву» мы давно уже допели.
Остались боль, растерянность и стыд.
Мы наших сыновей не пожалели.
Молись, Израиль, – может, Бог простит...

1994

* * *

Я чадолюбивый, потому что я чудолюбивый –
Нет большего чуда, чем новорожденный малыш.
Багровый, как пьяница, лысый, сопливый, крикливый
Ты сладок, мой маленький, даже когда ты блажишь.

Глазенки подернуты легким молочным туманом.
Воспитанник ангелов, горних посланец глубин,
Явился сюда ты беспамятным и безымянным –
И сразу же всеми вокруг безоглядно любим.

Откуда спустилась душа в этом нежном обличье?
Куда воспарит она, сбросив отмершую плоть?
Склонясь над тобой, эту тайну пытаюсь постичь я –
Да вот затуманил глаза твои скрытный Господь.

Ты имя обрел, заполняются памяти соты,
И прожитый год в файле «Прошлом» запечатлен.
Ты быстро растешь, и уже забываешь не все ты.
В земной своей жизни ты стал хитроват и смышлен.

Жестоко проказишь, но все же боишься огласки.
Завистлив, как все мы, при этом не чужд куражу.
Гляжу я, как в зеркало, в чистые, ясные глазки.
Себя нахожу в них, а тайну – не нахожу.

И все же однажды ее непременно раскрою.
Душа воспарит в наднебесье – а ты, мой малыш,
Склонившись над телом, навеки оставленным мною,
Прочтешь, как положено, первый свой в жизни кадиш.

2011

СНЕГ В ИЗРАИЛЕ

Татьяне Ромазановой

Я зиму не любил в России.
Теплолюбивый человек,
Свободен я от ностальгии
И с детства ненавижу снег.

Взывает к небесам с мольбою
Ближневосточный иудей:
От неба каждую зиму
Он ждет не снега, но дождей.

Но вдруг стремительно и нагло,
Как будто поглумиться рад,
На нас слетает снегопадла,
Проклятый русский снегопад.

Нет, эта гадость мне не в радость!
Куда ты лезешь, раздолбай?!
Ты – снегоподлость, снегопакость,
Ты – снегопошлость, снегодай!

И все. Страны моей не стало.
Враз поседели зелена.
Россия, ты меня достала!
Россия, отпусти меня!

И, как приговоренный к «вышке»,
Внезапно духом я ослаб...
Визжат счастливые детишки
И лепят мерзких снежных баб.

2017

О СЕБЕ

Стрелятель я из пушек воробьев
И получатель от судьбы затрещин.
Я – уезжатель из родных краев,
Я – ухажёр от ненадежных женщин.

Я – предпочтитель всяческих свобод,
Мне ненавистны цепи и колодки.
Я – избегатель суетных забот,
Охотник я до шуток и до водки.

Я, старый пес, на свежем ветерке
Щенком веселым прыгаю, беснуюсь...
Но если Бог мне говорит: «К ноге!»,
Я, хоть ворчу, но все же повинуюсь.

2018

Алексей Лоренцсон

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В МОСКВЕ

Это был то ли третий, то ли четвертый Ройш-а-Шоно, проводимый мной в целиком кошерном понту. То есть, без скидок и поблажек. Ни в чем. Ни-ни. По всей строгости еврейского Закона.

Для полноты картины надо понимать, что мясопродуктов я к тому времени не употреблял гораздо дольше. Дело не забытой к тому времени Продовольственной программе партии и правительства (словцо "продовольствие" со всеми производными давно было анахронизмом). Дело в том, что мой, длившийся с десятилетие до перехода в острую стадию, процесс еврейской автоэмансипации, изначально сделал для меня невозможным употребление в пищу того самого, что было основой основ советской мясомолочной промышленности (когда таковая себя хоть как-то проявляла).

Опять же для полноты картины надобно знать, что просто мясо мы – юнцы и взрослые дяди с нарочито неопрятной внешностью, небрежно скрывааемыми вторичными религиозными признаками и с прожигающим все (включая женские сердца) блеском в глазах – изредка, но, все же, видели. Некоторые даже нюхали. Иные даже пробовали. В наибольшей степени это было заслугой р. Берла Торбочкина 7"шт. Именно он умел договориться с подмосковными хозяйчиками о продаже крупных (как правило, не очень) рогатых скотинок на растерзание (именно так) очень грамотному и очень святому, но не очень умелому резнику/моэлю р. Мотлу Лившицу 7"шт. А после мучительного превращения живой скотинки в тушу, р. Торбочкин виртуозно превращал ее в куски мяса разных сортов, будучи вдохновлен бесившими все население СССР плакатами "Схема разделки говядины", зачем-то

висевшими во всех магазинах огромной страны. Эффективным подспорьем в работе Торбочкину служили не менее виртуозные мамы. А подспорьем куда менее эффективным служил ему ваш покорный, обучавшийся у Мастера ремеслу менакера (מנהל), т.е. лица, отвечающего за превращение кошерно умерщвленной туши в кошерное же мясо. Таким образом, мясо или то, что в СССР было принято таковым считать, иногда в синагоге тем же Торбочкиным среди своих распределялось. А мне так доставалось. В виде гонорара за бездарное ученичество...

Но то – мясо. А вот мясопродукты... Помните, у Драгунского в "Денискиных рассказах": "Он держал сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая, и шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок..."

И нам, впитавшим эти тексты, вкусы и запахи с детства, сардельки могли только грезиться. Они и грезились. Лично мне – так именно сардельки. И не только из-за Драгунского. Просто потому, что сардельки говяжьи (именно говяжьи, куда там свиным!) по рупь семьдесят кило – были одним из величайших шедевров советского пищевого периода зрелости. В предсмертные их никак не запишешь, судя по давности исчезновения не то, что из рациона, но из поля зрения граждан СССР. Но я застал. Вкус, запах и цвет помнил. Помнил безнадежно - ведь даже если бы свершилось чудо, и изредка гальванизируемый пищевой выдал на-гора эти самые сардельки говяжьи, а я оказался поблизости – мне бы пришлось с тоской провожать это великолепие взглядом. Некошерно. Хоть тресни. Ведь р. Мотл жертву совпищепрома не мучал, р. Торбочкин не разделявал. А надобно понимать, что некошерно для кошерного индивида значит НЕСЪЕДОБНО.

Да да. Несъедобно. Сардельки. Говяжьи. По рупь семьдесят кило. С соком из-под шкурки...

На сем явно затянувшаяся экспозиция заканчивается. А действие разворачивается в канун Ройш а-Шоно 80-какого-то года (по нееврейскому счислению).

За заслуги перед сионизмом и вообще ваш покорный слуга был удостоен очередной передачи из-за бугра. Надобно понимать, что такие передачи/посылки помогали нашей отказной братии держаться на плаву. Перепадавшие в них шмотки, пользующиеся повышенным спросом (а таковым пользовалось в СССР практически все с наклейкой made in...), превращались через умных и умелых людей в стопку купюр разной толщины и достоинства – в соответствии с табелью о сионистских рангах, умело и заботливо составленной компетентными сотрудниками упомянутой организации "Натив". Эта табель о рангах определяла как частоту и качество получаемого данным отказником "грева". Отказные чины высших(генеральских) классов могли удостоиться даже прямого денежного довольствия. Чины штаб-офицерские регулярно достаивались передач с наиболее ходовыми (соответственно, дорогими) товарами. Чины обер-офицерские – пореже и похуже. И так далее. По аналогичным принципам распределялся дополнительный спецпаек, не столь необходимый, сколь желанный тем, кто по ведомостям "Натива" проходил с пометкой "зело кошерен" (иудаика, книги, консервированная еда). Уж не знаю, какой на себе чин по нативовской табели имел я, но точно не генеральский (куда там!) и не штаб-офицерский. Надо полагать, что-то в районе коллежского ассесора/поручика. Много - титулярного советника/капитана. А может и вообще до обер-офицерского не дотягивал.

Тем большим чудом была очередная, полученная мной в канун того самого Ройш а-Шоно передача. Среди уже знакомых банок с порошками для разведения в виде "шоко", "фанты" и других заморских див, во врученной мне гофкригсфурьером с американским паспортом коробке была... УПАКОВКА САРДЕЛЕК. Со всеми надлежащими печатями об их говяжьей натуре и полной кошерности/съедобности!

Такой дар сионистских небес ни в компании супруги, ни, тем более, в одиночку, скрыятничать было невозможно.

Воспитание не позволяло. И, по совещании с дорогим другом, в те времена в чем-то наставником и, уж точно, ׁד תיב (постоянный сотрапезник/наперсник/собутыльник) Довчиком (Дов Конторер), было решено употребить это великолепиие в коммунальной комнатухе его экс-супруги. Выбор диспозиции определило ее выгодное расположение в центре города, т.е. вблизи как Марьиноорощинской, так и Большой синагог. Гуляй-поле! И мы загуляли. Когда по употреблении много чего вкусного (расстарались), дело дошло до сарделек...

Нет, не могу. Умолчу. Такого не передашь. Даже пытаться не буду. Тем более, что за меня и на века это сделал любезный друг Довчик.

По съедении описанного и приличествующей паузы, он изрек: "НУ ВОТ. ТЕПЕРЬ МОЖНО И УМЕРЕТЬ"...

Помереть ни ему, ни мне и никому из сидевших за тем столом, пока, слава Богу, не довелось. Но в память врезалось намертво. Во всяком случае, мне. Надеюсь, приведенная выше экспозиция позволяет понять, почему. А сарделек я с тех давних пор не пробовал. Израильский пиццером их отчего-то не жалует. Жаль.

С другой стороны, вы наверняка спросите: С чего бы? За на каким бесом ты наплел с три короба про эти несчастные сардельки? Будто ничего интереснее в годы борьбы за... и против... не происходило?

Происходило. Кое-что – даже с моим участием.

Начну со своей личной истории, связанной с Бабьим Ярм. Впервые я оказался в Бабьем Яру году эдак в 74-м, когда впервые в жизни приехал в Киев и попросил жившего там друга сводить меня туда. Мы долго плутали по то ли парку, то ли пустырю в поисках оврага. Нашли. Вокруг, кроме пышно (по понятным причинам) растущей древесины, не было ничего. За исключением кафе под говорящим названием "Хвилинка" (минутка) и... тира. Да, да. Фанерного павильончика, на стенке которого во весь рост был изображен стрелок с ружьем (целился он, как нетрудно догадаться, в сторону оврага) и написано "ТИР".

Вряд ли нужно описывать охватившие 17-летнего пацана чувства...

А еще тошнее стало, когда, спустя пару-тройку лет, мы снова с другом пошли туда и увидели торжество советского реализма в виде многофигурного памятника с надписью "здесь лежат ... тысяч советских граждан и военнопленных, зверски"... Ну, и так далее. За точность цитаты не ручаюсь, но за содержание – абсолютно.

А потом я оказался в Бабьем Яру в 1981-м – в 40-ю годовщину расстрела, т.е. ровно 35 лет назад... Точнее, до Бабьего Яра не добрался, а был арестован прямо на перроне головного залізничного вокзала, и после всех требуемых социалистической законностью процедур - обыска, составления протокола (до сих пор не знаю, по факту какого нарушения, т.к. в суд так и не был доставлен) и т.д., был посажен на 15 суток в кутузку.

А по отбытии одного срока не был выпущен, как того требовала социалистическая законность, а продержан в камере до тех пор, пока, отчаявшись, не разбредутся восвояси ожидавшие меня у ворот матушка Ї"т , мои киевские друзья и мне тогда не знакомые украинские правозащитники (из которых потом имел честь познакомиться лично с Ириной Ратушинской и ее супругом с характерно еврейской фамилией Геращенко –имени, к сожалению, не помню). Выдержав паручасовую паузу после их ухода (на всякий пожарный), гебешники меня разрешили выпустить, но тут же запихали в черную «Волгу» (уже не "воронок") и привезли почти на перрон. Билет до Москвы, заботливо приобретенный ими (как потом выяснилось, на скомунизденные у меня же деньги) они вручили проводнице, заботливо, но твердо подсадив меня в тамбур за секунды до отправления поезда. И снабдили на прощание напутствием: "Передай там своим, в Москве, чтоб с венками больше в Киев не совались. У НАС ТУТ НЕ МОСКВА – У НАС ТУТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОРЯДОК!..". Так-то.

И ЧУШЬ ПРЕКРАСНУЮ НЕСЛИ

Дов Конторер опубликовал шикарный, многослойный текст. Повод печальный: смерть Саши Ратинова – неотъемлемой части, очень яркого пятна пейзажа того, чему и названия с ходу не придумать, но что было одним из самых интересных явлений еврейской истории эпохи загнивающего социализма.

Разбередило. Захотелось вспомнить и поделиться помянутым с теми, кому не надо разъяснять нетипичные обстоятельства, в которых жили мы - вполне типичные персонажи. Хотя, типичными были далеко не все. Покойный Саша (я, по любви к инакости, звал его Шурой) был о-о-очень нетипичным. Выделялся всем. Ходячая флуктуация. И это в себе лелеял. Таков был его осознанный выбор. Но о нем – ниже.

Начнем с пейзажа. Предупреждаю: текст огромный. Чтоб написать коротко, оставшейся жизни не хватит. Понятен и интересен может быть, разве что, упомянутым в нем и еще очень немногим. Объяснений не будет. Только то, что помнится, и несколько анекдотов (в первоначальном значении этого слова). Засим:

На рубеже 70-80-х годов XX века явление без названия, состоявшее из нескольких десятков, от силы, сотен евреев, с разной степенью декларативности ставших афронт советскому образу жизни, было локализовано, в основном, в Москве, и (числом поменьше) – еще нескольких крупных городах СССР. При такой малочисленности явление вобрало абсолютно все, что можно вообразить в современной еврейской политической, социальной, культурологической (уф!), религиозной и пр. истории.

Большинство составляли, как и следует, пламенные (ну, в разной степени) сионисты светского (нерелигиозного) кроя. С комплектом вторичных признаков сиониста – иврит, потуги изучать и распространять ивритскую культуру, нездоровый интерес (разной степени нездоровья и интереса) к израильской политике. А вот с первичным признаком сиониста – проживанием во Сионе – вышла

накладка. Мы ведь оставались в СССР потому, что намерение обзавестись этим первичным признаком обломалось о треклятый отказ. По самым разным причинам (чаще без таковых). Многие – в основном, те, кто постарше – угодили в отказ за знание главного секрета СССР: какой бред и бардак творился в его НИИ и цехах. Тем, кто помоложе, отказ лепили музыкальный (формулировка: за отсутствием мотивов), либо литературный (формулировка: за нецелесообразностью). Последнее означало заведомую обреченность попыток выяснить у власти, какой именно цели не со-образен мой (например) выезд из СССР. Были еще бедные родственники – те, кто не смог заручиться разрешением родителей/экс-супруг/ов на свой отъезд. Вне зависимости от мотивировок отказа, всех нас, повторяю, роднило:

- а) наличие вторичных признаков сиониста и
- б) отсутствие признака первичного.

Пейзаж не мог быть полным без солидного представительства тех, кто честно декларировали намерение, когда и если они доберутся до св. града Вены, проследовать оттуда не в Израиль, а (как правило) в США. В принятой тогда израильской терминологии להיגר – от-пасть. Большинство представителей группы пользовались вполне заслуженным личным уважением, но группа в целом носила у сионистов пламенных полупрезрительную кличку нашряки. И зря. Эти люди составляли всегда и составляют по сей день важнейшую прослойку сионизма – тех, кто обеспечивает Израилю необходимую моральную и материальную поддержку извне. За что им честь и хвала. Но, повторяюсь, тогда все это воспринималось иначе, и нашряки ходили в этаких неполноценных – ведь они даже не претендовали на обретение первичного признака сиониста...

Собственно, осознание/опасение, что обретение признака в обозримом будущем сомнительно, привело многих из нас в лоно родной религии. Логика проста: раз обстоятельства лишают меня возможности быть сионистом "по полной", ничто не отнимет у меня права быть евреем

"по полной". Разумеется, каждый из погружавшихся в лоно религии, проделал туда путь разной протяженности и сложности.

Лично я к началу 80-х вполне созрел до взваливания на себя в полном объеме бремени заповедей. И взвалил. Произошло это, как раз, на квартире Саши Ратинова, куда ваш покорный был заван провести шабес ке-нилхОсо тогда совсем юным Женей Ягломом. Помнится, процедура окончательного обращения меня в кошерного с ног до головы еврея, проводилась – кроме хозяина квартиры и упомянутого Жени – гостившими у него Ариком Кацевом и Довчиком Конторером. В логике изложения, настойчивости и убедительности им было отказать нельзя, да я и сам, повторяю, созрел. И наутро, когда мы скопом явились в Марьинорощинскую синагогу (ходу туда от квартиры Шуры было не более часу), в моем лице там появился готовый неофит. Но неофит не совсем обычный. Потому что не совсем нео- (новый). Вот фит - (верящий) – да. Но не нео. Ведь в моем случае упомянутый предварительный путь был достаточно долог и не так уж извилист – хотя, конечно, знавал анекдотичные завихрения. Все это я к тому, что это не совсем обычное неофитство делало меня эдаким полудиссидентом в ортодоксальных кругах и позволяло наблюдать происходящее чуточку со стороны, сохраняя способность к оценочным суждениям, обычно неофитам несвойственную. Конечно, неофитская прыть, пафос полуграмотного идиота и хама, терроризирующего близких и, при возможности, дальних окружающих (когда не было риска, что пошлют) – все это было перенято. Но вот сперва едва заметная, а с годами все более явная отстраненность, позволяла НАБЛЮДАТЬ. И делать далеко не всегда верные, но часто едкие выводы и заметки.

Какой же пейзаж открылся моему неофитскому взору?

Как я уже сказал, религиозная община Москвы представляла собой полный срез любого ортодоксального еврейского сообщества. Тут были все. Хасиды в ассортименте – как водится, с численным и шумовым преобладанием ХАБАДа. Миснагдим (они же лытваки)

любых оттенков. Религиозные сионисты ("вязанные кипы") – а как же.

При соблюдении внешних приличий и даже дружелюбия в общении друг с другом, напряжение не столько в личных, сколько в "идеологических" отношениях было огромным.

Конечно, были и те, кто переносили "идеологическую" неприязнь на личный уровень.

И, как всегда, взаимное неприятие самого большого накала наблюдалось у тех, чья идеология была практически идентична. Самыми враждебными друг к другу группами были ждановские хусиды и адепты Триединого ребе. Эти названия присвоил ваш покорный, без их ведома и согласия. Прежде, чем пояснить смысл названий, скажу, что обе группы включали в себя ортодоксально религиозных евреев (в большинстве – молодых), не приемлющих любой хасидизм (значит, миснаГедов), но более склонных к религиозному сионизму. Как-то так. Спросите, с чего ж тогда я пришел им хусидские ярлыки? Отвечу. Начнем со ждановских хасидов (в первые годы моего неофитства их, кажется, было больше). Все они были верными учениками, ярыми адептами и, по мере сил, подражателями р. Ильи (Элиягу) Эссаса. Равом Илья, вроде, тогда еще не был, но ребе – в полном смысле и со всеми атрибутами – был. Потому – хасиды. А ждановские потому, что немалое число их (далеко не все) проживали в сравнительной близости от конечных станций "фиолетовой" (Ждановской) ветки московского метро. Сам "ребе" жил на диаметрально противоположном краю Москвы (кажется, у метро "Аэропорт"), но ведь и Любавичские ребе никогда или почти никогда в Любавичах не жили...

Меньшей прытью в выражении любви к своему ребе характеризовались адепты ребе Триединого (ребе Отец, ребе Зять и ребе Петя Полонский - понимающий поймет). Меньшей, но вполне достаточной, чтобы лидеры группировки получили от меня указанный титул. Большинство группы составляли физико-математические вундеркинды, люди обаятельные и умные, наделенные (в отличие от большинства ждановских хусидов) недюжинным

чувством юмора. Общение с ними было именинами сердца. Ныне они группируются в общине «Маханаим» и могут рассказать о себе лучше моего.

Причины взаимного неприятия этих двух групп сокрыты во тьме личных отношений их лидеров и уж точно не могут быть предметом рассмотрения здесь. Но расхождения были ярыми, даже яростными.

Над этой (и не только) схваткой стояли ХАБАДники. В силу количественного (как по мне, так в чем-то и качественного) превосходства, а также своей идеологии, они - ХАБАДники – поддерживали или старались поддерживать дружеские отношения со всеми. А я поддерживал дружеские отношения с ХАБАДниками, и в их кругах считался своим. На фарбрингены меня звали. И я ходил. В силу очень теплого отношения к большинству участников действия. Ну, и уважения к ребес-мАшке. Не потому, что это была "смирновская". В те годы и при тех обстоятельствах было не до разборчивости, да и "смирновскую" (одну-единственную бутылку) р.Калмен-Мелех Тамарин ה"ט исправно распределял по капле в парутройку ящичков общедоступной тогда "андроповки", так что... Просто, питье, а, особенно в такой компании – есть веселие не только Руси. Осознание этого мне жутко импонировало в хасидизме (как выяснилось, не любом), а неприятие того ж - претило в ниснагдусе (любом).

Раз уж речь зашла о фарбрингенах, то вспомню, что однажды Ури Камышову (по совокупности заслуг, знаний и личных качеств я сразу прозвал его Адмором) удалось выудить из рук Калмен-Мелеха уже занесенную над ящичком "андроповки" бутылку ребес-машке и щедрым жестом плеснуть ее в стаканы себе и сидевшим одесную и ошую Арику Кацеву и вашему покорному. На обиженную реплику Калмен-Мелеха "я делаю это ради тех, кому важна ребес-машке, а не "смирновка", Адмор изрек (он, как положено Адмору, практически не говорил; он изрекал): "А я делаю это для тех, кому важна "смирновка"... Коль уж на то пошло, я, привыкший к употреблению продукта исключительно советской (т.е. нулевой) степени очистки, не

смог тогда оценить величия "смирновки" в совокупности со святостью ребес-машке. Все-таки, не было во мне нужной закваски, и то, что употребляемый мной продукт побывал в руках Ребе (тогда - ח"ט'לש) не произвел на меня особого впечатления.

Отсутствие нужной закваски, повторюсь, не мешало мне нежно и тесно дружить именно с хабадниками. Что однажды удостоило чести принять у себя едва ли не самый крупный фарбринген в истории московского ХАБАДа тех лет. Дело было так.

Стольный град почтил визитом какой-то, ну очень выдающийся шалиах Ребе. Настолько выдающийся, что прибыл не один (как обычно), а со свитой из двух оруженосцев, тоже с титулами раввинов. По известным только ему причинам, политбюро московского ХАБАДа в составе р.Гейча Виленского ל"זט, р.Мотла Лившица ל"זט и Юдки Юрьева (надеюсь, ב'דל ל'חיים זכור) решило приурочить фарбринген в честь высокой делегации к пьянке по поводу ПИДЬОН а-бен моего старшенького. Вот тут уж, действительно, были почти все. С помощью булгаковского пятого измерения в крошечном салоне московской двушки вполне вольготно расселись и пировали более сорока человек. Всех не упомяну, но там точно были р. Гейче, р. Мотл, наш главный московский коэн (как-никак, пидьон а-бен!) р. Юдл, р. Аврум Генин, Гриша Розенштейн, Саша Лукацкий, Калмен-Мелех Тамарин (все ל"ט) Адмор, Юда Юрьев, Мойше и Нохум Тамарины, Яша Вильге, Зеэв Шахновский, Зеэв Куравский, Арик Кацев, Ёся Гомберг, Валера (Аврум) Прохоровский, тогда Дима (впоследствии реб Дувид) Карпов – и далее все, кто причисляли себя к ХАБАДу. Из не причислявших точно помню, что были р. Липе ל"ט, Дов Конторер, Лева Фридлендер ל"ט, Женя Яглом (о нем – чуть ниже), и - тут память меня подводит, но почти, наверняка - Шура Ратинов ל"ט. Участвовать в хусидском шабаше ему религия не позволяла, но его же понимание религии (да и личная, вполне взаимная, симпатия) не позволили бы манкировать моим приглашением. А не

пригласить его я никак не мог, благо, тремя неделями ранее он был на обрезании "героя" торжества.

О московском ХАБАДе тех лет и его отношениях с другими группировками можно рассказывать бесконечно. Но вернусь к не хабадникам. На том фарбрингене точно не было двух великих (каждый в своем и по-своему) праведников – р.Аврума Миллера ז"ל и р.Берла Торбочкина ז"ל. Они таки были миснагдим. Настоящими. В полный рост. А степень знакомства с ними в тот момент (март 1982) вряд ли позволяла мне набраться наглости пригласить их лично. Позднее еще как бы позволила – но их возможная реакция относится к сфере догадок.

Как я уже упоминал, кроме ХАБАДников и описанных вариаций на темы хиснагдуса, в Москве тех лет были представлены и иные (не хабадские) хсИдусы. Упомянутый р. Липе – неперменный участник всех младенческих обрезаний в роли проверяющего "готовность" клиента к обряду – был то ли ротмистровским, то ли фастовским хасидом. Брацлавский хсИдус обрел представителя в лице Жени Яглома. Не знаю, что привело Женю к такому выбору. Возможно, поэтичная и романтическая личность ребе Нахмана. Возможно, выраженные атрибуты образа жизни хиппи, присущие массам брацлавских новообращенных. Как бы то ни было, Женя твердо стоял на брацлавской платформе. Настолько твердо, что однажды ухитрился уболтать меня совершить паломничество в Умань к могиле р.Нахмана. Дело было уже в середине 80-х, но в моей памяти засело напутствие, которым снабдил в 81-м году, по истечении 15-суточного срока навязчивого гостеприимства в киевской кутузке, гебешник, сажая меня на поезд в Москву: "И передай там своим в Москве, чтоб к нам на Украину не совались. Киев – не Москва, тут - советская власть и порядок!"... Понятно, с какими опасениями было связано путешествие почти через всю Украину с этим хасидствующим хипстером, выделявшимся всем и на любом фоне. Но обошлось. Нас впустил осведомленный хозяин, в чьем огороде отрезок асфальтированной тропы

был известен как место погребения р.Нахмана (циюн над его могилой, как и большая часть еврейского кладбища Умани, были распаханы танками в 41-м, а затем щедро розданы под частную застройку советской властью). Женя прочел тексты, приличествующие данному паломничеству, и мы благополучно отбыли и прибыли в Москву. Духовная ценность паломничества мне не была очевидной (в отличие, надо полагать, от Жени), но уж точно была несоразмерно выше ощущений, испытанных, когда спустя 30 с лишним лет судьба (точнее, служба) вновь занесла меня в Умань. Лицезреть этот комбинат по аккумуляции денежных знаков было неловко. Да что там, стыдно...

Еще одним сектором московского еврейского пейзажа тех лет не могли не стать рьяные борцы с сионизмом. Эта группировка сформировалась к середине 80-х, и в нее, как положено, вошли сатмарские хусиды и ригористы-миснагдим. Последние, надо полагать, соответствовали бы скандально известному в Израиле *ג' פלג ירושלמי* – иерусалимскому отряду. А тогда и там в кружок миснагдим-антисионистов входили сенсей (без тени иронии!) р.Залман Соловьев, его сын Женя, Гена Лавут и, кажется (пусть он меня поправит), Нусон Вершубский. Кружок же сатмарских хусидов, естественно, сплотился вокруг первопроходца религиозного антисионизма Шуры Ратинова. Там, oprичь Миши Аптера, я никого не упомяну, но уверен, что их было побольше.

Эта группа, естественно, держалась компактно и обособленно всегда, везде и во всем. Религиозных сионистов они за людей считать не могли. ХАБАДники для них были чем-то вроде оппортунистов, ревизионистов, троцкистов и прочих уклонистов, которых во время оно клеймили и гнобили пламенные большевики.

Но все это, повторюсь, почти никогда и никем не переводилось в план личных отношений. Идеино вас могли считать каким угодно мерзавцем и выродком, что не мешало не только раскланиваться, но нередко просто дружить.

Не удержусь, припомню одну сценку.

Место действия: штибл, он же гостиная, кухня, столовая на втором этаже Марьиноороцинской синагоги. Время действия: Пурим, сразу по прочтении внизу, в молитвенном зале, Мегилы. Большинство присутствующих расселись за длинным столом и приступают к выполнению мицвы хойов инш левосумей. В дальнем углу помещения, за крошечным столиком, расселась группка антиссионистов. Пьют чай. В Пурим. По прочтении Мегилы... От группки, стараясь не привлекать внимания, отделяется р.Залман. Крадучись подходит к "главному" столу. Поравнявшись с Адмором, шепчет: "Налей сенсею!"... Занавес.

Повторюсь: религиозный антиссионизм - неотъемлемая часть еврейского пейзажа и был обязан объявиться в Москве тех времен. И явил его первым именно Шура Ратинов. Как он сам пришел к этому – не знаю. Конечно, тут не обошлось без железной, неумолимой и не допускающей компромиссов логики, которой он руководствовался в своей религиозной практике. Наверняка не обошлось и без стремления выделиться, выказать свою инакость.

Мы с ним были, так сказать, религиозными антиподами. К примеру, я категорически отказывался проявлять интерес к тому, что прозвал желудочно-кишечным иудаизмом. То есть, конечно, не кошерного в пищу не употреблял, ни-ни. Но при этом руководствовался принципом что нельзя – нельзя, остальное – можно. В лексиконе и понятийном ряду Шуры слово и понятие "можно" отсутствовало. Он страстно выискивал, что бы такое еще запретить. Самому себе, и, по возможности, окружающим. В этом он шел генеральным курсом ашкеназской традиции, в которой запреты, ограничения – чуть ли не цель и смысл религиозной практики. Ядовитый (хотя вполне объяснимый) парадокс в том, что эта ашкеназская традиция и практика слилась с традицией и практикой советской, в которой понятия "имею право" и "могу" не то что не накладывались, но и не пересекались.

В плане желудочно-кишечного иудаизма (и не только!) Шура лихо доводил все до абсурда. Когда я впервые в жизни приобрел у р.Торбочкина кошерное мясо и принялся

его дальше кошеровать по инструкциям Шуры, мясо бесконечной чередой высаливаний и вымачиваний превратилось в белую несъедобную массу. На этом я с желудочно-кишечным иудаизмом и завязал. А Шура пошел семимильными шагами дальше. Чуть ли не каждое его появление в обществе (в синагоге, в микве, на любой церемонии, просто в компании) сопровождалось радостными заявлениями вроде "А я выяснил, что "бородинский" хлеб есть нельзя – в него кладут то-то и то-то... Знаете, а мороженое за 7 копеек тоже нельзя, туда кладут это...". И так далее, и без конца. Надо признать, тут Шура в своей бескомпромиссной логике давал слабину.

Понятен подход, при котором человек заявляет: "Я не доверяю гойскому/советскому пищепрому, и потому ем и пью только то, что приготовил/добыл сам". Следовать такому подходу тяжело, но можно. Тот же Адмор это доказывал, выпекая хлеб и выезжая в Подмоскowie за молоком – которое то ли сам надаивал, то ли присутствовал при дойке (последнее даже самая строгая Галаха считает достаточным). Но если вам такой подход не по душе и/или не по силам, то здравый смысл требует, отказавшись от всего, что заведомо не кошерно, употреблять в пищу все, чья рецептура не включает заведомо не кошерного. Точка. Но Шуру здравый смысл не интересовал. Его интересовали запреты. Таков был его осознанный выбор.

Кстати, отсюда и упомянутый в тексте Дова анекдот про запрет ночевать дома наедине с собственной бабушкой. Сам не присутствовал, но вполне надежный свидетель Меир Левинов поведал, что преамбулой истории был вопрос, заданный Шурой приезжему авторитетному раввину. Вопрос был сформулирован так: "может ли еврей находиться ночью в одной квартире с женщиной, которая не является ни его матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни женой?"... Блеск, правда? Нетрудно догадаться, каков был ответ. Как совсем не трудно догадаться, только такого ответа жаждал спрашивающий и сформулировал вопрос так, чтоб исключить "варианты".

В чем Шура Ратинов был скрупулезно точен и последователен, так это в соблюдении правил общения, то есть того, что называется *לשון קודש* (шилхойс лошойн-хоро) и норм *תורה* (мусар). Вот вам сценка.

Праздник Швуэс. Раннее утро. Кучка молодых ортодоксов вальяжно топают из Марьиноорощинской синагоги в сад ЦДСА, дабы окунуться в тамошний пруд, сиречь микву. Срезая угол через неогороженный (или плохо огороженный – не припомню) двор музея советской армии, проходят через площадку с образцами военной техники. Поравнявшись с бронепоездом, ваш покорный и Арик Кацев принимаются увлеченно обсуждать достоинства и недостатки этого монстра.

Чуть поодаль шагает Шура Ратинов и тихо, но явственно бубнит: "Нет миньога [обычая] ездить в Швуэс на бронепоезде"...

То есть, прямо заявить нам, что мы обсуждаем мукцу, он себе позволить не мог. Он давал понять. Красавец. А с нас – как с гуся вода, так как обсуждать мукцу прямого запрета нет (в отличие от ношения оной, и тем паче, использования). Раз не нельзя, значит – можно. Шуре такая логика претила.

Ну, и чтоб закруглить эссе о московском сионизме, антисионизме и том, кто дал печальный повод сочинению опуса, изложу свою версию анекдота о ставшем в узких кругах мемом словосочетании м-м-мерзость с-сионистская. Дов в своем тексте ее изложил, но моя версия рознится значимыми, на мой взгляд, подробностями.

Воскресенье, канун Швуэс, 7 июня 1981 г. По пятницам и в канун праздников миква Большой синагоги на Архипова превращалась в мужской клуб. Явившись туда, как положено, поздним утром (ближе к полудню), я застал бурное обсуждение. Мой вопрос, о чем шум, вызвал всеобщее возмущение с примесью удивления. Надобно пояснить, что я не держал радиоприемника и не имел ни привычки, ни возможности слушать вражеские голоса. Растравливать себя не желал, справедливо полагая, что ни от кого не убудет, если я узнаю то, что должен узнать с

некоторым опозданием. Соответственно, я понятия не имел, что в то самое утро (или в ночь накануне) израильские ВВС раскурочили ядерный реактор в Ираке. Будучи введен в курс дела собеседниками, я присоединился к хору восхищавшихся и принялся давать отпор выражавшим опасения, что за это, пусть великое дело, нам всем тут не поздоровится. Хор и дача отпора притихли, когда в микве появился Адмор со словами: "Я скажу вам правду!"... Все заворуженно вперяют взоры в него. Адмор изрекает: "Газета "Правда" пишет"... Чувство юмора Адмора – тема эпопеи объемом с "Войну и мир"...

Когда все подустали от догадок и восхищений, в разговор вступил Шура Ратинов. Точнее, не вступил в разговор, а разразился потоком брани в адрес сионистов и их очередного злодеяния. Видно было, что достали сионисты Шуру по самое-по-не-хочу. Когда он, наконец, смолк, я на голубом глазу спросил, а что его так не устраивает и чем ему так дорог этот реактор. Воспоследовал диалог, который приведу близко к тексту (врезался в память):

Шура: - Как чем?! Да хотя бы тем, что они могли осквернить наступающий йом тойв!

Ваш покорный: - Шура, бойся Бога и вспомни карту. От любой точки Израиля до любой точки Ирака тыща верст, от силы две. Прикинь скорость СВЕРХЗВУКОВОГО штурмовика. За сколько он проделает максимальное расстояние и обратный путь? То-то. Даже если б они вылетели сейчас, в полдень, никаких шансов попать святость Швуэс у них бы не было...

(Напоминаю: с логикой, в отличие от здравого смысла, у Шуры принципиальных расхождений не было, и мою выкладку он был вынужден принять как тиювту). Посему, после небольшой паузы - сил набирался – произнес:

- Ты, правда, не понимаешь, как это называется?

- Не понимаю. Просвети меня, Шура.

- М-М-М-М-МЕРЗОСТЬ С-СИОНИСТСКАЯ!!!

Занавес.

Пытался сочинить красивый, ну, риторичный конец сему опусу. Не придумал. И к лучшему. Не надо риторики. Шура Ратинов ушел. Его вряд ли волнует, что о нем пишут. Увы, нет и многих других типичных героев тех нетипичных обстоятельств. А для оставшихся (пока) те времена – далекое и не объяснимое никому прошлое. Но вспомнить было приятно. Хоть и по печальному поводу.

Давид Шехтер

О, ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА

Из книги воспоминаний

Как-то году в 1985 Ида Нудель обратилась ко мне с предложением. С Идой я был тогда очень дружен - она уже несколько лет находилась в ссылке в Бендерах, и наша одесская группа отказников часто к ней ездила по воскресеньям. Мы приглашали ее в Одессу, она присутствовала на знаменитом праздновании Пурима в квартире Непомнящих в 1984 году, после которого рассвирепевшая гебуха устроила семь обысков.

Однажды Ида позвонила мне с железнодорожного вокзала – «Давид, приезжай, вокруг меня море чекистов, не знаю, чем это кончится». Я приехал и нашел ее в садике возле вокзала. Чекистов вокруг, и вправду, была тьма – к тому времени я уже научился различать топтунов. Ида сказала, что приехала в Одессу, чтобы улететь в Москву, на встречу с китайкой Алан, лечившей ее тогда. Но, судя по чекистской суете вокруг, ее снимут и с самолета, и с поезда.

- Давайте попытаемся оторваться, - предложил я. - Мне хорошо знакомы все проходные дворы в центре.

Ида согласилась, и мы поехали в центр города, где из большого двора круглого дома на Греческой площади (его снесли в 90-х годах прошлого века) было несколько выходов. К тому же двор в любое время года был почти полностью перекрыт бельем, сушившимся на протянутых с одного его конца в другой веревках. В этом дворе жил один из видных отказников Ян Меш, чекисты могли подумать, что мы направились к нему, и сторожить нас у его дверей. А мы незаметно выскользнули бы в один из выходов. Я поделился своим планом с Идой по дороге и, когда мы подчеркнуто не спеша вошли во двор, я с радостью убедился – как всегда, он был завешен бельем. Скрывшись за первым же занавесом (или пододеяльником), мы побежали, что есть сил, через несколько секунд были уже в другом конце двора и выскочили на улицу.

Выходов из двора было несколько, причем в разных его концах. Топота за собой мы не слышали, значит, чекисты должны были потерять на проверку каждого выхода несколько минут. А мы за это время успели бы взять такси и уехать.

Но, выскочив на улицу, мы лицом к лицу столкнулись с тремя чекистами, несшимися во весь опор навстречу нам и что-то кричавшими в свои «уоки-токи». Такие мини-рации были большой редкостью по тем временам, и стало понятно, что к операции одесское гебье подготовилось основательно.

Мы пошли шагом, и через минуту с другой стороны дома выскочила вторая группа, а за ней, из того выхода, которым мы только что воспользовались - третья. Ида оказалась права - чекистов было море, их хватило и на то, чтобы бежать за нами следом и на то, чтобы пустить две группы вокруг дома. Тут мы поняли, что играть с ними в прятки-догонялки бессмысленно, и поехали ко мне на квартиру. На следующее утро я отвез Иду на вокзал, и она уехала в Бендеры.

Когда я несколько раз по командировке оказывался в Тирасполе, то каждый вечер ездил к Иде в соседние Бендеры. Мы долго гуляли, разговаривали о том, что

происходит с нами сегодня, и о том, как будем жить в Израиле. Во время одной из прогулок, когда мы были уверены, что нас никто не слышит – дом Иды, конечно, прослушивался - она предложила мне писать Щаранскому.

- Как зачем? - удивился я, - Ему, небось, многие пишут, а я его совсем не знаю.

- Писать-то ему пишут тысячи писем. Но все они из-за границы, поэтому их не пропускают. Друзья Натана или уже уехали, или перестали писать, не желая нарываться на неприятности. А тебе терять нечего – имеешь два прокурорских предупреждения за связь с сионистскими эмиссарами, два обыска, пятнадцать суток. С жизнью здесь ты порвал окончательно и бесповоротно.

- Хорошо, - согласился я. - Но что же я буду писать совершенно незнакомому мне человеку? Да и он как воспримет эти вдруг начавшие поступать к нему письма?

- О, ты просто не понимаешь! - воскликнула Ида. - Почти все время Натан находится в карцере. И в той кромешной тьме – в прямом и переносном смысле, в злобе и ненависти, которые его окружают, любое твое письмо покажется лучом света. О чем писать? Да о чем угодно - о еврейской истории, о религии, о своих детях. Ты даже не представляешь, какая это для него будет помощь и подарок.

И я начал писать. В соответствии с советами Иды рассказывал о праздниках, случаях из еврейской истории. Как-то описал пост 9 Ава и его законы. Но в конце письма подчеркнул – «в Вашем положении Вы, конечно же, от поста освобождены». Но потом я узнал, что Натан все-таки постился 9 Ава - он хотел почувствовать себя вместе со всем еврейским народом.

Я отправлял ему и фотографии своих детей - Шимона и Имануэля. Как-то раз мне даже удалось переписать ему в зону ивритский текст первой части молитвы «Шма Исраэль», хотя ни одной буквы иностранного языка в зону не пропускалось. Я посадил своего двухлетнего сына Элика на колени жене, дал ему в руки развернутый на "Шма" сидур (молитвенник) и сфотографировал так, чтобы текст

был хорошо виден, но, вместе с тем, главными на фотографии были бы мой сын и жена. И послал фотографию Натану с припиской – это моя жена Аня и сын Элик. И – о, чудо - вертухаи фотографию пропустили!

Через много лет, когда я работал пресс-секретарем Израэль ба-алия, а Натан был председателем этой партии и могущественным министром внутренних дел, на какой-то партийной тусовке он подошел ко мне и сказал - «Давид, мы тут с Авиталь затеяли уборку дома перед Песахом, и я нашел в одном из ящиков ваше письмо с фотографией сына и “Шма Израэль”» ...

Натан отвечал мне через мать. Ему разрешалось писать одно письмо в месяц, и он отправлял матери 20-25 мелко исписанных страниц. В них содержались всегда и несколько фраз для меня.

Так продолжалось около двух лет. Мне достаточно долго удавалось скрывать от своей мамы факт переписки с Натаном, но когда, в конце концов, уж не помню как, ей стало об этом известно, то она чуть ли не впала в истерику. Действительно, тогда переписка с американским шпионом Щаранским была самым настоящим вызовом властям. Но, с другой стороны, Ида была права - я тоже считался «отрезанным ломтем», порвавшим с советским обществом и потерянным для него. Поэтому власти до самого конца этой переписки так и не отреагировали на нее, в том смысле, что на меня не обрушились репрессии.

Я регулярно писал примерно одно письмо в неделю. И вот однажды письмо вернулось со штемпелем «адресат выбыл». Я тут же позвонил в Бендеры к Роякам - единственной семье, поддерживавшей тогда отношения с поднадзорной Идой, от которой все тамошние евреи шарахались как от огня. У Рояков почему-то не срезали телефон, и я попросил, чтобы Ида мне перезвонила.

- Натана нет в зоне,- сказал я ей, - пришло письмо со штемпелем «адресат выбыл». Что это может означать?

- Что угодно,- ответила Ида. - Могли перевести в другую зону, могли лишиться права переписки. А могли и убить. От них всего можно ожидать.

Ида, естественно, сразу переправила эту информацию на Запад, где тут же начался «шум». И только потом мы узнали, что Натана перед тем, как выслать за границу, перевели в лагерную больничку, где его усиленно питали и приводили в «товарный вид». Чтобы он не слишком уж походил на ходячий скелет...

Я, дурак, отдал вернувшиеся письма (их было три или четыре) какой-то посланнице «Натива», посетившей меня летом 1987 года. Я попросил ее передать их Натану, и она меня в этом клятвенно заверила, сказав, что живет на одной улице с «мишпахат Щаранский». Но так ничего и не передала....

Сам я провезти эти конверты через границу, конечно, не мог бы. Но мог оставить у родственников, и дожждаться оказии, чтобы они с кем-нибудь переправили их ко мне в Израиль. А okazji таких в уже самом недалеком будущем было бы видимо-невидимо. Но кто же мог предвидеть летом 1987 года, когда я отдавал эти письма посланнице «Натива», что произойдет с «империей зла» в предстоящие несколько лет? К тому же я тогда вовсе не понимал исторической ценности этих писем. О, если бы молодость знала....

«...И СКАЗАЛ Я СЕБЕ: ЭТО ВКУС СМЕРТИ...»

Я думаю, поклонники приключенческого жанра сразу вспомнят эти строки:

«Тогда, сжимая в холодеющей руке маршалский жезл с вышитыми на нем золотыми лилиями, он опустил глаза, ибо у него не было больше сил смотреть в небо, и упал, бормоча странные, неведомые слова, показавшиеся удивленным солдатам какою-то кабалистикой, слова, которые когда-то обозначали столь многое и которых теперь, кроме этого умирающего, никто больше не понимал:

— Атос, Портос, до скорой встречи. Арамис, прощай навсегда!

От четырех отважных людей, историю которых мы рассказали, остался лишь прах; души их призвал к себе бог»¹.

Так заканчивается эпопея о мушкетерах несравненного Александра Дюма. А вот финал «Графа Монте-Кристо»:

«— Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь! — сказал Моррель, отирая слезу.

— Друг мой, — отвечала Валентина, — разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах:

Ждать и надеяться!»²

Два шедевра жанра от одного из его основателей.

А вот, пожалуй, самый яркий из наследников — Роберт Луис Стивенсон:

«Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос Капитана Флинта:

— Пиастры! Пиастры! Пиастры!»¹

¹ Пер. Н. Таманцева

² Пер. В. Строева

Это концовка «Острова Сокровищ», а ниже – «Черная стрела», еще два приключенческих шедевра:

«За знаменем, окруженный закованными в сталь рыцарями, ехал честолюбивый, смелый, жестокосердый горбун навстречу своему короткому царствованию и вечному позору.

С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеленом лесу, где возникла их любовь.

А в деревушке Тэнстолл в довольстве и мире, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был моряком и до конца своих дней продолжал оплакивать своего матроса Тома. Другой, человек бывалый и повидавший виды, под конец жизни сделался набожным и благочестиво скончался в соседнем аббатстве под именем брата Гонестуса. Так исполнилась заветная мечта Лоулесса: он умер монахом»².

Для чего я их привел эти цитаты?

Будучи давним, с детских лет, поклонником приключенческой литературы, я однажды заинтересовался: почему финал этих, как правило, напряженных и динамичных произведений, всякий раз содержит некую недоговоренность, оставляющую чувство щемящей грусти, тоски – даже если повествует о счастливом соединении разлученных влюбленных или о благополучном завершении опасного пути похищенного аристократа, и т.д.? То же самое происходит с фантастическими и детективными произведениями, которые, при всех индивидуальных особенностях, представляют собой, по сути, разновидности литературного жанра. Вспомните, как завершается один из лучших (если не лучший) фантастический роман позапрошлого века – «Машина времени» Герберта Уэллса:

«И я хрюю, для моего собственного успокоения, два странных белых цветка, теперь уже ссохшихся, плоских,

¹ Пер. Н. Чуковского

² Пер. Н. Чуковского

хрупких, побуревших, – свидетельство того, что даже тогда, когда разум и сила иссякнут, благодарность и ответная нежность все еще будут жить в человеческом сердце»¹.

Что это за грусть, тоска, откуда это ощущение какой-то, не сразу формулируемой обреченности? Почему – в жанре, который, на первый взгляд, исполнен оптимизма, главный герой которого всегда буквально одержим волей к победе, полон жизненных сил?

В то же время, это именно грусть, тихая печаль. Не отчаяние, не открытая сердечная боль – тоска. Скорбь.

Мне кажется, тут всё заложено в природе жанра. Причем с самого начала – с первого произведения, с первого приключенческого романа в истории мировой культуры.

Вообще, невероятно, но факт. Мы можем назвать конкретные произведения, с которых началось развитие тех или иных жанров, ныне насчитывающих миллионы романов, рассказов, повестей. Например, детектив «есть пошел» с рассказа «Убийства на улице Морг» Эдгара По, появившегося в печати в 1842 году. Даже еще точнее: 21 апреля 1842 года.

Хотя и с меньшей точностью, но можно указать и первое произведение жанра приключений – первый приключенческий роман в истории мировой литературы.

...В 1954 году на мировые экраны вышел исторический фильм режиссера Майкла Кёртиса «Египтянин». Фильм с триумфом прошел во многих странах и способствовал популярности романа, ставшего основой фильма – романа финского писателя Мики Валтари, тоже называвшегося «Египтянин».

Назвав фильм историческим, я, конечно, погрешил против истины. Такие фильмы традиционно называют «пеплум» (от названия античной одежды). На историческую достоверность они не претендуют, хотя их герои частенько носят имена подлинных исторических деятелей, да и события, в той или иной степени, связаны с событиями

¹ Пер. В. Бабенко

реальными. Характерными образцами жанра являются, например, «Клеопатра» с Элизабет Тейлор или, скажем, «Странствия Одиссея» с Кирком Дугласом, а из более поздних – «Александр» с Колином Фаррелом или «Гладиатор» с Расселом Кроу. В случае с «Египтянином» исторические неточности связаны с тем, что, взяв за основу древнеегипетскую «Повесть о Синухете», Мика Валтари распорядился ее сюжетом достаточно произвольно.

Так, он переместил время действия из эпохи Среднего царства (в древнеегипетском первоисточнике – время фараонов XII династии Аменемхета I и Сенусерта I) в эпоху Нового царства (времена фараона-реформатора Эхнатона и его преемников из XVIII династии). Причина такого анахронизма связана, как мне кажется, с тем, что Эхнатон гораздо лучше известен современному читателю, нежели Аменемхеты – Сенусерты, да и Рамсесы - Тутмосы.

Но не только это.

Сюжетно история Синухэ весьма похожа на историю куда более знаменитого человека – Моисея, а мода на отнесение событий Исхода к временам Эхнатона, хотя и прошла, но свой след оставила.

Обойдемся без обиняков и намеков. Я просто вкратце перескажу этот сюжет. Который, хочу заметить, помню примерно с 11-летнего возраста, когда на уроке по истории Древнего Мира впервые услышал о Синухэ. Наша замечательная школьная учительница истории, Мария Акимовна Азарова, царство ей небесное, говорила «Синухет». И я с большим трудом переучивался на более современное – Синухэ. От нее же я услышал и запомнил фразу, ставшую заголовком этих заметок: «И сказал я: это вкус смерти...»

Сюжет таков. Некий египетский вельможа и военачальник по имени Синухэ (простите, Мария Акимовна!) сопровождает одного из царевичей, Сенусерта, в походе. Победоносно разбив врагов, египетские воины готовятся к возвращению домой, но в это время приходит известие о смерти фараона.

Известие первым получает Сенусерт – наследник престола. И немедленно, в сопровождении преданных слуг, не сообщив войску, мчится в столицу.

Но он оказывается не единственным, кто узнал о смерти фараона: гонцы принесли ту же весть и другим царским детям, находившимся при войске. И разговор царских детей случайно подслушал Синухэ. То, что он услышал, повергло его в ужас, ибо из разговора следовало, что столица вот-вот погрузиться в кровавую пучину междоусобицы. Видимо (об этом в повести не сказано, однако можно предположить), права Сенусерта на престол оспаривались другими сыновьями покойного. Судя по некоторым неясным местам в тексте повести, выходит так, что у Синухэ есть какие-то провинности перед наследником, и он опасается, что теперь, когда царевич станет царем, ему об этих провинностях припомнят. Можно предположить так же, что провинился Синухэ основательно, поскольку всерьез опасается за жизнь. Поскольку, как это следует из еще одного намека в рукописи, источником опасности Синухэ, видимо, считает супругу наследника, которая теперь станет царицей Египта.

Словом, наш герой принимает решение бежать. И бежит он немедленно, даже без предварительной подготовки – что едва не приводит его к смерти в пустыне от жажды. Именно там появляются слова, выбранные мною для названия этой статьи: «И сказал я себе – это вкус смерти...».

Его спасают бедуины, шейх племени которых оказывается знакомым Синухэ – бывал в Египте в прежние годы. Беглого египетского военачальника передают от племени к племени, пока он не оказывается где-то в Сирии, в стране Ретену.

Далее Синухэ становится мужем старшей дочери правителя Верхней Ретену, правителем одного из племен, богачом и вельможей.

Однажды ему приходится сразиться с неким силачом, подчинившим себе почти все племена страны. Силач, не знавший себе равных, бросил ему вызов, но на поединке

Синухэ побеждает противника и сам становится владельцем несметных богатств, по сути – вторым после правителя человеком в Ретену.

Всё хорошо, но героя нашего снедает жуткая тоска по родине. Его ужасает мысль о том, что он будет похоронен в чужой земле, без надлежащих погребальных обрядов.

К счастью, фараон узнает о нем и присылает письмо, в котором зовет его вернуться, обещая полное забвение всех неприятностей, обещая позаботиться о его теле и о гробнице после смерти Синухэ. Письмо фараона заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью:

«Тебе препровождается этот царский указ, чтобы довести до твоего сведения следующее.

Ты обошёл чужеземные страны, отправился из Кедема в Ретену. Одна страна передавала тебя другой стране по совету твоего собственного сердца. Что же ты совершил, чтобы надо было преследовать тебя? Ты не злословил, чтобы надо было опровергать твои слова. Ты не говорил в совете сановников так, чтобы надо было выступить против твоих речей. Замысел этот, он овладел твоим сердцем, (но) не было его в (моем) сердце по отношению к тебе.

Это твоё небо (царица) — она продолжает здравствовать (и) ныне; глава её увенчана (знаками) царской власти над страной, дети её — при дворе. У тебя будут в изобилии великолепные дары, которые они будут давать тебе, ты будешь жить от их щедрот.

Возвращайся в Египет! — ты снова увидишь родину, где ты вырос, ты поцелуешь землю у великих двойных врат, займёшь место среди сановников. Ведь ты уже начал дряхлеть, утратил мужскую силу, вспоминаешь о дне погребения, о переходе к состоянию блаженства.

Тебе назначат ночь, посвящённую маслу сефет и пеленам из рук Таит. Тебе устроят похоронную процессию в день погребения; футляр для мумии — из лазурита; над тобою, находящимся в саркофаге, поставленном на полозья, — небо, и быки влекут тебя, и музыканты впереди тебя.

Исполнят пляску Муу перед дверью твоей гробницы. Огласят для тебя список даров, совершат заклятие против твоей стены; колонны твои будут возведены из белого камня среди (гробниц) царских детей.

Не умрёшь ты на чужбине, не похоронят тебя азиаты, не завернут тебя в баранью шкуру, не насыпят для тебя могильного холма. Слишком поздно (для тебя) скитаться. Позаботься о своём трупе и возвращайся»¹.

И Синухэ с радостью соглашается «позаботиться о своем трупе» и вернуться. Он оставляет свои богатства выросшим детям, разделив все по справедливости; сам же, наконец-то, прибывает в Египет, ко двору фараона, где его встречают с радостью. Повелитель Египта делает его старшим над сановниками, ему дарят роскошный загородный дом. И – главное! – фараон приказывает немедленно начать строить гробницу для вернувшегося Синухэ, рядом с гробницами царских детей. Кроме того, специальным указом фараон назначает для него заупокойных жрецов.

Теперь наш герой спокоен и счастлив.

Читатель уже убедился, что перед нами – самый настоящий приключенческий роман, со всеми элементами, присущими таковому: незаурядным героем, опасным путешествием, разнообразными приключениями. Утрата родного дома, смертельно опасное путешествие, приход в чужую страну, любовь царской дочери, могучий и опасный враг, победа над ним... В эти несколько страниц укладывается и «Копи царя Соломона», и «Одиссея капитана Блада», и «Морской ястреб», и уже упомянутые в начале «Черная стрела» или «Остров сокровищ»... Конечно, это не буквальные копии, всего лишь раскрашенные в другие цвета. И Хаггард со Стивенсоном вовсе не были добросовестными копиистами. Да и не факт, что им была знакома древнеегипетская повесть. Мы и не рассматриваем пути, которыми «Роман о Синухэ» оказал влияние на литературу XIX или, тем более, XX века. Но

¹ Пер. И. Лившиц

слова, сказанные некогда А. И. Куприным насчет того, что весь Холмс как скрипка в футляр укладывается в три коротеньких новеллы Эдгара По о Дюпене, можно было бы повторить насчет всех приключенческих романов (вплоть до сегодняшнего дня) и коротенького древнеегипетского «романа о Синухэ».

Вот тут-то мы и сталкиваемся с интереснейшим фактом. Факт этот – форма древнего произведения. А она весьма и весьма оригинальна.

Вот что пишет о ней выдающийся египтолог Б. А. Тураев: «В этом увлекательном рассказе все естественно и соответствует эпохе и действительности, начиная с формы. Последняя заимствована из надгробных надписей биографического характера, в которых изложению от имени героя предпосылается перечень его должностей, эпитетов, его имя, и затем слово «говорит» вводит прямую речь в первом лице...

Наш памятник сохраняет форму подобного рода текстов, начинаясь с перечня должностей, которыми герой был облечен уже на вершине своей карьеры, переходя затем к рассказу в первом лице, не с рождения и детства, а с обстоятельств бегства, которое явилось исходным пунктом событий, приведших к дальнейшему благополучию и милостям»¹.

Вот так-так! Выходит, что «Роман о Синухэ», увлекательнейшая приключенческая история, формально представляет собой развернутую надгробную надпись!

Вот вам и ответ на вопрос, откуда берется иррациональная тоска, необъяснимая грусть, которой окрашены вполне оптимистичные авантурные, приключенческие романы всех последующих эпох. Какими же еще должны быть произведения, ведущие свое происхождение от некролога?

¹ Б. А. Тураев. Рассказ египтянина Синухе и образцы египетских документальных автобиографий.

И неважно – знал ли автор, какая матрица лежит в основе его произведения. Но герой приключенческого романа, сознательно или нет, стремится, в конце концов, туда, куда стремился его очень дальний, но, все-таки, прямой предок – египтянин Синухэ.

К отеческим гробам.

К собственной гробнице. Таков финал.

Может быть, Борхес был неправ, выделяя в мировой литературе только четыре сюжета?

Может быть их еще меньше?

Может быть, только один – вот этот?

Яков Шехтер

комментарии и пояснения Анны Файн

САМОУЧИТЕЛЬ

КАББАЛЫ

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковины и удивительные происшествия - не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Самоучитель предлагает читателю освоить несколько главных понятий каббалы. Методика обучения такова: после объяснения разбираемого понятия, следует рассказ, который художественными средствами иллюстрирует, как это понятие проявляется в жизни. Затем следуют вопросы, отвечая на которые, читатель сможет проверить и закрепить полученные знания.

Заказ книги по адресу: articreda@gmail.com

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Михаил Копелиович

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА, ГОД 2019-й

*Вот идёт История, и след –
След имеет форму человека.
З. Палванова*

1

В своём юбилейном году известный не только в Израиле русский поэт Зинаида Палванова подарила читателям новый сборник стихов – «Края судьбы – от Темлага до Иерусалима» (Москва, «Время»), содержащий 114 текстов, созданных между 1963-м и 2018-м годами (так сказать, избранное из избранного), а также ещё более новую подборку в альманахе «Огни столицы» (вып.11), в которой их (текстов) – 17. Сразу могу сказать, что недаром употребил глагол «подарила». Потому что это действительно большой подарок читателям и почитателям поэтического творчества З.Палвановой, к коим относится и автор этой статьи.

Как известно, поэтические тексты подразделяются на два рода: *поток* и *высказывание*. Стихи Палвановой относятся ко второму. Это не ей адресовано двустрочье Анны Ахматовой: «Я научила женщин говорить, /Но, Боже, как их замолчать заставить». Это не значит, конечно, что поэты потока потому так и называются, что иной раз «заплывают» в своём потоке слишком далеко. Поэтом потока является, например, Марина Цветаева, хотя и у неё

есть немало «высказываний». Зинаида Палванова – мастер малого поэтического жанра, которого ей хватает, чтобы высказать наболевшее, высказать очень часто артистично и афористично. Постараюсь показать, как у неё проявляется способность и говорить, и вовремя замолчать.

Сперва коснусь мотивов, преобладающих в поэзии Палвановой – как молодой, так и умудрённой годами и жизненным опытом. Её читателям известно, где и как провела она своё детство. Темлаг – один из островов архипелага ГУЛАГа. Отсидев своё, будущие родители Зиночки вышли на поселение, где, собственно, и нашли друг друга. И родилась у них девочка, одарённая поэтическим талантом. Не «поэтесса» – не люблю этот термин, потому что качество и животворность поэзии мало зависит от пола автора (так считала Цветаева, и я с ней заодно). Однако именно у Палвановой стихи очень женские – в том смысле, что в них преобладают *готовность прощать, любовь, сострадание (не только людям, но и животным) и неизменный свет надежды* («Листы надежды» – так называется подборка в «Огнях столицы»).

В 2006 году я издал книгу «Рецензия – любовь моя». В одной из рецензий я проанализировал изданную в Москве в 2004 году книгу З.Палвановой «Избранное». Название рецензии – «Зинаида Палванова: свет, нежность, жизнь». За истекшие после этого пятнадцать лет к излюбленным мотивам палвановской лирики добавились: *зигзаги любви (её рассвет, расцвет, и закат, и стремление обрести её вновь); лирические размышления о старости и неизбежном для всего живого конце; а в одном стихотворении – «Жизнь нас тащит куда-то вперёд...»* (посвящено замечательному поэту – Дмитрию Сухареву) – предложена оригинальная трактовка феномена возраста: *Старше тот, кто раньше умрёт,/Тот моложе, кто дальше от смерти*. Переводя эту сентенцию на язык прозы, получаем: в представлении поэта, живые люди, будь им 90 лет или 25, – «ровесники», потому что живые; ведь подчас умирают и 25-летние. Замечу мимоходом, что вся «теория» вместилась в три катрена. Это тоже

отличительный знак поэзии З. Палвановой; подтверждающий верность давней русской поговорки: *краткость – сестра таланта*. Впрочем, верность эта относительна: семистрофное стихотворение «Приход весны» открывается следующим двустишьем: *Что за диковинное время года?/ Стоят деревья, словно неживые*. Чувствуется желание автора скорее проскочить это время года, но оно как раз тянется. И вдруг...

*Я стала озираться. Что такое?
Тепломи влагою сам воздух дышит,
Асфальт в потёмках светится и дышит,
И в лужах бездна счастья и покоя!..
Нас не оставило, пришло, настало
На землю приходившее веками!
И сердце подскочило и достало
До маленькой звезды меж облаками.*

Теперь уже хочется остановить мгновение! Но энергия стиха такова, что рождаются ещё целых три полновесных строфы (а в предыдущем стихотворении, напоминая, их было всего три).

Замечу, что пушкинское понимание счастья как покоя и воли то и дело сквозит в стихах Палвановой. Однако живая душа поэта способна испытать и «несчастливейший покой», как в раннем стихотворении «Тут окружён старинный дом...»

2

Излюбленный приём (а может, не приём, а органика) Палвановой – контрапункт. Собственно говоря, это термин из музыкальной науки. Однако словарное определение – «учение об одновременном и согласованном между собой движении нескольких самостоятельных голосов, образующих одно гармоническое целое» – в какой-то мере подходит и к лирической поэзии. Взять, к примеру, трёхстрочное стихотворение «Осенние даты», в котором происходит именно то, о чём говорится в словаре: горение «лазурной листвы» и «твой голос виноватый». А вот ещё

более характерное, к тому же гораздо более позднее стихотворение – «Дешёвая клубника».

*Я сейчас открыта всему свету,
Жизнь прекрасна – это свежий факт!
И в секунду сладостную эту*
Диктор сообщает про теракт.*

.....
*Посолила я клубнику, что ли?
Кадры первые пошли меж тем.
Новость, надоевшую до боли,
Ложками беспомощными ем.*

Новость, надоевшая до боли, то есть очередной теракт, упоминается и в других стихотворениях. Одно из них приведу целиком:

*Взорвался осёл у автобуса.
Осёл – арабский, автобус – еврейский.
Автобус остался цел,
Чего об осле не скажешь.*

*Добрые люди, умные люди
Навьючили смертью на этом свете
Понурого, тихого –
И погнали на тот.
И никто не сказал ему,
Что он в рай попадёт.*

Снова лапидарность и контрапункт. Концовочное двустушие «сдобрено» горькой иронией: ведь террористам обещают рай... «Добрые люди» (прямо-таки цитата из Иисусовых глав «Мастера и Маргариты») навьючили смертью беспомощного осла, и никто не сказал ему, а если бы и сказал...

Перед нами верлибр, несколько упорядоченный: есть одна рифма в концовке «на тот – попадёт» плюс одно внутрискочное созвучье «смертью – на свете». Но даже если бы было что-нибудь ещё в этом роде, в целом,

* Автор подносит ко рту ложку клубники в сметане.

повторяю, стихотворение оставалось бы верлибром. Это очень трудный поэтический жанр, и достичь в нём успеха можно лишь, если стихотворение складывается в душе, а не на бумаге. Палванова, помимо всего прочего, – мастер верлибра. Приведу ещё один пример её «чистого» верлибра:

*Жаром тех европейских печей
Дохнул на Израиль знойный хамсин.
Тем европейским странным дымом
Пала на землю сухая мгла.
Тенью огромной еврейской смерти
Легла на дома евреев ночь.*

*Завтра утром наступит утро –
Утро Дня Катастрофы,
И все предсмертные вопли
Сдавленные в один-единственный,
Вырвутся мощно и ровно.*

(«Жаром тех европейских ночей...»)

Что-то подсказало поэту, что на такой «сюжет» нельзя писать упорядоченным классическим стихом. А нужно только так.

3

Вернусь, однако, к постоянным мотивам палвановской лирики. Итак, зигзаги любви (как и тонкости отношения к пейзажу) – мотив, в котором проявляется некоторая *импрессионистичность* письма поэта. Я уже частично цитировал, в другой связи, стихотворение «Тут окружён старинный дом...» Атмосфера в нём минорная, потому что *осень лист за листом, лист за листом /Срывает и уносит*. Но вот *...несчастливейший покой /Потряс меня глубоко*. В этом же стихотворении: *Тут лужи плоской чередой...* А в другом: *Из лужах бездна счастья и покоя* («Приход весны»). Это нормально, настроение меняется у любого человека – в зависимости от обстоятельств, как пейзаж – в зависимости от погоды.

*Скажи, когда перестаёшь мне сниться,
Где ты летаешь, за какой чертой?
Откуда ты умеешь возвратиться,
По-новому желанный и святой?*

*Там, за границей снов моих щемящих,
Какую даль вбираешь ты в себя,
Что вспоминаю чаще, чаще, чаще –
И вдруг проснусь, любя, любя, любя?*

Это очень сильное стихотворение о любви, бывшей, но не прошедшей. Он снится Ей, бывший, но не разлюбленный. «Умеешь возвратиться» – и желанный, и даже святой. Её сны щемящие, и, казалось бы, при пробуждении Она должна Его отвергнуть. Но нет: *и вдруг проснусь, любя, любя, любя*. Главные слова утроены, и это о многом говорит.

А рядом стихотворение «Хорошо возвращаться домой!..» Первые два катрена и первые два стиха катрена третьего вроде бы оптимистичны, но концовочное двустрочье заставляет задуматься: *Возвращаюсь в свою беду, / С нетерпением возвращаюсь!* Почему в беду с нетерпением, спросите у автора: он (она) наверняка знает ответ...

Вот ещё более короткий текст (две строфы, восемь строк!) – как ни странно, снова контрапункт. Первая строфа – про кота, который *голову свою суёт / Мне под руку: погладь!* А вторая – совсем уж неожиданная: *Приду к тебе и попрошу / Всей головою ласки.*

И ещё два стихотворения о любви. Одно: «Ну вот и осень на земле Святой...» – имеет прямое посвящение конкретному человеку; в другом – в «Энергии согласия» – адресат угадывается. Второе опять начинается с... кошки: читателям Палвановой известна её любовь к этим красивым созданиям. Но дальше следует резкое переключение:

*И глупая женщина,
Напоминающая мужу на ночь
О долгах, о проблемах,
Подходит к нему и трётся*

*Седеющей головой
О поникшие сильные плечи.
Потому что долги долгами,
А нежность нежностью.*

Прекрасное стихотворение – убеждающее и порождающее энергию сопереживания! Её голова – седеющая, его плечи – поникшие. И концовка великолепная. Кстати сказать, талант аккумулировать мотив в концовочных строках стихотворения в полной мере присущ Палвановой. В самых поздних на данный момент стихах (подборка в «Огнях столицы») – что ни стихотворение, то блестящая концовка. «Успеть бы пожить не спеша...»: *Всё утро с душой на руках /хожу, как с больным ребёнком.* «Желаю вечера хорошего тебе...»: *Желаю вечера хорошего тебе, не спрашивая, с кем ты и куда...* «Люби меня, как я тебя, мой друг!...»: *Сказать прямее, проще невозможно...* И вновь первая, заглавная строка. Любовь опоясывает стихотворение.

Говоря о любви как чувстве, направленном не только на возлюбленного, но и на других близких людей, нельзя не упомянуть стихи, обращённые к внучке. На первое такое стихотворение пришлась сотая страница книги. Случайность, конечно, но знаменательная. Начинается оно как будто прозаично – обычной фразой: *Я робко внучку на руках держала.* Продолжается тем, что автор замечает: *И вдруг я слышу:прямо в моё сердце /сердечко новое – тук-тук – стучится!* А третья, концовочная строфа трогает (меня, по крайней мере) до глубины души.

*Совпали мы! Я сладко замерла.
Темноволосое целую темя.
Входи, входи! Да ты уже вошла
На всё моё оставшееся время.*

Внучке – полторы недели... А в сравнительно недавно написанном стихотворении «Во внучку я, конечно, влюблена...» обычная любовь бабушки преобразуется в любовь бабушки-поэта: *Курчавая и смуглая она /на маленького Пушкина похожа. <...> На эфиопке сын женился мой,* в результате чего бабушка хочет верить, что

она с Пушкиным почти что породнилась! Ведь в Израиле, стране больших чудес, любые чудеса возможны... Завершается стихотворение двестишестью: *А что за поворотом? Тёмный лес. /И лукоморье там. И кот учёный...* Вот оно, умение вовремя замолчать.

4

В стихотворении «Я помню, как сладко в огромном начале...» Палванова вспоминает своё *несбывшееся детство*, которым *пахнет* её печаль. Чуть более позднее «Где мои ровесники? Их нет...» отличается большим для этого поэта размером: 11 катренов, 44 строки (концовка этого стихотворения использована мною в качестве эпиграфа). В нём удивительным образом отражена советская история. С одной стороны, *здесь была война, беда, разруха*, а с другой:

*Так случилось, что от пуль вдали
Моего отца в моей отчизне
Лагеря для жизни берегли,
Несвобода берегла для жизни.*

Вы понимаете? Будущего отца поэта от гибели на войне спасли лагеря. Они, конечно, существовали не для жизни, а, скорее, для насильственной смерти, но, отсидев положенный срок, человек выживал, и получается, что «от пуль» его спасал лагерь. То же самое произошло с будущей матерью.

*Столько страшных, грозных сил сошлось:
Сталин, Гитлер, воли два ожога, –
Чтоб дитя на свете родилось.
Вот и родилась я, слава Богу!*

Становится ясно, что отношение Палвановой к миру довольно противоречиво: *Проклинаю, славлю этот мир, Где и катастрофы детородны*. Точные, выверенные слова! И мотив блистательно разработан до конца.

...Отец Зинаиды был выходцем с берегов Арала. И потому, став взрослой, она съездила в как-никак родные края. То, что она там увидела, описано (кровью написано!) в стихотворении «Кладбище кораблей»: *сох Арал, на сухом*

его дне –остовы кораблей: «Украина» здесь, «Узбекистан», /«Латвия» с «Таджикистаном» – тоже. Горький афоризм: *Не верблюды – корабли пустыни, /Корабли пустыни – корабли.* А кончается стихотворение убийственно: *Эти корабли легли на дно, /Потому что море утонуло.* Оно, кстати, написано ещё до развала СССР, так что в каком-то смысле оказалось пророческим...

5

Прибыв в Израиль в 1990 году, с так называемой Большой алиёй, Палванова не перестала писать стихи. Но в них всё чаще стали встречаться такие слова, как «старуха, «старушка», «старость», «бабушка» и... «одиночество. Ну что ж, сказываются годы, а также новый образ жизни (включая палестинский террор), потеря друзей в старшем и собственном поколении. Друзей она оплакивает, в образ жизни вживается, а вот собственные годы – тут сложнее.

Вдохновившись мотивом московской подруги и собрата (сосестры!) по ремеслу Татьяны Бек и предпослав собственному стихотворению строчку стихов Татьяны, в которой та обещает стать *честной* старухой, Палванова пишет своё «О старости грядущей», где есть такие строки:

*Стоп! Кажется, я что-то поняла.
Есть красота своя у старушенций.
И пусть от возраста спасенья нет
И спасу нет от возрастных тенденций,
Но есть лица неизъяснимый след.
Его питают неземные выси...*

.....
*Я помогу единственному чуду,
Подвластна мне единственная прыть:
Я добрая старуха буду.
Иначе мне красавицей не быть!..*

Это одно из израильских стихотворений Палвановой. Эпитеты «честный» и «добрый» не противоречат один другому, но последний, наверно, содержательно шире: доброта вбирает честность, а не наоборот. Тут есть ещё

один нюанс, немаловажный для героини моей статьи: она смолоду была красавицей, и сама об этом прекрасно знает. Но годы старят, внешняя красота женщины начинает «расплываться», уходить. Есть, впрочем, и исключения: у Зиночки красота и обаяние и сегодня, как мне кажется, в полном ажуре. А почему? Во-первых, она замечательный поэт. Во-вторых, её человеческая доброта, как она и предсказала, всегда остаётся при ней.

Даже в самой смерти (дай Бог – как можно более поздней и лёгкой!) видит Палванова что-то такое...

И с последним восторгом вместе

Бездна вломится в душу мою.

И пойму я детское что-то,

Улыбаясь небытию.

(«Время движется всё быстрее...»)

А уже в наши завершающиеся 20-годы XXI века она пишет стихотворение «Бабье лето сгнуло. Слякоть...» с эпиграфом из стихов своей израильской подруги и тоже сильного поэта (бывшей петербурженки) Аси Векслер («Но сызнава готовность улыбнуться / не оставляет черт её лица» – ну, прямо о Палвановой!), с таким концовочным двестишьем:

Постараться уйти с улыбкой –

устоять, не исчезнуть без...

Готовность улыбнуться даже в минуту ухода из жизни – она тоже от доброты человека и поэта, от силы зрелой личности перед лицом космоса, мироздания.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Этими заметками мы пытались разобраться в рассказе Михаила Юдсона «Француз». Заметки не претендуют на полноту. Мы понимаем, что и после них в рассказе остаётся немало неразъяснённых мест, нестыковок, противоречий.

Но это только первый шаг. Пусть другие пройдут дальше нас.

Неунывающий Прокруст

Итак, в рассказе все слова должны быть «французскими», то есть ударение должно падать на последний слог. Ради выполнения этого условия Юдсон не брезгает ничем. Надо слово обрубить – обрубает:

Мефистофель – Меф,
христианнейшем – хр-Шем,
Бесконечным – Беск,
неандерталец – неан,
кроманьонец – кром.

Надо исказить – искажает:
трагедия – трагедь,
нетленка – нетлень,
повесть – повестень.

Из двух или трёх слепить одно – лепит:
небо в алмазах – небовал.

И при этом не отказывается от своих обычных словесных игр. Например, берёт только что образованный «небовал» и продолжает: «и ров». Это значит, что нужно отделить «вал» от «неба» и прицепить к нему справа – к «валу» – «и ров». Чтобы получились цветаевские «вал и ров».

Короче говоря, читая Юдсона, будьте бдительны!

Герои

Теперь давайте выясним: кто герой (герои) рассказа. Их несколько. Вот они – в порядке их появления в тексте:

Михаил – Иван – Игнат – Антон – Онфим – Моисей – Рон-Старшой. Их семеро, и это, может быть, что-то значит.

Михаил – писатель, живущий в Тель-Авиве, alterego М.Юдсона. Иван, герой Михаила, продукт его воображения – тоже писатель. Иван пишет роман «На задах», что напоминает «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского. И вообще Иван напоминает Мельникова-Печерского – основательностью и упорством, например.

В таком случае, страна Из, откуда прибыл Иван – это, надо полагать, идеализируемая им Русь до раскола, староверческая.

В свою очередь, Игнат – герой Ивана, опять-таки писатель. Хотя и «бутафор» и «седьмой дурак», но – писатель. Пишет роман об Антоне, каковой Антон – явно Чехов. Игнат хвалит себя: «Сам из бар – а трудовик!».

Мы полагаем, что Игнат – это наш современник Дмитрий Быков (который, кстати, действительно писал о Чехове).

Онфим – это имя появляется ещё в «Лестнице на шкаф»: «Онфимкины прописи». Интересно, что во «Французе» Онфим – «жидовин», что, однако, ничем в тексте не подтверждается. Видимо, Михаил (alterego Михаила Юдсона) есть продукт воображения Онфима-жидовина.

Прототипом Моисея является, конечно, библейский Моисей.

Рон-Старшой – французский писатель Жозеф Анри Рони-Старший. В соавторстве с младшим братом писал романы о доисторическом прошлом, о каменном веке. Во «Французе» ведёт себя как «культурный герой» каменного века.

Итак, все герои рассказа – писатели или «культурные герои».

Сюжет

Если в этом рассказе и есть сюжет, то он примерно таков. Михаил, перечитав написанное Игнатом (стало быть, Михаил контролирует не только Ивана, но и ивановское порождение – Игната?), предался размышлениям. Но тут происходит нечто вроде бунта: в чулан к Михаилу заходят вооружённые Иван, Игнат и Антон. Жизнь Михаила под угрозой. Но вмешательство Онфима предотвращает казнь.

Тогда те же трое «и примкнувший к ним» Михаил (!) заявляются уже к Онфиму. Кажется, угрожающая ситуация повторяется, но тут Моисей «остановил бег строк», то есть мы оказались там, где нет строк – в бесписьменной эпохе, в каменном веке. Где речь идёт уже (или ещё?) не о строках, словах или буквах, а о рисунках. И вот Рон-Старшой рисует круг и рядом с ним – справа, надо полагать – «хривой хрест» х.

Слово «Ох»

Если отбросить постскрипtum, то окажется, что рассказ открывается и завершается одним и тем же словом «Ох» – или, если угодно, одним графическим символом: «на ходу изобрел колесо страстей – змей жрет свой хвост ..., изобразив на стене круг и хривой хрест – Ох...».

Человек каменного века мог, конечно, так нарисовать. Но мог нарисовать и по-другому: «х» внутри «О». В «Мозговом» читаем: «– В старинных свитках писали «десять» как единицу внутри нуля, – сказал Женя. – То есть Единый, а вокруг мы кружим».

Нечто подобное находим в незаконченном романе «Четверо»: «Волосатая грудь нараспашку, с шеи на золотой витой цепи свисает крыжаль – крест в магендовиде, знак хриудаизма».

Но Рон-Старшой предпочёл расположить два рисунка не один в другом, а рядом. Получилось – в условиях отсутствия письменности! – простое русское слово «Ох».

Замкнувшее рассказ наподобие змеи, ухватившей себя за хвост.

Автор и герои

Ситуацию, когда герои приходят к автору с какими-то претензиями, Юдсон, по-видимому, придумал сам. Впрочем, нельзя полностью отрицать возможность заимствования, поскольку такая ситуация уже встречалась в литературе. Её изобразил, например, французский (!) драматург Жан Ануй в пьесе «Подвал».

В этой пьесе есть особый персонаж по имени Автор. Предполагается, что это он написал пьесу «Подвал» – вернее, наметил некоторые основные линии. И вот актёры начинают, под руководством «Автора», играть по этим линиям ... но действие мало-помалу застопоривается, и вдруг – актёры исчезают, прячутся. Их нет на сцене, и нет за кулисами. «Автор» совершенно подавлен. Но тут

«Входит семинарист.

С е м и н а р и с т. Сударь, меня прислали к вам мои товарищи. Они хотят, чтобы вы правильно поняли их отказ продолжать спектакль... На наш взгляд, некоторая ваша осмотрительность, вызванная боязнью шокировать публику, мешает каждому из нас быть самим собой. Это жестокая, бесчеловечная история, но мы уже начали ее рассказывать, и она наполовину претворилась в жизнь. И если теперь нам нельзя честно сыграть ее до конца, то лучше уж мы все, мои товарищи и я, вернемся в небытие. Снова обратимся в те смутные мысли, расплывчатые образы, какими были до того, как вы нас придумали... Да, может для всех было бы лучше, если бы вы не извлекли нас невесть откуда и не впутали в эту историю. Но теперь мы здесь, сударь, мы начали жить на сцене, и с этим надо считаться... Может быть, вам не следовало за это братья, но вы взяли. А теперь надо оставить нас в покое. И до самого конца не вмешиваться».

«Автор» принимает условия актёров, и пьеса доигрывается до конца.

Узнавания

Многие имена, упоминаемые прямо – или зашифрованные, суть имена писателей, литераторов или литературных героев. Так, «слепые Го, Джо» – это Гомер и Джон Мильтон. Гончар («И Гончаром урча») – это, с одной стороны, просто гончар со своим гончарным кругом, а с другой – писатель Гончаров, чьи три романа носят названия, начинающиеся с «круга», т.е. с буквы «о».

Или, например, «Уезд-АИД (Алексей, Иван, Диман) – подождет, смердя!» – это что за тарабарщина?

Тут прежде всего надо понять, что Диман – это попросту Дмитрий. А тогда уже нетрудно сообразить, что имеются в виду жители уездного города: трое законных братьев Карамазовых — Алексей, Иван, Дмитрий — и один незаконный: «смердя», то есть СМЕРДЯКОВ!

Многие имена в рассказе имеют французскую коннотацию. Об этом стоит поговорить более подробно.

По французскому следу

*Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?*

И.Эренбург

Париж, конечно, стоит обедни. Но как вообще могла появиться такая идея: «накострять» рассказ с французскими ударениями? Предлагаем версию, которая нам кажется наиболее правдоподобной.

Юдсон, видимо, брал пример с французского писателя Жоржа Перека, входившего в группу, объединявшую литераторов и математиков – и чрезвычайно склонного ко всякого рода экспериментам с буквами, словами и т.д. Например, он сочинил детективный 300-страничный роман, в котором отсутствует буква *e*, самая частая во французском языке (более подробно о творчестве Перека см. здесь: <http://morebo.ru/tema/segodnja/item/1435828115951>)

и здесь:

<https://web.archive.org/web/20130124122327/http://magazines.rus.ru/nlo/2010/106/>).

Но отнюдь не только Перек оставил «французский след» в рассказе. Мы находим упоминания о

- Сартре и его «Мухах» («отогнал мух (Сартр наслал?»);
 - Расине («Трагедь! Как Степан Расин!»);
 - российском походе Наполеона («шумел-гудел ростопч-пожар Бородина! И выл хор вьюг, вихрь нес крупу (подвид манн), пел ветер – "Вернись в Смоленск!.."»);
 - Дрейфусе, Золя и Андре Жиде («тут всяк сверчок-дурачок дразнил-рифмовал его, чужака: "Француз-дрейфуз! Абрамосар-бейлисар! Золя, гля, сопля! Андре – по пеньке бежит во дворе!"»);
 - Жанне д'Арк («на дворе трава, на траве дрова, на дровах – даарк...»);
 - Прусте (с его Сваном) и Стендале («Эх, глупой француз! Пруст-куст, блум-сван! Стендаль-миндаль сидел на стене и вдаль глядел»);
 - Франце Кафке, чьё имя, благодаря своеобразному толкованию, приобретает французскую коннотацию («Пляши, юрод, пиши навзрыд – мир сохранит, чтоб печь топить! Жил-был уже один такой ушан-лопоух, просвистел скворцом (не галл, так галк), звать-величать Франц – узь проз его у всех на слуху, извив теснин, резь тупиков (ну, например, Тезей как землемер метаморфоз), хруст замз и высь глубин (всмотришь – бездн вброд не перейти, тут батискаф какой-нито маракуй!) – титан, етит твою, ан завещал все сжечь, все утопить...»).
- Тут надо кое-что пояснить. Слово «Кафка» по-чешски значит «галка» (галк). «Франц – узь» означает попросту «француз». В то же время упоминаются герои Кафки: землемер из «Замка», Замза из «Превращения» (который в результате превращения-метаморфозы («землемер метаморфоз») стал гигантским насекомым. «...бездн ... маракуй!» – «Маракотова бездна»);

- Луи Селине (одно из двух названий романа Ивана – «Путь на край слов» – напоминает «Путешествие на край ночи»);

- Ромене Роллане (в тексте «Роман» и «Ролан» – «шлю салют те, Ролан!»).

«Кроши писак в салат, труби в рог!» – в цветаевский «Роландов рог». Кроме того, имеется в виду французская «Песнь о Роланде»);

- Жорже Луи де Бюффоне («Стиль – се человек»);

- романах Пруста «Под сенью девушек в цвету» и «Содом и Гоморра», и о герое Пруста – Марселе («тут тебе не сень струй в цвету, не лаз под подол (срам и марсель)»);

- Гильотене («– Был такой врач, француз Гильотен, гуманист... – произнес Антон»).

Ну и не забудем, конечно, что седьмой герой «Француза» – Рон-Старшой – это Жозеф Анри Рони-Старший.

И про Жана Ануйя будем помнить.

Можно сказать – несколько, правда, грубовато – что весь юдсоновский рассказ, начиная с заглавия, профранцужен.

P.S. Впоследствии Михаил Юдсон включил «Француза» в роман «Мозговой», только это был уже не «рассказ», а «рассказ». И постскрипту, с обращением к «драгому читателю», следовал не сразу после основного текста, а немного погодя, так что между основным текстом и постскриптумом оказался кусок объемлющего романного текста.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

ТОНКИЙ ШРАМ НА ЛЮБИМОЙ ПОПЕ

Это неправильно. Я знаю, что он бы такого не одобрил, и не затем писал последний диск, чтоб я его слушала, утирая глаза, шмыгая носом, а временами, на особо весёлых и оптимистичных местах - подвывая, благо обстановка позволяла.

<http://www.markfreidkin.com/albums/last.html>

И что я могу рассказать о Марке Фрейдкине?

Огромное, завораживающее и затягивающее наваждение - только начни слушать, и очнёшься послезавтра. Наследие аккуратно собрано и спрессовано в прекрасный сайт. А песни так упакованы в альбомы, что поштучно и не выковыряешь, да и не хочется.

<http://www.markfreidkin.com/albums/king.html>

Мы и знакомы-то в реале не были. Хотя с середины девяностых песни Марка стали витражным окошком в башенке моей жизни - в неё сбегает от тоски и меланхолии плюхнуться в уютное кресло, и через разноцветные стёклышки этих витражей вся эта наружа начитает играть с тобой в гляделки. И чем дольше глядишь - тем сильнее преображается прежний пейзаж за окошком. Песни Марка Фрейдкина показывали мне повседневный мир в настолько непривычных цветах, что поневоле приходилось соглашаться - да, это есть, и это есть, и это тоже есть - не простое, а разноцветное.

Все-все-все знают, и подпевают его песню про Тонкий шрам на любимой попе. Правда, приписывают нередко Макаревичу, но и Макаревич имеет право петь песни Фрейдкина, как и я имею и пою.

Видимо, поэтому мой любимый диск - "Эта собачья жизнь". Помню щенячий восторг, с которым покупала

кассету на осеннем харьковском Эсхаре. Помню тесные объятия жабы, пытавшейся задавить меня, когда я дарила эту кассету на День Рождения Танде Луговской. Собственно, это у Танды дома я впервые услышала Марка Фрейдкина, певшего Брассенса по-русски и на французском. Пришла в восторг необычайный. Таких переводов прежде я не слышала, да их и нет таких больше. Оказалось, что есть целые лекции, и не только о Брассенсе. И слушать их надо неторопливо и восторженно (иначе просто не получается)

<http://markfreidkin.com/lectures/brassens-1.html>

Там сбоку ссылки и на другие переводы многих талантов, и больно оттого, что так, как он написал о других - я о нём не смогу. Пообещала тогда Танде подарить кассету, буде встретится. Пришлось исполнять, хотя расставание удалось лишь оттого, что до того переписала и себе копию, презрев все лицензионные предупреждения. Песенка про Машу и сучку с этой кассеты долгие годы была моим коронным номером на вечеринках, да и теперь не забыта.

<http://www.markfreidkin.com/albums/life.html>

А потом появился интернет, и стало возможным следить за Фрейдкиным почти в реальном времени. Объём высыпавшихся на меня текстов - переводов, статей и песен был таков, что до сих пор не всё освоено. А голос, говоривший со мной и певший мне был мягким, ироничным и бесконечно добрым.

Не был - остался. Знала, что Марк серьёзно болеет. Писал он о своём скором уходе с невероятным мужеством, оставив подробнейшие распоряжения о том, как это практически воплотить с наименьшим напрягом для окружающих. Заботился о них до последнего, да и продолжает, как я чувствую. Нереального мужества человек был с нами, и оставил такие дары, что можно только принять и пользоваться. И хорошо бы хихикать, улыбаться, смеяться в голос и даже ржать - это только я глупо реву, собирая эту колонку. А вы не плачьте, вы

послушайте, и сразу поймёте - это для жизни, для радости и веселья.

Сложно добавить к тому, что уже сделали героические друзья его, собравшие прекрасный сайт:

<http://www.markfreidkin.com/>

Разве что видео с живым голосом, невероятной улыбкой и химически чистой магией,

Вот любимая моя ПЕСНЯ ПРО ОТЦА:

<https://www.youtube.com/watch?v=k5NfEul8K9E>

И весь концерт этот - чтоб плакать и смеяться, чтоб острее переживать жизнь в утешаться, утешаться, это так нам всем нужно, всем нам. Особенно сегодня.

https://www.youtube.com/watch?v=AD_bQQ6mRB8

Раздел «Стихи и струны» можно увидеть на сайте журнала.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дина Рубина – писатель, живёт в Мевасерет-Цион.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

Татьяна Булатова – прозаик, к.ф.н., основатель литературной школы «Флобериум», живёт в Ульяновске.

Дмитрий Бирман – поэт, прозаик, организатор культурных проектов, живёт в Нижнем Новгороде.

Анна Файн – прозаик, колумнист, разработчик педагогических программ, живёт в Бней-Браке.

Михаил Юдсон – литератор, жил в Тель-Авиве.

Эдна Шабтай – педагог, литератор, вдова писателя Яакова Шабтая, живёт в Тель-Авиве.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Алексей Цветков – поэт, журналист, живёт в Бат-Яме.

Зинаида Палванова – поэт, живёт в Иерусалиме.

Алина Рейнгард – поэт, прозаик, переводчик, живёт в Киеве.

Кот Аллерген – домашнее животное Елизаветы Михайличенко и Юрия Несиса, живёт в Иерусалиме.

Николай Архангельский – инженер, живёт в Москве.

Емельян Марков – поэт, драматург, критик, живёт в Москве.

Феликс Гойхман – поэт, живёт в Рамле.

Виктор Голков – поэт, живёт в Азуре.

Михаил Сипер – поэт, кибуцник, живёт в кибуце Массарик.

Игорь Губерман – поэт, прозаик, автор знаменитых «гариков», живёт в Иерусалиме.

Ольга Аминова – редактор, к.ф.н., основатель литературной школы «Флобериум», живёт в Москве.

Борис Камянов – поэт, редактор, переводчик, живёт в Иерусалиме.

Алексей Лоренцон – общественный деятель, живёт в Маале-Адумим.

Давид Шехтер – публицист, пресс-атташе Еврейского Агентства, живет в Ришон ле-Ционе.

Даниэль Клугер – писатель, автор песенных баллад, живёт в Реховоте.

Михаил Копелиович – литературный критик и публицист, живет в Маале-Адумим.

Илья Корман – исследователь литературных текстов., живет в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

На титульной странице:

Татьяна Булатова и Ольга Аминова

Фотография **Елены Мартынюк**

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Эдуард Бормашенко, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции: articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).

Книжные магазины, в которых можно приобрести журнал «Артикль»:

«Книжная ярмарка»

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 4-й этаж, помещение 4310. Телефон: 0543-329543.

«Фейсбук»: <https://www.facebook.com/yarid.sfarim/>

Прославленный среди ценителей очаг культуры, созданный восемь лет назад на месте легендарного книжного развала. Мы твёрдо придерживаемся принципа: «Книга живёт, пока её читают»; поэтому ассортимент огромен, а цены более чем доступны. Действует книгообмен. Работают клуб любителей фантастики, издательство и поэтическое объединение. Именно в этом магазине проводит свои заседания Правление Союза русскоязычных писателей Израиля.

«Сефер Исраэль»

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 4-й этаж, помещение 3805.

Телефоны: 03-6392629; 054-6150697; 054-6608193.

Сайт в Интернете: <https://www.seferisrael.co.il>

Крупный книжный магазин с богатым ассортиментом.

Книги всех жанров.

Учебники иврита.

Магазин выполняет индивидуальные заказы.

Издательское предложение

Вы написали книгу? Поздравляем. Пора поделиться своим творчеством с читателями! Сегодня в моде электронные книги, которые можно читать с экранов. Но и типографские издания не сдают своих позиций. Обе формы распространения вашей книги теперь вполне доступны: «Издательский дом Helen Limonova» подготовит вашу книгу к публикации и отпечатает ее любым тиражом, начиная с 20 экз.

- Мы предложим самый выгодный для вас вариант издания;
- оформим обложку и снабдим аннотацией;
- создадим электронную версию;
- расскажем о вашей книге в социальных сетях;
- поможем продать и распространить по библиотекам.

Чтобы донести ваше творчество до самой широкой аудитории, мы организуем онлайн-встречи с читателями и разместим электронную версию книги на сайтах самых популярных русскоязычных книготорговых интернет-площадок.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности.

Проект «Вторая жизнь книги»

У вас дома накопились книги, которые загромождают жилое пространство? Вы полагаете, что уже не будете их перечитывать? Вы не знаете, куда их девать? Мы попытаемся вам помочь!

В Израиле действует проект «Вторая жизнь книги», осуществляемый «Издательским домом Helen Limonova» и магазином «Книжная ярмарка». Сообщите, в каком городе вы живёте, – и мы постараемся эвакуировать ваши книги, которые ещё послужат людям.

«Издательский дом Helen Limonova».

Тел. +972543329543

сайт: <https://www.limonova.co.il/>

e-mail: izdatel.helen.limonova@gmail.com

